

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2019

№ 58

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Индексируется в БД Scopus
и Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index

Учредитель – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

*Редакционная коллегия журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Т.А. Демешкина (Томск, Россия) –
главный редактор
И.А. Айзикова (Томск, Россия) –
зам. главного редактора
Ю.М. Ершов (Томск, Россия) –
зам. главного редактора
Д.А. Катунин (Томск, Россия) –
отв. секретарь
П.П. Каминский (Томск, Россия) –
зам. отв. секретаря
К.В. Анисимов (Красноярск, Россия)
Е.В. Иванцова (Томск, Россия)
В.С. Киселев (Томск, Россия)
Т.Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
В.А. Суханов (Томск, Россия)

*Editorial Board
of the Tomsk State University
Journal of Philology*

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) –
Editor-in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) –
Deputy Editor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Tomsk, Russia) –
Deputy Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) –
Executive Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) –
Deputy Executive Editor
K.V. Anisimov (Krasnoyarsk, Russia)
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
V.S. Kiselev (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)

*Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Дж.Ф. Бейлин (Стоуни-Брук, США)
Е.Л. Березович (Екатеринбург, Россия)
Е.Л. Варганова (Москва, Россия)
Н.Д. Голев (Кемерово, Россия)
Е.А. Добренко (Шеффилд, Великобритания)
М.Н. Липовецкий (Боулдер, США)
З.И. Резанова (Томск, Россия)
И.В. Силантьев (Новосибирск, Россия)
А.Н. Соболев (Санкт-Петербург, Россия)
С.Л. Фрэнкс (Блумингтон, США)
Т.В. Шмелева (Великий Новгород, Россия)

*Editorial Council
of the Tomsk State University
Journal of Philology*

J.F. Bailyn (Stony Brook, US)
E.L. Berezovich (Yekaterinburg, Russia)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
E.A. Dobrenko (Sheffield, UK)
M.N. Lipovetsky (Boulder, US)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
A.N. Sobolev (Saint Petersburg, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, US)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Дегальцева А.В. Особенности присущности употреблению наречий образа действия	5
Конёр Д.В., Макарова А.Л., Соболев А.Н. Статистический метод языкового профилирования носителя диалекта (на материале восточносербского идиома села Берчиновац)	17
Краюшкина Т.В. Представления восточных славян Дальнего Востока России об иноплеменниках (на материале прозаических жанров устного народного творчества)	34
Малюга Е.Н. Новые тенденции англоязычного научного дискурса: вопросы актуальности исследования и языковой идентичности	52
Трофимова Н.А., Мамцева В.В. Вербальная репрезентация женских запахов искусственного происхождения в немецкоязычном романтическом дискурсе	71
Уткина Т.И. Метафорическая репрезентация концепта <i>РОСТ</i> в русскоязычном и англоязычном академическом экономическом дискурсе	82
Чернявская В.Е. Корпусно-ориентированный дискурсивный анализ идентичности российского университета 3.0	97
Якоба И.А. Лингвокогнитивный комплекс механизмов, усиливающих пенетрационную способность паттернов дискурса	115

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Антохов А.В., Шаравин А.В. Богатырство как национальное проявление дохристианской Руси в творчестве А.К. Толстого	129
Есипова В.А., Огнев Д.А. Личность-посредник в процессе культурного трансфера (на примере сборника круга Дмитрия Ростовского из коллекции Научной библиотеки Томского государственного университета)	151
Иванов Д.И., Лакербай Д.Л. Антропоцентрическая парадигма современного гуманитарного знания: метадисциплинарный «дом теорий»	168
Коростелев О.А., Кузнецова Е.В. Поэтические принципы Ивана Бунина и Александра Блока (на материале маргиналий И. Бунина на одномомнике А. Блока 1946 г.)	196
Суханов В.А. Марк Аврелий и философские идеи Античности в романе В. Пелевина «Жизнь насекомых»	225
Федотова С.В. Стихия пародии в литературной критике К.И. Чуковского (казус Л. Андреева)	244
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	263

CONTENTS

LINGUISTICS

Degaltseva A.V. Features of Adnominal Use of Adverbs of Manner	5
Konior D.V., Makarova A.L., Sobolev A.N. Linguistic/Dialectal Profiling of Dialect Speakers: The Method Presented on the Idiolect from Berčinovac, Eastern Serbia	17
Krayushkina T.V. The Far-Eastern East Slavs' Concepts of Outlanders (Based on the Materials of the Prose Genres of Oral Lore)	34
Malyuga E.N. Emergent Trends in English Scientific Discourse: Issues of Research Relevance and Linguistic Identity	52
Trofimova N.A., Mamtseva V.V. Verbal Representation of Female Artificial Smells in German-Language Romantic Discourse	71
Utkina T.I. Metaphorical Representation of the Concept GROWTH in Russian and English Academic Discourse in Economics	82
Chernyavskaya V.E. Corpus-Assisted Discourse Analysis of Russian University 3.0 Identity	97
Yakoba I.A. A Linguocognitive Complex of Mechanisms Intensifying Discourse Pattern Penetrative Ability	115

LITERATURE STUDIES

Antyukhov A.V., Sharavin A.V. Heroism as a National Manifestation of the Pre-Christian Russia in the Works of A.K. Tolstoy	129
Esipova V.A., Ognev D.A. A Mediator in Cultural Transfer (On the Example of the Collection from the Circle of Dimitry of Rostov; The Collection of Rare Books and Manuscripts, Tomsk State University Research Library)	151
Ivanov D.I., Lakerbai D.L. The Anthropocentric Paradigm of Modern Liberal Arts: A Metadisciplinary "House of Knowledge"	168
Korostelev O.A., Kuznetsova E.V. The Poetic Principles of Ivan Bunin and Alexander Blok (On the Material of Bunin's Marginalia on Blok's One-Volume Book of 1946)	196
Sukhanov V.A. Marcus Aurelius and the Ancient Philosophical Ideas in Victor Pelevin's Novel <i>The Life of Insects</i>	225
Fedotova S.V. Parody in the Literary Criticism of Chukovsky (The Case of Leonid Andreyev)	244
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS IN RUSSIAN	263

ЛИНГВИСТИКА

УДК 811.161.1'367

DOI: 10.17223/19986645/58/1

А.В. Дегальцева

ОСОБЕННОСТИ ПРИСУБСТАНТИВНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРЕЧИЙ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ

Рассматриваются особенности функционирования наречий образа действия в составе субстантивных словосочетаний. Анализ материала показывает, что такие наречия чаще всего употребляются при именах существительных с процессуальным значением, выступая в роли собственно второстепенных или детерминирующих членов предложения. Субстантивно-адвербиальные словосочетания активно употребляются на страницах современной прозы, а также в заголовках публицистических материалов.

Ключевые слова: синтаксис, семантический синтаксис, словосочетание, наречие, наречие образа действия.

Наречие обладает способностью обозначать «непроцессуальный признак действия, предмета или другого непроцессуального признака (качества или свойства)» [1. С. 701]. Типичной синтаксической функцией этой неизменяемой части речи является качественная или обстоятельственная характеристика глагола и его атрибутивных форм (причастия и деепричастия). Однако в современном русском языке наблюдается усиление активности присубстантивного употребления наречий [2. С. 313; 3. С. 11]. Образование субстантивно-адвербиальных словосочетаний происходит благодаря синтаксической и лексическо-семантической сочетаемости существительного с наречием. Синтаксическая сочетаемость обеспечивается примыканием постпозитивного неизменяемого слова к имени существительному. При этом адвербиальная лексема вступает с субстантивной в определительные (*яйцо всмятку, брак по-итальянски*) или комплетивные (*произношение безударно*) отношения. Наречия, выступающие в роли несогласованных определений, выражают «определительные отношения с обстоятельственным оттенком» [4. С. 180].

Адвербиальные лексемы могут определять имена как с конкретным значением, так и со значением отвлечённого процессуального признака [3. С. 11; 5. С. 253]. Поскольку наречию грамматически не свойственна способность определять слова с конкретно-предметным значением, в лингвистической науке существует мнение, что в именных словосочетаниях наподобие *пальто парашашку, стрижка налысо* используются наречия, подвергшиеся адъективации [6. С. 187] или ставшие неизменяемыми при-

лагательными [7. С. 236]. Некоторые исследователи полагают, что в таких сочетаниях функционируют «синкретичные слова-наречия, совмещающие свойства наречия и прилагательного» [8. С. 174]. Мы не разделяем подобные взгляды, поскольку полагаем, что функциональные возможности наречия не ограничиваются его способностью называть признак действия или другого признака. Как справедливо отмечает С.В. Иванов, примыкание наречий к именам с конкретным значением в большинстве случаев вызвано отсутствием «соответствующих однокоренных прилагательных, которые могли бы заменить наречия в подобных словосочетаниях» [9. С. 65]. Кроме того, в семантике наречий, употребляющихся присубстантивно и прилагательно, отмечается существенная разница [Там же. С. 64].

Образование субстантивно-адвербиальных словосочетаний нередко является следствием «редукции предикативных или полупредикативных элементов предложения»: «...реплика, сказанная исподтишка – реплика исподтишка» [10. С. 151], «шапка, надетая набекрень – шапка набекрень» [3. С. 11]. Однако между полупредикативными сочетаниями и субстантивно-адвербиальными словосочетаниями существует значительная разница: первые характеризуют признак действия (*кофе, сваренный по-турецки*), вторые – признак предмета (*кофе по-турецки*) [9. С. 64] или предмета и действия одновременно [11. С. 587]. Активность присубстантивного употребления наречий образа действия в современном русском языке, возможно, связана не только со стремлением к экономии речевых усилий, но и с тенденцией к синтаксическому аналитизму, выражающемуся, в частности, в ослаблении подчинительных связей [12. С. 93], уменьшении роли флексии в морфологии и синтаксисе, широком распространении конструкций с незамещенными синтаксическими позициями [13. С. 177].

На лексико-семантическом уровне сочетаемость наречия с существительным обеспечивается наличием у них общих сем [3. С. 11; 14. С. 460; 15. С. 46–47]. На особенности семантической сочетаемости слов также оказывает влияние их принадлежность к определенным лексико-грамматическим разрядам или лексико-семантическим группам: например, наречие *набекрень* сочетается с лексико-семантической группой слов, называющих головные уборы (*шапка, шляпа, берет, пилотка* и др.).

Изучение функционирования наречий образа действия на материале 250 000 предикативных единиц, извлеченных из современной прозы, газетно-публицистических статей, научных статей и монографий, официально-деловых документов и электронной деловой переписки, записей обиходно-бытовой речи, хранящихся на кафедре русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Саратовского государственного университета, а также представленных в Национальном корпусе русского языка, позволило нам составить словник данных лексем, насчитывающий около 6 000 наречий. Как показали наблюдения, только около 8% наречий образа действия способны употребляться присубстантивно. По справедливому замечанию Л.М. Цоневой, наиболее активно субстантивно-адвербиальные словосочетания употребляются в качестве средства создания выразительности

высказывания в публицистике и художественной прозе, где они, предположительно, и возникают [3. С. 15].

Наиболее часто присубстантивное употребление наблюдается у наречий, образованных префиксально-суффиксальным способом. Это обширная и активно пополняемая группа наречий. Высокая продуктивность конфиксальных словообразовательных моделей и «регулярная соотносимость с прилагательными обуславливают неполную и не всегда последовательную лексикографическую фиксацию данных наречий» [16. С. 83].

Наречия, способные употребляться присубстантивно, могут быть как собственно второстепенными членами предложения, так и детерминантами. Во втором случае наречия образа действия являются усложнителями смысловой структуры высказывания, т. е. адвербиальными компликаторами (термин «компликатор» был введён в научный оборот Г.А. Золотовой) [17. С. 167]. Опираясь на исследования, посвященные изучению обстоятельств в роли детерминирующих членов предложения [18, 19], будем считать основаниями для отнесения адвербиальной синтаксемы к детерминантам следующие показатели: отсутствие реализации обязательной валентности существительного; смысловую отнесенность адвербиальной лексемы ко всему предложению в целом или к нескольким его компонентам одновременно; способность входить в различные семантические модели и структурные схемы предложений; наличие имплицитно содержащейся в синтаксеме пропозиции и возможность её трансформации в диктумную или модусную часть высказывания; способность к потенциальной предикативности. Большинство наречий образа действия, которые примыкают к именам существительным, являются несобственно второстепенными членами предложения. Это объясняется тем, что субстантивно-адвербиальные словосочетания чаще всего возникают на основе предикативных или полупредикативных сочетаний слов, о чём было сказано выше. Так, в высказывании *Усредненный цвет радужки глаза определяется по фотографии анфас* [М. Федюков и др. Реконструкция параметрической модели и текстуры головы человека по набору изображений (2010)] выделенное словосочетание является результатом синтаксической компрессии. Наречие *анфас* вбирает в себя информацию, для выражения которой потребовалась бы целая предикативная единица: «субъект запечатлён лицом к смотрящему».

Наречия образа действия, выступающие в роли собственно второстепенных членов предложения, составляют около 7% от общего количества адвербиальных лексем, способных к присубстантивному употреблению. Такие слова называют различные параметры действия (*разговор полушёпотом, передвижение бегом*) и способ его совершения (*езда верхом, изучение философски*) или вступают с именной лексемой в комплетивные отношения (*походка вразвалку, глаза навыкате, расположение симметрично*). Среди таких наречий можно условно выделить несколько лексико-семантических групп, которые называют:

1) особенности движения или перемещения в пространстве (*бегом, вразвалку, вперевалку, трусцой, пешком, верхом*): *Провинившийся наказы-*

вается либо **тасканием** кирпичей **бегом**, либо «совочком» (Д.В. Ибикус. Про железнодорожные войска. 2006); Если <...> внешне вы стали замечать, что у собаки **походка вперевалку**, обвисло брюхо, жировые подушки на бедрах, то следует незамедлительно обратиться к ветеринару (Аргументы и факты. 22.03.2013);

2) особенности речевого действия (вслух, шёпотом, вполголоса): **Мысли вслух** на тему педагогического потенциала отечественной кинематографии (название статьи М.Э. Рогозянского. 2016); *Какая-то совсем особая близость: мирок, очерченный размерами ватманского листа, разговор вполголоса, братские касания локтем, плечами* (Л. Кабо. Ровесники Октября. 2009);

3) сменяемость, очерёдность выполнения действий (**поротно**, **повзводно**, **побатальонно**): Тактика проведения боевых операций заключалась в привлечении к **выполнению** боевых **задач** наименьшего количества людей, в основном **повзводно**, в отдельных случаях **поротно** и **батальонно** (Д.Х. Сайдумов. Чеченская Республика: факторы успеха в борьбе с международным терроризмом... 2016);

4) осуществление действия с точки зрения нахождения на месте его выполнения (лично, самолично): Необходимо **присутствие** истца **лично** (из материалов деловой переписки); Например, право <...> реализуется на практике в форме **изложения** адвокатом-защитником **самолично** обстоятельств, о которых допрашивается его подзащитный (И.В. Тишутина. Защитник в уголовном процессе. 2016);

5) особенности расположения чего-либо на поверхности или в пространстве (кучно, впрытык): **Стопы: ходьба с постановкой** пятки одной ноги перед пальцами другой **впрытык** (по линии) (С.А. Васильченко. Методы и приёмы координационной гимнастики при профилактике плоскостопия. 2017);

6) форма существования и воплощения объектов, процессов или явлений (*априори, апостериори, виртуально, наяву*): Тогда **общение виртуально** переходит в реальные отношения (записи разговорной речи. 2010); Поэтому в «Солярисе» были выстроены связующие звенья между двумя мирами – Землей и Планетой, которые в конце фильма становятся видимыми, как некий **сон наяву**... (Е.А. Савельева. Картина Питера Брейгеля «Охотники на снегу» как метафизический сон о Земле... 2015);

7) характеристика исходной позиции восприятия или суждения (*де-факто, де-юре, рационально, философски*): Ликвидация дипломатической изоляции СССР (от **признания де-факто** к **признанию де-юре**) (название статьи Л.П. Белковец. 2016);

8) особенности внешности (*навыкате, вразлёт*): Тёмные глаза и **брови вразлёт** излучали сейчас гнев (Е. Сартинов. Мне надоело прощать! 2011); Потом к нам подседа темнокожая, с розовыми бровями и **навыкате глазами** наркоманка (Комсомольская правда. 27.10.2011).

Чаще всего наречия образа действия в роли собственно второстепенных членов используются при отглагольных существительных, являющихся

следствием семантико-синтаксического процесса номинализации. Это объясняется тем, что девербативы «сохраняют глагольную семантику производящей основы и, как следствие, способность определяться наречиями» [9. С. 65]. Обычно изучаемые адвербиальные лексемы характеризуют имена существительные, называющие различные физические или ментальные действия и процессы. Лишь небольшая часть наречий образа действия, выступающих в роли второстепенных членов предложения, способна сочетаться только с конкретными существительными: *брови вразлёт, глаза навывкате*. Такие наречия, как правило, обладают ограниченной лексико-семантической сочетаемостью. Несмотря на это, в современной прессе некоторые из данных лексем постепенно расширяют свои сочетаемостные возможности. Так, согласно данным исследования, проведённого в начале 90-х гг. XX в. болгарским лингвистом Л.М. Цоневой, наречие *вразлёт* в функции несогласованного определения обладало ограниченной сочетаемостью, употребляясь в основном с существительным *брови* [3. С. 21]. Однако в современной прессе и художественной литературе данная лексема расширила свои сочетаемостные возможности: *А блеск аксельбантов и платья вразлёт – «отвлекающие манёвры»* (Комсомольская правда 01.04.2016); *В таксопарке Генку, прежде чем дать ему возможность самостоятельно ездить, стажировал старик-инструктор Иван Кузьмич, широкоплечий, с седыми вразлёт усами* (Ю. Кувалдин. Твист. 2011).

Среди наречий образа действия, способных употребляться присубстантивно, подавляющее большинство (93%) является несобственно второстепенными членами предложения: адвербиальными компликаторами. Такие слова при трансформации в субъектно-предикатную структуру разворачиваются в различные типы событийных пропозиций. Наречия-компликаторы, как и наречия, выступающие в роли второстепенных членов предложения, обычно употребляются при девербативах, т.е. используются в полипропозитивных предложениях, где присутствует по крайней мере ещё одно средство синтаксической компрессии – номинализация: *Он любит общение анонимно* (записи разговорной речи. 2013); *Гражданам, которые состоят в списке, полагается выдача медицинских препаратов бесплатно или со скидкой в половину стоимости препарата* (ОМС. Перечень групп населения и категорий заболеваний <...>).

Употребляясь при существительных с конкретно-предметным значением, наречия-компликаторы чаще всего характеризуют следующие ситуации:

1) особенности приготовления блюд: *В этот момент я сидел за завтраком и как раз намеревался съесть яйцо всмятку, а затем приняться за поджаренные хлебцы* (А. Добрынин. Записки обольстителя. 2012); *На завтрак мама оставила ему плошку оливье, четыре сосиски, два яйца вкрутую, бутерброд с сыром, бутерброд с икрой* (Н. Садур. Мальчик в чёрном плаще. 2010);

2) особенности надевания, ношения (наизнанку, навыворот, навывпуск): *На дальнем плане на скамейке сидит парень в белой рубашке нараспашку*

с высоко аккуратно закатанными рукавами, в новеньких джинсах и белых небрежно расшнурованных кедах (Л.Н. Доброхотова. Окно. 2012); *За нею приходил пожилой осанистый мужик в шибко богемной алой кофте навывпуск, который мог бы сойти за иностранца, если бы меньше бросался в глаза* (О.Э. Хафизов. Кокон. 2009). Нельзя не согласиться с Ф.И. Панковым, считающим, что подобные наречия присоединяются «не к слову, а к определённой форме предметного имени, выражая при этом не признак, а состояние предмета: *в шапке набекрень, в пальто нараспашку, в рубашке наизнанку*» [5. С. 125–126]. При метафорическом переосмыслении такие наречия могут становиться частью устойчивого выражения и описывать особенности характера человека или его эмоционального состояния: *Три дня, всего три дня, вытерпела домашний арест его душа нараспашку* (Акчурин Н.Г. Насмешка луны. 2013);

3) особенности обращения с оружием, держание его в определённом состоянии (*наперевес, наголо*): *Но самое яркое впечатление оставило у Пашки воспоминание о том, как он лазал по заборам, представляя себя лихим казаком, летящим на коне с шапкой наголо* (Шаров П.П. Пашкина война. 2007); *С ружьём наперевес-4* (название произведения В. Федина. 2012);

4) способы стрижки или бритья (*наголо, налысо, ёжиком, бобриком*): *Новеньких пригнали под вечер. Прожарка, стрижка наголо, помывка, еда, расселение* (В. Кеворков. Чумотары. 2010); *Вчера приходит: стрижка ёжиком* (записи разговорной речи. 2010).

Часто использование наречий-компликаторов при именах существительных обусловлено стремлением писателя или журналиста создать нестандартное и максимально выразительное высказывание, чтобы эффективно воздействовать на сознание и воображение читателя. *Разговевшись красным портвейном с гематогеном, мы бесцельно слонялись по набережной <...> и загарпунивали всё подряд, будто набирая меню в последний ужин перед смертью: глазированные ватрушки, гербарии всмятку для чайных церемоний и бифштексы с кровью второй группы...* (Г.В. Гриневич. Путь молнии. 2009).

Особое место среди адвербиальных компликаторов занимают лексемы, образованные префиксально-суффиксальным способом. Конфиксальные наречия составляют примерно 92% от общего количества наречий образа действия, употребляющихся присубстантивно. Чаще всего такие суффиксально-префиксальные слова образуются с помощью конфикса *по-...-ски*. Это одна из наиболее продуктивных моделей образования адвербиальных лексем. «Важная особенность наречий этого типа – их возможность образовываться не только от прилагательных, но и непосредственно от существительных, что позволяет им выражать отношение к предмету не только через посредство прилагательного, но и без него» [3. С. 18–19]. Между существительным и подобным наречием возникают атрибутивно-обстоятельные отношения, поскольку адвербиальная лексема называет признак действия и «подчёркивает способ его проявления» [Там же. С. 19]. Такая

словообразовательная модель способствует тому, что в большинстве случаев наречия-компликаторы содержат в себе свёрнутую логическую релятивную пропозицию со значением сравнения, уподобления, свойственности (в концепции Т.В. Шмелёвой – пропозицию подобия) [20. С. 21].

Конфиксальные наречия, употребляющиеся при существительных с конкретным значением, чаще всего выполняют в коммуникации две основные функции. Во-первых, они характеризуют процесс приготовления блюд [3. С. 19]. Такие словосочетания возникают вследствие синтаксической компрессии на основе элиминации из высказывания предикативных и полупредикативных конструкций. Например, *шашлык по-кавказски* – это шашлык, приготовленный так, как это принято на Кавказе: с добавлением большого количества острых пряностей, *кофе по-венски* – это напиток, приготовленный по традициям жителей Вены: с добавлением тростникового сахара и сливок. Сочетания конфиксальных наречий с конкретными существительными, относящимися к сфере гастрономии, образуют номинации блюд. Подобные примеры можно обычно встретить на страницах кулинарных книг или газет (в разделах, посвященных кулинарии): *курица по-венски*, *кофе по-льежски*, *мясной пирог по-австралийски* (О. Ивенская. Кулинарная энциклопедия. 2015); *горячий шоколад по-венски* (Аргументы и факты. 23.02.2018); *суп из свинины по-венгерски* (Комсомольская правда. 02.03.2012).

Во-вторых, конфиксальные наречия оценочно характеризуют и типизируют социальные, экономические, политические, культурные, природные процессы и явления: *Развод по-американски. Как вопрос алиментов решается в Штатах?* (Аргументы и факты. Здоровье. 27.03.2014); *Беспредел по-русски* (Московский комсомолец. 29.10.2007). При этом изучаемые адвербиальные единицы чаще всего сочетаются с девербативами. Такую функцию конфиксальные наречия-компликаторы выполняют в основном в заголовках или подзаголовках материалов, опубликованных на страницах газет. Нередко изучаемые субстантивно-адвербиальные словосочетания используются журналистами иронически или для выражения негативной оценки какого-либо явления или сложившейся ситуации. Этому способствует выбор журналистом экспрессивно-оценочной именной лексики: *Закат Европы по-авиньонски* (Российская газета. 21.07.2004); *Разврат по-американски* (Комсомольская правда. 06.07.2015); *Страсти по-британски: Даешь новый референдум!* (Комсомольская правда. 26.06.2016). Смысл таких конфиксальных наречий наиболее полно раскрывается в контексте всего публицистического материала и часто непонятен без него. Так, в статье под названием *«Авось» по-американски* (Аргументы и факты. 01.02.2018) журналист рассказывает о гибели астронавтов на космических кораблях «Колумбия» и «Челленджер». Как сообщает автор, руководство НАСА не приняло во внимание сведения о наличии опасных неполадок, рассчитывая на «авось», что привело к трагическим последствиям.

Исходя из значений корневых морфем и мотивирующих основ, все конфиксальные наречия-компликаторы, способные употребляться присуб-

стантивно, можно условно разделить на несколько лексико-семантических групп со значениями, указывающими на свойственность или подобие:

1) народу, народности, этносу, нации: *Кругооборот по-немецки* (Российская газета. 13.09.2011); *Свинина в горшочке по-гуцульски* (О. Ивенская. Кулинарная энциклопедия. 2015); *Щука по-еврейски* (Г.Н. Ужегов. Лечебное питание при различных заболеваниях. 2015);

2) территории, локусу: *Кофе по-восточному* – самый крепкий и вкусный, самый бодрящий (Аргументы и факты. 18.04.2014); *Куриные крылышки по-провански* (О. Ивенская. Кулинарная энциклопедия. 2015); *Салат со свеклой, баклажаном по-азиатски* и *рукколой* (Аргументы и факты. 25.08.2017); *Аджика по-домашнему* (Аргументы и факты. 18.04.2014); *Рождество по-деревенски* (Коммерсант. 08.01.2017);

3) профессии, роду занятий, чину, званию: *Красота по-боксёрски* (Комсомольская правда. 04.07.2011); *Бизнес по-генеральски* (Комсомольская правда. 05.03.2008); *Барашек по-партизански* (О. Ивенская. Кулинарная энциклопедия. 2015);

4) социальному классу или социальной группе: *Свинина по-дворянски* (Аргументы и факты. 01.12.2013); *Осетрина по-крестьянски* (Аргументы и факты. 21.08.2014); *Лечение по-пролетарски* (Аргументы и факты. 01.10.2017);

5) социально-политическому строю: *«Социалка» по-капиталистически* (Российская газета. 17.12.2003); *Бизнес по-коммунистически* (Коммерсантъ. 19.02.2014);

6) системе взглядов, убеждений, догм: *IPO по-буддистски* (Коммерсантъ. 03.07.2012); *Жизнь «в четырех стенах» по-домостроевски* (Аргументы и факты. 22.11.2005); *Лечение по-христиански* (Аргументы и факты. 05.11.2008);

7) животному: *Развод по-кошачьи: что делать, если у ваших питомцев возникли проблемы на личном фронте* (Комсомольская правда. 04.05.2006); *Любовь по-собачьи* (Московский комсомолец. 12.01.2004);

8) временному отрезку: *Ограничение по-весеннему* (Независимая газета. 19.04.2012); *Пикет по-декабрьски* (Аргументы и факты. 20.12.2006);

9) полу и возрасту: *ЕГЭ по-взрослому* (Аргументы и факты. 21.02.2017); *Бизнес по-женски* (Комсомольская правда. 08.03.2017);

10) характеру взаимоотношений: *Сенсация по-дружески* (Московский комсомолец. 20.06.2010); *Перестрелка по-братски* (Коммерсантъ. 10.03.2011);

11) организации, социальному институту: *«Антиреклама» по-комсомольски* (Комсомольская правда. 26.09.2017); *Тюнинг по-армейски: В Рыбинске квадроцикл превратили в бронированный вездеход* (Комсомольская правда. 18.06.2015).

Наиболее распространенными являются наречия, называющие такие признаки, как национальная или территориальная принадлежность человека. Нужно отметить, что в некоторых случаях конфикальные наречия образа действия могут выступать в несвойственной им роли собственно вто-

ростепенных членов предложения. Обычно это обусловлено непривычной сочетаемостью, возникающей между адвербиальной и именной лексемами. Так, в статье с заголовком «*Мисс мира по-собачьи*: королевой красоты среди четвероногих стала Мисс Пи из Канады» (Комсомольская правда. 28.04.2016) выделенное наречие имеет значение «среди собак». В другом материале находим заголовок «*Трапеза по-собачьи*» (Московский комсомолец. 29.11.2013). Здесь журналист рассказывает о том, чем лучше кормить питомца. Следовательно, конфиксальное наречие «по-собачьи» в данном случае означает «для собаки». Ещё одним подтверждением сказанному может служить статья «*Шопинг по-московски*» (Аргументы и факты. 16.06.2014), в которой рассказывается вовсе не о том, где и какие покупки совершают москвичи или гости столицы (как можно было бы предположить). Материал посвящён истории Гостиного Двора. Выделенное наречие имеет здесь, скорее, локативное, чем сравнительно-уподобительное значение.

Некоторые субстантивно-адвербиальные сочетания, возникая как яркие окказионализмы, постепенно становятся штампами, которые тиражируются во многих СМИ: *Развод по-русски* (Комсомольская правда. 30.05.2015); *Развод по-итальянски* (Аргументы и факты. 25.11.2015); *Развод по-американски* (Аргументы и факты. 02.04.2014); *Правосудие по-южноуральски* (Коммерсантъ. 08.07.2011); *Правосудие по-американски: 3 месяца тюрьмы за убийство 24 человек* (Комсомольская правда. 24.01.2012); *Правосудие по-французски* (Коммерсантъ. 02.07.2017) и под.

Таким образом, наречия образа действия употребляются при именах существительных с процессуальным или конкретно-предметным значением. Они могут выступать в роли как собственно второстепенных членов предложения, так и детерминантов. В первом случае изучаемые наречия обычно описывают способ совершения физического или ментального действия, во втором – усложняют семантическую структуру предложения, вводя в него побочную событийную пропозицию. Среди наречий, являющихся несобственно второстепенными членами предложения, преобладают лексемы, образованные префиксально-суффиксальным способом от слов, называющих национальную или территориальную принадлежность человека. Они способны характеризовать и типизировать общественно-политические, экономические или культурные процессы и явления, а также называть особенности приготовления блюд, соотнося их с традициями населения какой-либо территории.

Чаще всего наречия образа действия, употребляющиеся присубстантивно, функционируют в художественной и публицистической сферах коммуникации. При этом конфиксальные наречия активно используются журналистами в заголовках газетных материалов. Субстантивно-адвербиальные словосочетания на страницах прессы привлекают внимание читателя своей образностью и нестандартностью, однако некоторые из них сейчас растрачиваются в различных печатных СМИ настолько, что становятся штампами.

Литература

1. *Русская грамматика* : в 2 т. / гл. ред. Н.Ю. Шведова. М. : Наука, 1980. Т. 1. 789 с.
2. *Виноградов В.В.* Русский язык: (Грамматическое учение о слове) / под. ред. Г.А. Золотовой. 4-е изд. М. : Рус. яз., 2001. 720 с.
3. *Цонева Л.М.* Сочетаемость наречий с именами существительными в русском языке (лексико-синтаксический и стилистический аспект) : автореф. дис. ...канд. филол. наук. М., 1992. 29 с.
4. *Сидорова О.В.* Субстантивные словосочетания с наречиями на «-ски» и приставкой «по-» в современном русском литературном языке // Вестник Иркутского государственного университета. 2013. № 34. С. 180–183.
5. *Панков Ф.И.* Функционально-коммуникативная грамматика русского наречия : дис. ... д-ра филол. наук. М., 2009. 844 с.
6. *Бегаева Е.В., Лачимова Л.Я., Янсукевич А.А., Гусева Т.И.* Современный русский язык : практич. пособие. М. : Экзамен, 2005. 228 с.
7. *Лопатин В.В., Милославский И.Г., Шелякин М.А.* Современный русский язык : Теоретический курс. Словообразование. Морфология : учеб. для студ.-инстр. / под ред. В.В. Иванова. М. : Рус. яз., 1989. 262 с.
8. *Панова Г.И.* Современный русский язык. Морфология : слов.-справ. 2-е изд., испр. и доп. Абакан : Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. Ч. 1. 264 с.
9. *Иванов С.В.* Обозначают ли наречия признак предмета? // Русский язык в школе. 2013. № 10. С. 63–67.
10. *Панов М.В.* Позиционная морфология русского языка. М. : Наука: Языки русской культуры, 1999. 275 с.
11. *Милославский И.Г.* Морфология // Современный русский язык : учеб. для филол. спец. высш. учебн. заведений / под ред. В.А. Белошапковой. 3-е изд., испр. и доп. М., 1989. С. 442–605.
12. *Акимов Г.Н.* Различные формы проявления аналитизма в современном русском грамматическом строе // Русистика: Лингвистическая парадигма конца XX века / отв. ред. В.Д. Черняк. СПб., 1998. С. 86–94.
13. *Князев Ю.П.* Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе. М. : Языки славянских культур, 2007. 704 с.
14. *Гак В.Г.* Языковые преобразования. М. : Языки русской культуры, 1998. 768 с.
15. *Морковкин В.В.* Опыт идеографического описания лексики. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1977. 168 с.
16. *Савелова Л.А.* Формальные и семантические классы циркумфиксальных наречий в русском языке // *Lingua mobilis*. 2010. № 3 (22). С. 82–90.
17. *Золотова Г.А.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М. : Наука, 1982. 368 с.
18. *Рудницкая Е.Л.* Сентенциальные наречия в русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1993. 22 с.
19. *Малащенко В.П.* Свободное присоединение предложно-падежных форм имени существительного в современном русском языке. Ростов н/Д : Изд-во Ростов. ун-та, 1972. 172 с.
20. *Шмелёва Т.В.* Семантический синтаксис: текст лекций. Красноярск : Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1994. 42 с.

Features of Adnominal Use of Adverbs of Manner

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2019. 58. 5–16. DOI: 10.17223/19986645/58/1

Anna V. Degaltseva, Saratov Chernyshevsky State University (Saratov, Russian Federation). E-mail: deganna@mail.ru

Keywords: syntax, semantic syntax, collocation, adverb, adverb of manner.

The aim of this article is to describe the peculiarities of the functioning of adverbs of manner which grammatically depend on nouns. The study is performed on the material of the texts of the period from 2003 to 2018 taken from different spheres of communication: modern fiction, newspapers, scientific articles and monographs, business correspondence and business documentation, recordings of colloquial speech (stored at the Department of Russian Language, Speech Communication and Russian as a Foreign Language of the National Research Saratov Chernyshevsky State University as well as presented on the website of the Russian National Corpus). The total volume of the material is about 250,000 predicative units. On the basis of the analyzed material, the author of the article compiled a list of adverbs of manner which includes about 6,000 lexemes. While collecting and studying the material, the author used comparative, interpretative, logical and syntactic methods, as well as the methods of component analysis, continuous sampling and quantitative analysis. The analysis of the material shows that only about 8% of adverbs of manner grammatically depend on nouns. Most often they are used with nouns that express procedural or concrete meanings, acting as secondary members of the sentence or determinants. Adverbs of manner in the role of secondary members of the sentence usually describe the way of physical or mental actions. Among adverbs-determinants, lexemes formed with prefixal-suffixal derivation from words that represent the national or territorial belonging of a person prevail. That is why such lexemes characterize socio-political, economic or cultural processes and phenomena, as well as peculiarities of recipes of dishes comparing them with the traditions of the population of any territory. Most often adverbs of manner, which are used with nouns, are determinants and function in journalism and fiction. Moreover, adverbs formed with prefixal-suffixal derivation are actively used by journalists in headlines of newspaper materials. Substantive-adverbial collocations are usually used on the pages of the modern press as occasionalisms and, therefore, often attract readers' attention by their expressiveness and originality. The meaning of such adverbs-determinants is most fully revealed in the context of all journalistic material and is often not clear without it. However, some of the prefixal-suffixal adverbs are gradually beginning to be used in various print media so often that they become speech clichés.

References

1. Shvedova, N.Yu. (ed.) (1980) *Russkaya grammatika: v 2 t.* [Russian grammar: in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Nauka.
2. Vinogradov, V.V. (2001) *Russkiy yazyk (Grammaticheskoe uchenie o slove)* [The Russian language (grammatical teaching about the word)]. 4th ed. Moscow: Russkiy yazyk.
3. Tsoneva, L.M. (1992) *Sochetaemost' narechiy s imenami sushchestvitel'nyimi v russkom yazyke (leksiko-sintaksicheskii i stilisticheskii aspekt)* [Combination of adverbs with nouns in the Russian language (lexical-syntactic and stylistic aspect)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow.
4. Sidorova, O.V. (2013) *Substantivnye slovosochetaniya s narechiyami na "-ski" i pristavkoy "po-" v sovremennom russkom literaturnom yazyke* [Noun phrases with adverbs with the suffix "-ski" and prefix "po-" in the modern Russian literary language]. *Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Irkutsk State University*. 34. pp. 180–183.
5. Pankov, F.I. (2009) *Funktional'no-kommunikativnaya grammatika russkogo narechiya* [Functional-communicative grammar of the Russian language]. Philology Dr. Diss. Moscow.
6. Begaeva, E.V., Lachimova, L.Ya., Yansyukevich, A.A. & Guseva, T.I. (2005) *Sovremennyy russkiy yazyk. Prakticheskoe posobie* [The Modern Russian language. Practical guide]. Moscow: Ekzamen.
7. Lopatin, V.V., Miloslavskiy, I.G. & Shelyakin, M.A. (1989) *Sovremennyy russkiy yazyk: Teoreticheskii kurs. Slovoobrazovanie. Morfologiya: ucheb. dlya stud.-inostr.* [The

Modern Russian language: Theoretical course. Word-formation. Morphology: textbook for foreign students]. Moscow: Russkiy yazyk.

8. Panova, G.I. (2003) *Sovremennyy russkiy yazyk. Morfologiya: slovar'-spravochnik* [The Modern Russian language. Morphology: reference dictionary]. Pt. 1. 2nd ed. Abakan: Khakas State University.

9. Ivanov, S.V. (2013) Oboznachayut li narechiya priznak predmeta? [Do the adverbs denote a characteristic of the subject?]. *Russkiy yazyk v shkole – Russian Language at School*. 10. pp. 63–67.

10. Panov, M.V. (1999) *Pozitsionnaya morfologiya russkogo yazyka* [Positional morphology of the Russian language]. Moscow: Nauka; Yazyki russkoy kul'tury.

11. Miloslavskiy, I.G. (1989) Morfologiya [Morphology]. In: Beloshapkova, V.A. (ed.) *Sovremennyy russkiy yazyk* [The modern Russian language]. 3rd ed. Moscow: Azbukovnik.

12. Akimova, G.N. (1998) Razlichnye formy proyavleniya analitizma v sovremenном russkom grammaticheskom stroe [Various forms of manifestation of analytism in the modern Russian grammatical system]. In: Chernyak, V.D. (ed.) *Rusistika: Lingvisticheskaya paradigma kontsa XX veka* [Russian studies: Linguistic paradigm of the end of the 20th century]. St. Petersburg: Herzen St. Petersburg State Pedagogical University.

13. Knyazev, Yu.P. (2007) *Grammaticheskaya semantika: Russkiy yazyk v tipologicheskoy perspective* [Grammatical semantics: the Russian language in typological perspective]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.

14. Gak, V.G. (1998) *Yazykovye preobrazovaniya* [Language transformations]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.

15. Morkovkin, V.V. (1977) *Opyt ideograficheskogo opisaniya leksiki* [Experience of ideographic description of a vocabulary]. Moscow: Moscow State University.

16. Savelova, L.A. (2010) Formal'nye i semanticheskie klassy tsirkumfiksatsionnykh narechij v russkom yazyke [Formal and semantic classes of prefix-suffix adverbs in the Russian language]. *Lingua mobilis*. 3 (22). pp. 82–90.

17. Zolotova, G.A. (1982) *Kommunikativnye aspekty russkogo sintaksisa* [Communicative aspects of the Russian syntax]. Moscow: Nauka.

18. Rudnitskaya, E.L. (1993) *Sententsial'nye narechiya v russkom yazyke* [Sentential adverbs in the Russian language]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow.

19. Malashchenko, V.P. (1972) *Svobodnoe prisoedinenie predlozhno-padezhnykh form imeni sushchestvitel'nogo v sovremenном russkom yazyke* [Free connection of the nouns with prepositions in the modern Russian language]. Rostov-on-Don: Rostov State University.

20. Shmeleva, T.V. (1994) *Semanticheskyy sintaksis. Tekst lektsiy* [Semantic syntax. The text of the lectures]. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State University.

УДК 81'286

DOI: 10.17223/19986645/58/2

Д.В. Конёр, А.Л. Макарова, А.Н. Соболев

СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЯЗЫКОВОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ НОСИТЕЛЯ ДИАЛЕКТА (НА МАТЕРИАЛЕ ВОСТОЧНОСЕРБСКОГО ИДИОМА СЕЛА БЕРЧИНОВАЦ)¹

Разрабатывается статистический метод, позволяющий устанавливать частотность и правила дистрибуции диалектных различительных признаков в спонтанной речи носителей сербских (в дальнейшей перспективе – славянских и балканских) нестандартизированных идиомов и тем самым устанавливать внутрисистемные импликации между различными диалектными признаками и создавать языковые профили носителей диалекта. Объектом изучения является тимокский идиом из села Берчиновац в районе города Княжевац Заечарского округа в Восточной Сербии.

Ключевые слова: статистические методы в языкознании, языковое профилирование, носитель диалекта, балканославянские языки, сербские диалекты, тимокский диалект, идиолект носителя говора.

Постановка проблемы

Цель предпринятого исследования – разработать статистический метод, позволяющий устанавливать частотность и правила дистрибуции диалектных различительных признаков в спонтанной речи носителей нестандартизированных идиомов и тем самым устанавливать внутрисистемные импликации между различными диалектными признаками и создавать языковые профили носителей диалекта. В статье изучается конкретный тимокский диалект в Восточной Сербии, но достижение финальной цели исследования, как можно надеяться, позволит получить количественный инструмент для оценки внутрисистемной диалектной когерентности и «степени диалектной аутентичности» (или «степени диалектной сохранности») для любого варианта сербской (в дальнейшей перспективе – славянской и балканской) диалектной речи.

Объектом изучения является тимокский идиом информантки Драгини Микич (1906 г. р.) из села Берчиновац в районе города Княжевац Заечарского округа в Восточной Сербии. Идиом представлен нарративом примерно в 5300 словоупотреблений, записанным в 1990-е гг. и опубликован-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-512-76002 ЭРА_а «Изучение дивергенции и конвергенции традиций Центральных Балкан: реализация и перцепция».

ным в третьем томе «Диалектологического атласа Восточной Сербии и Западной Болгарии» [1. Bd. 3, Ortspunkt 503. Berčinovac. S. 125].

Говоры призренско-тимокской области сербского диалектного комплекса [2. С. 210–253], с одной стороны, по историко-фонетическим и морфологическим особенностям (рефлекс праславянского *q > u, совпадение рефлексов редуцированных, флексия -ga в местоименном склонении и мн.др.) относятся к западной части южнославянского диалектного континуума. Помимо ряда приграничных западноболгарских в генетически единый диалектный комплекс с сербской призренско-южноморавской группой можно объединять некоторые говоры Северной Македонии, прежде всего в областях Куманово и Скопска Црна Гора [3. С. 159–239]. С другой стороны, по инновационным морфосинтаксическим характеристикам (редукция падежной системы, наличие постпозитивного артикля, местоименное дублирование объекта и др.) призренско-тимокские сербские говоры относятся к балканославянскому, т.е. балканизированному южнославянскому ареалу [4. С. 103–106; 5]. «Новый слой [инноваций] составляют балканизмы, которые, несмотря на свое чаще всего неславянское происхождение, все же связывают эти говоры и с болгарским, и с македонским языком. Однако... в обоих случаях призренско-тимокские говоры остались обособленными, не усвоив полностью ни всех существенных штокавских инноваций, ни всех характерных балканизмов» [6. С. 212].

Согласно восходящей еще к А. Беличу классификации [7] призренско-тимокская область членится на три достаточно крупных диалектных типа: призренско-южноморавский, сврлигско-заплянський и тимокско-лужницкий [8. С. 114–116]. Сербский тимокско-лужницкий диалект делится, в свою очередь, на четыре группы: тимокскую, белопаланкскую, лужницкую и пиротскую [9] (ср.: [2. С. 242–244]). Все эти говоры относятся к ĉ, dž-зоне, называемой так по особым рефлексам праславянских *tj, *dj и охватывающей помимо сербских также и болгарские диалекты вокруг современной межгосударственной границы. Отнесение конкретного говора к сербскому или болгарскому языку осуществляется здесь в зависимости от национального самоопределения говорящих, соответственно сербского или болгарского.

В свою очередь, как было установлено в [10. Bd. 1. S. 396–397] путем применения таких классификационных параметров, как рефлекс слогообразующего l и система постпозитивных артиклей, ĉ, dž-зона делится на несколько диалектных подгрупп:

1) Тимокско-заглавакский говор (*gl̩ta* ‘глотаёт’, *v̩lk* ‘волк’, 3 артикля – *-əv*, *-ət*, *-ən*);

2) старопланинский говор (*gl̩ta*, *v̩lk*, 1 артикль – *-ət*);

3) лужницко-знепольский говор (*gl̩ta*, *vuk*, 3 артикля);

4) говор района Трынское Краиште (*gl̩ta*, *vuk*, 1 артикль);

5) говор района Кюстендилское Краиште (*gl̩ta*, *vuk*, 1 артикль).

Идиом села Берчиновац относится к тимокско-заглавскому говору ĉ, dž-зоны, что соответствует тимокскому говору сербской диалектологической традиции.

Метод

В данном исследовании нас интересуют закономерности проявления в анализируемом тексте ряда дифференциальных фонетико-фонологических и грамматических диалектных признаков, которые далее будут называться диалектными различиями. Согласно определению Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой: «Диалектное различие есть такой элемент структуры языка, который в отдельных диалектных микросистемах выступает в разных своих соотносительных вариантах, в разных своих членах. Каждый из этих вариантов сам по себе является элементом той или иной отдельной микросистемы. Совокупность этих вариантов в их межсистемных отношениях образует соответственное явление как элемент макросистемы. Таким образом, соответственное явление всегда двучленно или многучленно. Члены соответственного явления находятся между собой в определенных закономерных отношениях» [11. С. 11].

Для предпринятого исследования релевантны следующие элементы структуры сербского языка (диалектные различия, изоглоссы), выступающие в разных соотносительных вариантах в новоштокавских идиомах (например шумадийско-воеводинских говорах, лежащих в основе сербского литературного языка экавского орфоэпического варианта) и в идиомах тимокского диалекта в Восточной Сербии:

1) прасл. **tj*, **ktj* > *ć* vs *č*, **dj* > *ž* vs. *ž* (*sveća* ‘свеча’, *meža* ‘межа’ vs. *sveča*, *medža*);

2) прасл. **ъ* = **ь* > *a* vs *ə* (*dan* ‘день’, *san* ‘сон’ vs *dən*, *sən*);

3) синтетическое (флективное) vs аналитическое (предложное) маркирование косвенного объекта (IO) и посессора (POSS), выраженного существительным;

4) синтетическое (флективное) vs аналитическое (предложное) маркирование периферийных падежных отношений при имени существительном (так называемый генитив, инструментал и локатив);

5) отсутствие открытого маркера категории определенности vs наличие постпозитивного артикля (системы из одного или трех артиклей);

6) синтетический компаратив vs аналитический компаратив прилагательных (с гипертрофированным употреблением аналитического маркера компаратива при именах существительных, местоимениях, глаголах, наречиях и предлогах);

7) однократное маркирование прямого (DO) и косвенного объекта (IO) флексией vs местоименная редупликация прямого и косвенного объекта;

8) наличие частицы конъюнктива (в традиционной грамматике – союза *da* ‘что, чтобы’) при модальных глаголах и в формах футура vs опущение этой частицы (союза) [12];

9) акцентные ретракции vs сохранение старого места ударения.

Для получения статистически релевантных результатов на достаточном объеме текста были отобраны наиболее весомые признаки, противопоставляющие все говоры изучаемого региона Восточной Сербии новоштокав-

ским говорам, лежащим в основе литературного языка. Для диалектного ландшафта Сербии и других славянских стран «особенно характерно... наличие таких членов соответственного явления, один из которых является в собственном смысле диалектным, другой – свойственным литературному языку. С точки зрения генетической это результат влияния литературного языка на диалект или результат взаимодействия диалектов» [11. С. 11]. Изоглоссы, важные для диалектной микродифференциации внутри *č*, *dž*-зоны (уже упоминавшийся характер рефлексов праславянских слогообразующих сонантов в различных позициях и количество постпозитивных артиклей), в рамках предпринятого исследования не рассматриваются. Анализ диалектного текста был проведен «вручную», полному учету (т.е. статистически-ориентированному детальному качественному разбору и однозначному измерению) подверглись показатели по всем выделенным выше параметрам за исключением акцентологического. Мы полагаем, что в перспективе любое статистическое (квантитативное) исследование сербского (в дальнейшей перспективе – славянского и балканского) диалектного текста должно будет осуществляться автоматически, для чего в настоящее время, к сожалению, отсутствуют надежные программные средства.

Будем исходить из того, что степень диалектной аутентичности спонтанной речи информанта может быть однозначно измерена на фоне гипотетического «идеального», «канонического» (в современной языковой реальности Восточной Сербии не существующего) тимокско-заглавакского говора южнославянской *č*, *dž*-зоны. В таком говоре употреблялись бы те и только те члены соответственного явления (варианты реализации диалектного различия), которые локализуются именно в Тимокском крае, а их соответствия из других диалектных ареалов и из литературного языка не встречались бы ни в качестве «безразлично употребляемых в речи», ни в качестве «стилистически разграниченных» вариантов. «Степень диалектной аутентичности» такого говора по любому параметру составляет идеальные 100%. В рамках нашего метода проводится сравнение реально звучащей речи с этим «идеальным тимокским говором» по модели тестирования личностных характеристик в современной психологии личности [13].

Установление степени проявления диалектных признаков в речи собеседника – стандартная процедура, осуществляемая диалектологом в ходе полевой работы при отборе лиц, которые в дальнейшем будут рассматриваться в качестве информантов-носителей местного говора. На практике эта процедура обычно осуществляется на фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях языковой структуры, затем имплицитно представляется представление о том, что речь информанта внутренне когерентна, а «диалектность» морфосинтаксических и синтаксических характеристик как минимум не сильно отклоняется от остальных. Важно при этом установить, может ли информант порождать относительно длинные цепочки высказываний на диалекте или способен воспроизводить лишь отдельные диалектные словоформы. Эта же процедура позволяет проводить экспертизу текста, объявляемого «диалектным», в случае сомнений в последнем обстоятельстве.

Процедура сравнения заключается в непосредственном подсчете количества употреблений «правильных» (т. е. соответствующих диалектному «канону») вариантов реализации диалектного различия, в результате чего можно в процентном соотношении установить, насколько данный идиом близок к «идеалу», насколько он «диалектен» и насколько отдален от иных диалектов и от литературного языка. С точки зрения сравнения с поздним праславянским состоянием варианты реализации дифференциальных различий можно квалифицировать как внутриславянские архаизмы или инновации; на них наслаиваются балканизмы – инновации, появившиеся в результате вхождения призыренско-тимокских диалектов в балканский языковой союз [14]. Если реализация диалектных различий совпадает с состоянием сербского литературного языка, то последний с изрядной долей обобщения признается источником влияния в данном случае. Предполагается, что реализация в речи информанта различных членов диалектных различий может зависеть от темы наррации (автобиография, история семьи, история и жизнь села, традиционное и современное хозяйство, прошлый и современный быт, календарная обрядность в прошлом и в настоящее время, обряды перехода, былички и др.), но в рамках настоящего исследования это обстоятельство не принимается во внимание.

В соответствии с этим подходом анализируемый нами диалектный текст сопоставляется с его гипотетическим «идеальным» состоянием, в котором диалектные различия реализованы исключительно, на 100% «тимокским» образом, а именно:

1) рефлекс прасл. **tj* реализован как *č*, например: **vętje > veče* ‘больше’, **leŭtja > leča* ‘чечевица’, **svętja > sveča* ‘свеча’, футуральная частица *če* от **hotjetъ-3sg.*, деминутивный и патронимический суффикс **-itjъ > -ič*;

2) рефлекс прасл. **dj* реализован исключительно как *ž*, например: **medja > meža* ‘межа’, **tjudje > čižo* ‘чужое’, **vidj- > viž-* ‘вид-’;

3) совпавшие рефлексy первичных и вторичных редуцированных реализованы как гласный среднего ряда среднего подъема *ə*, например: **sъn > sən* ‘сон’, **vъšъ > vəška* ‘вошь’, **dъsky > dəska* ‘доска’; в суффиксе **-ъvъ (takəv* ‘так(ов)ой’); **dънь > dən* ‘день’, **lъ(gъ)kъ > ləko* ‘легко’, **došъlъ > došəl*; в суффиксе **-ъnъ (gladъn* ‘голоден’); **jedъnъ > edən* ‘один’, **ognъ > ogəŋ* ‘огонь’;

4) аналитическое маркирование косвенного объекта (IO) и посессора (POSS), выраженного существительным (например: *i na tuj ovcu se toj dade prvo i venəs* ‘и этой овце вначале дают/надевают венок’; *tag u moje znaŋe i na moŭega tatu odnela vodenicu* ‘тогда, насколько я знаю, вода унесла и мельницу моего отца’);

5) аналитическое маркирование периферийных падежных отношений при имени существительном (*ot sviŋu ostala samo glava* ‘от свиньи осталась только голова’, *oralu sam səs pluk* ‘я пахала плугом’, *on bil u vojsku* ‘он был в армии’);

6) наличие постпозитивного артикля в именной группе (например: *dojde do nas vodaŭ do ovdeka* ‘дошла до нас вода досюда’);

7) аналитическое маркирование косвенного объекта (IO) и посессора (POSS), выраженного личным местоимением (например: *toj na nas pričala baba jedna* ‘это нам рассказывала одна старуха’);

8) аналитическое маркирование периферийных падежных отношений при личном местоимении (*pokraj ňu* ‘рядом с ней’, *sas ňega* ‘с ним’, *da pečemo leb u ňu* ‘чтобы печь хлеб в ней’);

9) аналитический компаратив прилагательных, употребление частицы компаратива при существительных и глаголах (например: *pomlad* ‘моложе, более молодой, младший’);

10) местоименная редупликация прямого объекта (DO), выраженного личным местоимением (*tebe te stra* ‘тебе страшно’ [15. С. 405];

11) местоименная редупликация косвенного объекта (IO), выраженного личным местоимением (*tep-ti-je dobro* ‘тебе хорошо’ [Ibidem];

12) отсутствие частицы конъюнктива при модальных глаголах и в формах футура (например: *sad ču # pričam* ‘сейчас расскажу’, ср. *sad ču da pričam* ‘то же’).

Очевидно, что для ряда явлений морфосинтаксиса последовательное применение нашего метода заставляет принять ряд априорных решений, не всегда полностью находящихся поддержку в реально звучащей речи на тимокско-заглавакском диалекте. Они таковы.

Любая именная группа, референт которой представляет собой материальный предмет реального мира, не генерализированный (ср. *sir od jagnje* ‘сыр, ферментированный сычугом ягненка’) и не абстрактное понятие, будет считаться потенциально конкретно-референтной ИГ, открывающей позицию для определенного артикля (все такие именные группы принимаются за 100% реализации артикля в «каноническом» говоре). Не рассматриваются ИГ, являющиеся частью предиката (ср. *kad sam bila devojčica* ‘когда я была девушкой’), входящие в состав идиоматических выражений (ср. *na ruku češljamo* ‘вычесываем шерсть руками’), употребленные с указательным или притяжательным местоимением, открыто маркированные как нереферентные (употребленные с квантификатором или «неопределенным артиклем» *edən*), упомянутые первично, употребленные в вокативе.

Любой косвенный объект, выраженный именем существительным, будет считаться потенциально маркируемым аналитическим показателем *na* ‘на, к’ (все такие обнаруженные в тексте объекты принимаются за 100% реализации в «каноническом» говоре).

Любой косвенный и прямой объект будет считаться потенциально удваиваемым и открывающим позицию для редуплицирующей краткой формы личного местоимения (все такие обнаруженные в тексте объекты принимаются за 100% реализации в «каноническом» говоре).

Частица конъюнктива (союз) *da* при модальных глаголах и формах футура отсутствует (все такие позиции принимаются за 100% в «каноническом» говоре).

Эти решения ввиду не очень большого объема анализируемого материала игнорируют помимо прочих такие хорошо известные нам факторы, как

нереферентное употребление имен существительных вне сочетаний с неопределенными местоимениями и квантификаторами, иерархия утраты формы датива разными местоименными формами и архаичные употребления форм датива существительных-названий лиц и имен собственных, тема-рематические ограничения на местоименные редупликации объекта, а также любые семантические и функциональные различия между глагольными конструкциями с частицей конъюнктива (союзом) *da* и без нее. Тем не менее мы считаем, что они не влияют существенно на установление общих правил дистрибуции диалектных различительных признаков, на оценку степени диалектной аутентичности спонтанной речи информанта и параметры языкового профиля носителя диалекта.

Материал

В данном разделе статьи приводится материал, методом сплошной выборки извлеченный из диалектного текста и подвергнутый этимологическому, формальному и функционально-семантическому анализу. Число перед примером указывает на порядковый номер словоформы в ряду ей подобных.

Диалектное различие 1: рефлексy *tj, *ktj

тимокская форма	инодиалектная (стандартноязыковая) форма
1. <i>četo</i> , 2. <i>če</i> , 3. <i>če</i> , 4. <i>tačeja</i> , 5. <i>tačeja</i> , 6. <i>tačeja</i> , 7. <i>oče</i> , 8. <i>oče</i> , 9. <i>če</i> , 10. <i>neče</i> , 11. <i>ču</i> , 12. <i>noč</i> , 13. <i>oče</i> , 14. <i>neče</i> , 15. <i>če</i> , 16. <i>če</i> , 17. <i>če</i> , 18. <i>noč</i> , 19. <i>noč</i> , 20. <i>če</i> , 21. <i>noči</i> , 22. <i>če</i> , 23. <i>ču</i> , 24. <i>prenočito</i> , 25. <i>ču</i> , 26. <i>ču</i> , 27. <i>ču</i> 28. <i>devojčiči</i> , 29. <i>piliči</i> , 30. <i>piliči</i>	1. <i>tačehu</i> , 2. <i>tačehu</i>

Диалектное различие 2: рефлексy *dj

тимокская форма	инодиалектная (стандартноязыковая) форма
1. <i>leža</i> , 2. <i>viživali</i> , 3. <i>prežu</i> , 4. <i>prežu</i> , 5. <i>prežu</i> , 6. <i>preža</i>	1. <i>rožena</i> , 2. <i>goveže</i> , 3. <i>žuržovdan</i> , 4. <i>žuržovče</i>

Диалектное различие 3: реализация рефлексов праславянских редуцированных (в том числе секундарных и в формах причастия на *-l*) в качестве *a* vs *a*

тимокская форма	инодиалектная (стандартноязыковая) форма
1. <i>sək</i> , 2. <i>səg</i> , 3. <i>səs</i> , 4. <i>səs</i> 5. <i>polək</i> , 6. <i>vəzdən</i> , 7. <i>sək</i> , 8. <i>došəl</i> , 9. <i>došəl</i> , 10. <i>došəl</i> , 11. <i>došəl</i> , 12. <i>došəl</i> , 13. <i>səs</i> , 14. <i>səs</i> , 15. <i>səg</i> , 16. <i>səs</i> , 17. <i>səg</i> , 18. <i>səg</i> , 19. <i>momək</i> , 20. <i>tri</i> <i>dəna</i> , 21. <i>dən</i> , 22. <i>edən</i> , 23. <i>sək</i> , 24. <i>səs</i> , 25. <i>səg</i> , 26. <i>sə</i> , 27. <i>səs</i> , 28. <i>nekəv</i> , 29. <i>səg</i> , 30. <i>sək</i> , 31. <i>səs</i> , 32. <i>səg</i> , 33. <i>səs</i> , 34. <i>səs</i> , 35. <i>dəna</i> , 36. <i>kotəl</i> , 37. <i>səg</i> , 38. <i>sək</i> , 39. <i>səg</i> , 40. <i>edən</i> , 41. <i>Bədño</i> , 42. <i>dən</i> , 43. <i>Bədñi</i> , 44. <i>Bədñu</i> , 45. <i>səs</i> , 46. <i>səs</i> , 47. <i>sək</i> , 48. <i>bədñag</i> , 49. <i>səs</i> , 50. <i>səs</i> , 51. <i>otišəl</i> , 52. <i>venəc</i> , 53. <i>venəc</i> , 54. <i>tipəc</i> , 55. <i>kotəl</i> , 56. <i>venəc</i> , 57. <i>venəc</i> , 58. <i>venəc</i> . 59. <i>žuržovdən</i> , 60. <i>išəl</i> , 61. <i>edən</i> , 62. <i>ovən</i> , 63. <i>išəl</i> , 64. <i>ovən</i> , 65. <i>išəl</i> , 66. <i>išəl</i> , 67. <i>səs</i> , 68. <i>səz</i> , 69. <i>jedən</i> , 70. <i>kotəl</i> , 71. <i>dən</i> , 72. <i>səs</i> , 73. <i>səz</i> , 74. <i>otišəl</i>	1. <i>kat</i> ('когда'), 2. <i>kad</i> , 3. <i>kad</i> , 4. <i>kad</i> , 5. <i>dana</i> , 6. <i>kat</i> , 7. <i>ogañ</i> , 8. <i>ogañ</i> , 9. <i>kat</i> , 10. <i>kad</i> , 11. <i>mogal</i> , 12. <i>ručak</i> , 13. <i>ručak</i> , 14. <i>ručak</i> , 15. <i>kat</i> , 16. <i>ogañ</i> , 17. <i>kat</i> , 18. <i>ispekal</i> , 19. <i>kat</i> , 20. <i>ogañ</i> , 21. <i>kat</i> , 22. <i>ogañ</i> , 23. <i>ogañ</i> , 24. <i>sedam</i> , 25. <i>sedam</i> , 26. <i>kat</i> , 27. <i>dan</i> , 28. <i>kat</i> , 29. <i>kad</i> , 30. <i>kat</i> , 31. <i>kat</i> , 32. <i>slezal</i> , 33. <i>starac</i> , 34. <i>starac</i> , 35. <i>kat</i> , 36. <i>jedan</i> , 37. <i>išal</i> , 38. <i>starac</i> , 39. <i>ogañ</i> , 40. <i>kat</i> , 41. <i>kat</i> , 42. <i>kat</i>

Диалектное различие 4: синтетическое (флексивное) vs аналитическое маркирование косвенного объекта (IO), выраженного существительным

тимокская форма	инодиалектная (стандартноязыковая) форма
1. <i>tóg u mojé znánie i na mđ'ega</i> <i>tátu odněla voděnicu</i> 2. <i>na tuj sestru doveli zeta oni</i> 3. <i>ono se toj na tu ovcu dava</i> 4. <i>i na tuj ovcu se toj dade prvo i</i> <i>venəc</i>	В тексте отсутствуют синтетические формы косвенного объекта (IO), выраженного существительным

Диалектное различие 5: синтетическое (флексивное) vs аналитическое маркирование периферийных падежных отношений при имени существительном

тимокская форма	инодиалектная (стандартноязыковая) форма
1. <i>boluvala sam nešto u glavu</i> ; 2. <i>sə</i> <i>slamu</i> ; 3. <i>ot sviñu ostala samo</i> <i>glava</i> ; 4. <i>orala sam səs pluk</i> ; 5. <i>səs</i> <i>krave</i> ; 6. <i>na vašar se upoznamo</i> ;	1. <i>ne znam koje godine bila</i>

7. *on bil u vojsku*; 8. *i ka došo iz vojsku*; 9. *došo iz vojsku*; 10. *došəl kod mojega tatu*; 11. *i kod moju maćeħu*; 12. *došəl səs čiču*; 13. *səs čiču*; 14. *a ovdeka u naše selo*; 15. *mi devojčiči pokr babu*; 16. *i on dojde səz drugara*; 17. *i odande me doveli kod mladožeħu*; 18. *i mi se vratimo kod mojega tatu*; 19. *ta mešamo u ogñište*; 20. *kod mojega tatu*; 21. *idemo u planinu sə stoku*; 22. *mlogo stoku*; 23. *i posle čiča otide s ovce*; 24. *poviše ovce imal*; 25. *sutra moj tata će da bude na bačiju*; 26. *na bačiju će da bude prvi on*; 27. *sə stoku*; 28. *siri sir na bačiju*; 29. *pa sve səs dedu ide*; 30. *moje dete bilo pe-šes godine*; 31. *mlogo ovce*; 32. *sirište od jagnje*; 33. *od jagnje*; 34. *od jare*; 35. *səs sirište*; 36. *sve posipujemo səs ćipelu vodu*; 37. *səs grebenci*; 38. *səs ćipelu vodu*; 39. *pa posle na trlicu tremo*; 40. *posle mi na grebenci grebemo*; 41. *səs češalju češemo*; 42. *nosimo kod žubre*; 43. *i tako je bilo od grsnicu*; 44. *pa z blato eto*; 45. *i onaj šanac napune s kamen*; 46. *naprave blato səs slamu*; 47. *naprave od zemlju*; 48. *od zemlju naprave blato*; 49. *na svinću*; 50. *na klisku*; 51. *i tuj pokraj ogañ*; 52. *səs oresi*; 53. *səs oresi*; 54. *i u ıega prska*; 55. *izvijemo venci*; 56. *səs kovu vodu*; 57. *otišəl s ovce*; 58. *sam ja kod mojega tatu*; 59. *nema mečka*; 60. *kako je bil u vinograd*; 61. *pa slezal ko tu vodenicu*; 62. *do ıegovu kuću*; 63. *blizu planinu*; 64. *u dvanaez godine*; 65. *səz Bugari kat se ratuvalo*; 66. *moj tata rañen u toj bilo Prvi svetski rat*; 67. *idemo do Cerovicu*; 68. *səz toga z dedu*; 69. *səz toga starca pak*;

70. *i sǝz društvo ñegovo*; 71. *se izvukǝl iz Bugariti*; 72. *otišla kod crkvu*; 73. *čiča tuj u tu vojsku*; 74. *vojska tuj malo od potočkutu livada*; 75. *imala sam čiču u tu vojsku*; 76. *u koju si kuću ti*; 77. *bez majku*

Диалектное различие 6: наличие постпозитивного артикля (системы из трех артиклей) в ИГ vs отсутствие открытого маркера категории определенности

тимокская форма

1. *dojde do nas vodata do ovdeka*;
2. *opkoli štalutu, i mi šta čemo?*;
3. *tako je mojeta devojastvo bilo, dok sam bila devojka*; 4. *odotle se izvukǝl od Bugariti*; 5. *tuj malku ot potočkutu*; 6. *otišǝl predi vojskutu*

инодиалектная

(стандартноязыковая) форма

В тексте имеется 115 потенциально определяемых постпозитивным артиклем групп. Например: *I dójde kúrjak i pojéde sviñú. I újutru táj mój čiča ustál i kaže: “Odete da vídite čúdo!”*. “Kvó čúdo». “*Ot sviñú, – velí, – ostála sámó glava. Sámó glavá i grbníca, – velí, – ovák. Drúgo néma*». “*Moré, pa kudé je sviñá?*». *Sviñá* в данном нарративе – конкретно-референтное имя, отвечающее всем условиям для того, чтобы употребляться с определенным постпозитивным артиклем, однако этого не происходит.

Диалектное различие 7. Аналитическое маркирование косвенного объекта и посессора, выраженного личным местоимением.

тимокская форма

1. *se razlila i ovde dojde na nas*;
2. *dojde na nas vodata doovdeka*;
3. *toj na nas pričala baba jedna*;
4. *taj čiča Sokol podeli bel muž na svi u tanir*

инодиалектная

(стандартноязыковая) форма

1. *on dade mene paru*
2. *ja ħemu nešto*

Диалектное различие 8: аналитическое vs синтетическое (флексивное) маркирование периферийных падежных отношений при личном местоимении

тимокская форма	инодиалектная (стандартноязыковая) форма
1. <i>i posle šta će sās ŋu</i> ; 2. <i>mi pokraj ŋu</i> ; 3. <i>i mi se vež dogovorimo s ŋega</i> ; 4. <i>sās ŋega</i> ; 5. <i>sās ŋega</i> ; 6. <i>da pečemo leb u ŋu</i> ; 7. <i>sās ŋega</i> ; 8. <i>sās ŋi</i> ; 9. <i>s ŋu</i> ; 10. <i>i u ŋega cveće mlogo bilo</i> ; 11. <i>ono jare s mene</i> ; 12. <i>ono jare s mene</i> ; 13. <i>sās ŋi</i>	В тексте отсутствуют синтетические формы личных местоимений в генитиве, инструментале и локативе

Диалектное различие 9: синтетический компаратив vs аналитический компаратив прилагательных (а также гипертрофированное употребление частицы компаратива при именах существительных и глаголах)

тимокская форма	инодиалектная (стандартноязыковая) форма
1. <i>kat sam po odrasla</i> 2. <i>imala sam sestru pomladu</i>	В тексте не встречаются синтетические формы компаратива

Диалектное различие 10: редупликация прямого объекта (DO)

В тексте не встречается удвоения прямого объекта (DO); по данному параметру нарратив на 100 % стандартен.

Диалектное различие 11: редупликация косвенного объекта (IO)

В тексте не встречается удвоения косвенного объекта (IO); по данному параметру нарратив на 100 % стандартен.

Диалектное различие 12: опущение частицы конъюнктива (в традиционной грамматике – союза *da* ‘что, чтобы’) при модальных глаголах и формах футура vs наличие этой частицы (союза)

тимокская форма	инодиалектная (стандартноязыковая) форма
1. <i>pa će ni izdaje ovaj voda</i> ; 2. <i>čekaj sad ču pričam</i> ; 3. <i>čekaj sine sve ču vi ispričam</i> ; 4. <i>moi me nisu teli pomire</i> ; 5. <i>koj će se potsiri</i> ; 6. <i>če dojde mečka</i> ; 7. <i>ču ti kažem ko se kaže</i>	1. <i>ovde će da padne</i> ; 2. <i>pa ne mož da projdemo</i> ; 3. <i>sək čemo da pravimo premlas</i> ; 4. <i>sutra moj tata će da bude na bačiju</i> ; 5. <i>na bačiju će da bude prvi on</i> ; 6. <i>če d idemo</i> ; 7. <i>če da dojde mečka</i> ; 8. <i>tuj će mi da prenočimo</i> ; 9. <i>če da bežimo</i> ; 10. <i>ču da poznajem čiču ja</i> ; 11. <i>ču da iskočim</i> ; 12. <i>i on će da vidi da pogleda</i>

Заключение

Результаты количественного анализа диалектного текста, отражающего соотношения между тимокскими диалектными реализациями различительных признаков и их инодиалектными (часто – стандартноязыковыми) соответствиями можно представить в виде таблицы (показатели отдельных параметров округлены до целых чисел):

Различительный признак	Тимокская диалектная реализация, %	Инодиалектная (стандартноязыковая) реализация, %
1. Рефлексы *tj	94	6
2. Рефлексы *dj	60	4
3. Рефлексы *ь, *ъ	63	37
4. Аналитический vs синтетический косвенный объект (IO) и посессор (POSS), выраженные именем существительным	89	11
5. Аналитические vs синтетические способы выражения периферийных падежных значений при именах существительных	98	2
6. Постпозитивный артикль	5	95
7. Аналитический косвенный объект (IO) и посессор (POSS), выраженные местоимением	66	34
8. Аналитические способы выражения периферийных падежных значений при местоимениях	100	0
9. Аналитический компаратив	100	0
10. Редупликация прямого объекта (DO)	0	100
11. Редупликация косвенного объекта (IO)	0	100
12. Отсутствие vs наличие частицы конъюнктива (союза) da	40	60

Эти же результаты можно представить в виде радиальной диаграммы, выражающей языковой профиль носителя диалекта:



Материал демонстрирует зависимость результатов эксперимента от частотности конкретных лексем в речи информанта. Из 27 реализаций *ć* как рефлекса **tj*, **ktj* 6 приходится на словоформы глагола *оћу*-1.Sg ‘хотеть’, 13 – на маркер футура (*ћу*-1.Sg, *ће*-2-3.Sg/Pl), 5 – на лексему *ноћ* ‘ночь’ и ее дериваты, 3 – на лексему *таћеја* ‘мачеха’. Из 6 реализаций *ž* как рефлекса **dj* четыре приходится на лексему *прежа* ‘пряжа’.

Диалектная тимокская словоформа зачастую вступает в противопоставление с инодиалектной (стандартной) не по одному, но по целому ряду параметров. Так, форме *таћеја* ‘мачеха’ соответствует *таћеhu*-Acc.Sg не только с /*ć*/, но и с несвойственной тимокским говорам фонемой /*h*/; форме *došal*-Part соответствует *doša* с вокализацией финального -*l*, фонетическим переходом *a* > *o*, контракцией сочетания финальных гласных *ao* и ретракцией акцента на первый слог; форме *edān* ‘один’ соответствует *jedan*. Вторые формы очевидно прямо заимствованы из сербского литературного языка во всей совокупности своих признаков, отражая единичные и неизбежные для современной славянской диалектной речи стандартноязыковые включения, в том числе синтагматические (ср. *ne znam koje godine bila* ‘не знаю, в каком году она случилась’).

Противопоставление достаточно часто реализуется не на одном и том же лексическом материале (ср. *таћеја* ~ *таћеha*, *dān* ~ *dan* ‘день’, *će dojde mečka* ~ *će da dojde mečka* ‘придет медведь’), а на различных группах лек-

сем (ср. *viživali* ‘видали’ ~ *rožena* ‘рождена’; *ə* как преимущественный рефлекс первичных редуцированных, *a* как рефлекс вторичных, а также вне ударения, ср. *kotəl* ‘котел’, *motək* ‘парень’, *venəs* ‘венюк, венец’ ~ *rušak* ‘обед’, *starac* ‘старик, старец’). При более тонкой настройке метода в будущем мы планируем принять во внимание фактор лексикализации фонетических, грамматических и семантических явлений, в настоящей статье не принятый во внимание (см. *kat* ‘когда’). Простое исключение лексикализованных форм должно, однако, существенно негативным образом отразиться на абсолютном количестве подвергаемых анализу данных.

Противопоставление достаточно часто реализуется не на одной и той же словоформе лексемы, а в разных сегментах ее парадигмы. Таким образом, тимокский говор помимо прочего демонстрирует системные закономерности в сфере сохранения синтетических архаизмов, таких как (1) маркер футура *ši* в 1 л. ед.ч. на фоне обобщения формы *še* во всех других лицах и числах; (2) формы датива местоимений в ед.ч. *тепе*, *нети* на фоне аналитических форм мн.ч. *на нас*; (3) те же местоименные формы датива на фоне полного аналитизма имен существительных (*нети* ‘ему’ ~ *на мо’ега тату* ‘моему отцу’).

Материал отражает разную относительную частотность пар соотносительных членов разных диалектных различий (0% ~ 100%, 10% ~ 100%, 40% ~ 60%) и, следовательно, разную степень системности их реализации вне зависимости от языкового уровня. При этом, установив частотность и правила дистрибуции диалектных признаков в спонтанной речи, можно попытаться обнаружить внутрисистемные импликации между ними.

Наконец, в проведенном эксперименте мы исходим из внутренней когерентности речи информанта, в которой согласованно реализуются системные признаки идиомы села Берчиновац середины и конца XX в. и не наблюдается переключений между диалектным тимокским и стандартно-языковым кодом. Регулярность отражения собственно тимокских фонетических и морфологических характеристик в этой речи позволяет по аналогии предположить, что и на морфосинтаксическом и синтаксическом уровне такие признаки реализуются не менее регулярно. Так, именно по аналогии мы предполагаем закономерность обнаруженной нами дистрибуции и в тех сферах, где ее правила неочевидны, например в поведении конъюнктивной частицы (союза) *da*. Также по аналогии можно с большой долей уверенности утверждать, что местоименная редупликация прямого и косвенного объектов этой речи не свойственна, а следовательно, она не свойственна и идиому села Берчиновац в целом. Тем не менее нужно признать, что отрицательные утверждения «о том, чего в языке нет» являются наиболее трудными для доказательства в лингвистике, а отсутствие одного из возможных соотносительных вариантов синтаксического диалектного противопоставления в относительно небольшом нарративе в несколько десятков тысяч словоупотреблений не позволят сделать сильного утверждения об отсутствии этого варианта в системе говора вообще. Можно надеяться, что применение совокупности современных методов исследо-

вания к необходимо и достаточно большому объему материала, включая методы лингвогеографические, корпусные и анкетные психолингвистические, может дать желаемый результат.

Литература

1. Sobolev A.N. Sprachatlas Ostserbiens und Westbulgariens. Bd. 3: Texte. Marburg : Biblion Verlag, 1998. 328 s.
2. Ивић П. Српски дијалекти и њихова класификација // Павле Ивић. Целокупна дела. X/2**. Расправе, студије, чланци. 2. О дијалектологији. Приредио Слободан Реметић. Нови Сад, Сремски Карловци : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2018. С. 119–255.
3. Видоески Б. Дијалектите на македонскиот јазик. Скопје: МАНУ, 1999. Т. 2. 250 с.
4. Соболев А.Н. Категория падежа на периферии балканославянского ареала // Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. Knj. XXXIV/1. Novi Sad, 1991. С. 93–139.
5. Вуковић Т., Самарџић Т. Просторна расподела фреквенције постпозитивног члана у тимочком говору // Ћирковић Светлана (Ур.). Тимок. Теренска истраживања 2015–2017. Књажевац : Народна библиотека, 2018. С. 181–200.
6. Ивић П. Српски дијалекти и њихова класификација (Приредио Слободан Реметић). Нови Сад; Сремски Карловци : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009. 221 с.
7. Белић А. Дијалекти источне и јужне Србије. Београд : САНУ, 1905. 715 с.
8. Ивић П. Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје. Нови Сад : Матица српска, 1956. 214 с.
9. Соболев А.Н. О пиротском говору у светлости најновијих истраживања // Пиротски зборник. Пирот, 1995. Књ. 21. С. 195–211.
10. Sobolev A.N. Sprachatlas Ostserbiens und Westbulgariens. Bd. 1: Problemstellung, Materialien und Kommentare, Kartenanalyse. Marburg : Biblion Verlag, 1998. 420 s.
11. Русская диалектология / ред. Р.И. Аванесов, В.Г. Орлова. М. : Наука, 1964. 303 с.
12. Мирић М. Употреба/изостављање субјунктивног маркера да у конструкцији футау првог у тимочким говорима // Ћирковић Светлана (Ур.). Тимок. Теренска истраживања 2015–2017. Књажевац : Народна библиотека, 2018. С. 201–218.
13. Simon W. (Hrsg.). Persönlichkeitsmodelle und Persönlichkeitstests. Offenbach : Gal, 2006. 423 S.
14. Цыхун Г.А. Типологические проблемы балканославянского ареала. Минск : Наука и техника, 1981. 230 с.
15. Станојевић М. Северно-тимочки дијалекат // Српски дијалектолошки зборник. Београд, 1911. Књ. 2. С. 360–463.

Linguistic/Dialectal Profiling of Dialect Speakers: The Method Presented on the Idiolect from Berčinovac, Eastern Serbia

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2019. 58. 17–33. DOI: 10.17223/19986645/58/2

Daria V. Konior, Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: dsuetina@yandex.ru

Anastasia L. Makarova, University of Zurich (Zurich, Switzerland). E-mail: abeatina@rambler.ru / anastasia.makarova@uzh.ch

Andrey N. Sobolev, Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg, Russian Federation), Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation), Philipps University of Marburg (Marburg, Germany). E-mail: sobolev@staff.uni-marburg.de

Keywords: statistical methods in linguistics, dialectology, linguistic profiling, dialect speakers, Balkan Slavic languages, Serbian dialects, Timok dialect, idiolect of dialect speaker, village of Berčinovac, Eastern Serbia.

The aim of the undertaken research is to develop a statistical method that allows to estimate frequency and regularity for the distribution of distinctive dialect features in the spontaneous speech of speakers of non-standardized idioms, and thus to discover intrasystem implications between different dialect features creating linguistic profiles of dialect speakers. At a later stage of research, the achievement of this aim would mean obtaining a quantitative tool for assessing intrasystem coherence and degree of dialect preservation for any Slavic or Balkan dialect.

The object of study is Draginja Mikić's (b. 1906) idiolect. The narrative she produced was recorded in the village of Berčinovac, situated near Knjaževac in the Zaječar county (Eastern Serbia). This narrative of approximately 5,300 word tokens was published by A. Sobolev in the third volume of his work called *Sprachatlas Ostserbiens und Westbulgariens* [Dialectological Atlas of Eastern Serbia and Western Bulgaria]. The analyzed data were extracted from the dialect text using the continuous sampling method, and subsequently subjected to etymological, formal and functional semantic analysis. The comparison procedure itself consisted in counting the number of uses of the "correct" (i.e. corresponding to the conventional dialectal reference point) options for dialectal difference implementation. As a result, the authors could determine as a percentage how close this idiom is to the ideal model of Timok dialect, how "dialectal" it is in general, and how much different it is from the other Serbian dialects and from the standard language.

In order to obtain statistically relevant results based on a sufficient amount of text, the authors selected twelve most significant dialectal features, which allowed them to oppose all the dialects of the studied region of Eastern Serbia with the Neo-Štokavian dialects underlying the standard language.

Dependence of the experiment results on the frequency of certain lexemes used in the informant's speech can be observed. A dialect Timok word form often comes into opposition with a non-dialect (standard), according to not just one, but to a number of parameters. Thus, the form *mačēja* 'stepmother' corresponds to *mačehu*-Acc.Sg not only with /č/, but also with the phoneme /h/, which is not typical of the Timok dialects. Such an opposition is quite often implemented not in the same lexical material (cf. *mačēja* ~ *mačeha*, *dən* ~ *dan* 'day'), but in different groups of tokens (cf. *vižuvali* '(they)saw' ~ *rožena* '(she was) born'); and not in the same word form of the lexeme, but in different segments of its paradigm (the dative forms of pronouns in sg. *mene*, *ñemu* against the background of analytical forms pl. *na nas*). The data reflect different relative frequency of correlative members pairs of different dialectal features and, therefore, a different degree of regularity of their implementation, regardless of the language level. The authors hope that applying various modern research methods to a sufficiently large amount of material, including linguogeographic, corpus and psycholinguistic methods, can provide them with the desired result (including in the cases of negative statements concerning features that do not exist in a dialect).

References

1. Sobolev, A.N. (1998) *Sprachatlas Ostserbiens und Westbulgariens*. Bd. 3. Marburg: Biblion Verlag.
2. Ivić, P. (2018) Srpski dijalekti i njihova klasifikacija [Serbian dialects and their classification]. In: Remetić, S. (ed.) *Celokupna dela. X/2***. *Rasprave, studije, članci* [Complete works. X/2 **. Discussions, studies, articles]. Vol. 2. Novi Sad, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
3. Vidoeski, B. (1999) *Dijalektite na makedonskiot jazik* [Dialects of the Macedonian language]. Vol. 2. Skopje: MANU.

4. Sobolev, A.N. (1991) Kategorija padezha na periferii balkanoslavyanskogo areala [The category of case at the periphery of the Balkan-Slavonic area]. In: *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku*. Book XXXIV/1. Novi Sad. pp. 93–139.
5. Vuković, T. & Samardžić, T. (2018) Prostorna raspodela frekvencije postpozitivnog člana u timočkom govoru [Spatial distribution of frequency of a post-positive member in Timok dialect]. In: Ćirković, S. (ed.). *Timok. Terenska istraživanja 2015–2017* [Timok. Field research 2015–2017]. Knjaževac: Narodna biblioteka.
6. Ivić, P. (2009) *Srpski dijalekti i njihova klasifikacija* [Serbian dialects and their classification]. Novi Sad; Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
7. Belić, A. (1905) *Dijalekti istočne i južne Srbije* [Dialects of Eastern and Southern Serbia]. Beograd: SANU.
8. Ivić, P. (1956) *Dijalektologija srpskohrvatskog jezika. Uvod i štokavsko narečje* [Dialectology of the Serbo-Croatian language. Introduction and Stokavian dialect]. Novi Sad: Matica srpska.
9. Sobolev, A.N. (1995) O pirotskom govoru u svetlosti najnovijih istraživanja [About Pirot dialect in the light of the latest research]. *Pirotski zbornik*. 21. pp. 195–211.
10. Sobolev, A.N. (1998) *Sprachatlas Ostserbiens und Westbulgariens*. Bd. 1. Marburg: Biblion Verlag.
11. Avanesov, R.I. & Orlova, V.G. (eds) (1964) *Russkaya dialektologiya* [Russian dialectology]. Moscow: Nauka.
12. Mirić, M. (2018) Upotreba/izostavljanje subjunktivnog markera da u konstrukciji futura prvog u timočkim govorima [Use / omission of subjunctive markers in the construction of the first futures in Timok dialect]. In: Ćirković, S. (ed.). *Timok. Terenska istraživanja 2015–2017* [Timok. Field research 2015–2017]. Knjaževac: Narodna biblioteka.
13. Simon, W. (2006) (Hrsg.). *Persönlichkeitsmodelle und Persönlichkeitstests*. Offenbach: Gabal.
14. Tsykhun, G.A. (1981) *Tipologicheskie problemy balkanoslavyanskogo areala* [Typological problems of the Balkan-Slavonic area]. Minsk: Nauka i tekhnika.
15. Stanojević, M. (1911) Severno-timočki dijalekat [North Timok Dialect]. In: *Srpski dijalektološki zbornik* [Serbian Dialectological Collection]. Book 2. Beograd: [s.n.].

УДК 398.2(571.6)

DOI: 10.17223/19986645/58/3

Т.В. Краюшкина

**ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
ДАЛЬНОГО ВОСТОКА РОССИИ ОБ ИНОПЛЕМЕННОМ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗАИЧЕСКИХ ЖАНРОВ
УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА)**

Исследуются представления восточнославянских этносов об иноплеменниках. Материалом для анализа послужил прозаический фольклорный фонд Дальнего Востока России, записанный в последнюю треть XIX – последнюю треть XX в. Сделаны выводы о реализуемых в сказочной и несказочной прозе основных (именование персонажей по этнонимам, модель их поведения) и второстепенных (иные виды наименований, возрастные категории, внешность, особые умения) компонентах комплекса представлений об иноплеменниках.

Ключевые слова: человек, иноплеменник, персонаж, имагология, представления, восточные славяне, Дальний Восток России, прозаические жанры фольклора, сказочная проза, несказочная проза.

Воззрения о человеке и окружающем его мире задают вектор координат в комплексе традиционных представлений. Дуальность – основополагающий принцип восприятия, характерный для традиционной культуры в целом. Именно на ней основано и восприятие человека человеком: *свои* и *чужие* – те основные характеристики, по которым люди в первую очередь оценивались в древности и продолжают оцениваться в настоящее время. Эти характеристики значимы не только для идентификации других людей, но и для самоидентификации, причем второе представляется более значимым, чем первое: вектор восприятия окружающего мира в культуре направлен на самого человека, воспринимающего мир (через других людей как компонент окружающего мира, с помощью которого человек познает самого себя).

Безусловно, полем многогранного воплощения представлений является устное народное творчество. Возникая, трансформируясь или исчезая, фольклорные жанры и их частные многочисленные реализации активно транслируют представления. Преломляясь под воздействием поэтики того или иного жанра и, может быть, отчасти преломляя и саму поэтику (хотя не столь активно), до наших дней дошли стереотипные представления *о чужих*. Особую группу составляют персонажи, именованные в фольклорном фонде по этнонимам. Следует сразу оговориться: этих персонажей значительно меньше, чем тех, что обозначены как *чужие, другие, враги* и пр. Это указывает на меньшую значимость для традиционного восприятия противопоставления по национальному признаку, чем обозначенных выше категорий.

Представления об иноплеменниках тем или иным образом затрагивались в работах исследователей культуры, фольклористов, лингвистов, литературоведов. Например, представлениям об этнических соседях посвящены работы О.В. Беловой и А.А. Плотниковой. Так, О.В. Белова отмечает, что инородцам приписывается связь и родство с нечистой силой, способность колдовать и портить людей, отсутствие души, плохой запах и наличие хвоста [1]. По мнению А.А. Плотниковой, анализирующей представления славян о встрече, встреча с чужаками приносит счастье [2]. О.В. Белова описывает существующую в традиционном восприятии градацию инородцев по шкале *более или менее чуждой* [3. С. 71].

Р.А. Агеева считает фольклор одним из компонентов особой сферы употребления названий народов [4. С. 232]. Этнонимы, как подчеркивает Г.М. Василевич, являются «главными свидетелями исторических фактов, которые легли в основу тех или иных произведений» [5. С. 25]. Эта же исследовательница обращает внимание на способность фольклора достоверно транслировать явления окружающей действительности: «В сказаниях, преданиях и частично мифах и сказках встречаются названия этнических групп, родов, собственные имена... Одни из них находят аналогии в исторических источниках, другие совпадают с ныне существующими названиями, часто ставшими фамилиями и собственными именами, третьи встречаются в исторических источниках соседних народов, с которыми когда-то имелись контакты» [Там же]. О важности фольклора как полноценного источника знаний о других этносах пишут М.А. Пирогова и Ю.А. Кравцова: в «качестве источников, подтверждающих существование стереотипов в отношении этнонимов» они выделяют фольклор (наряду с художественной литературой) «как наиболее надежный источник сведений о национальном характере» [6. С. 46].

Ценность контекстов при изучении представлений об этносах (на примере этнонимов *русин* и *русинский*) отмечают З.И. Резанова и К.С. Шилиев: «Мы не изучаем то, как эти этнонимы даны в актуальном сознании носителей русского языка, мы анализируем контексты, в которых они были актуализованы, и те смыслы, которые были важны в данных контекстных актуализациях» [7. С. 241]. Значимыми для лингвистического анализа, выполненного на материале Национального корпуса русского языка, исследователи называют следующие параметры: «1) характер распространения этнонима, его актуализаций в текстах разных типов и жанров может рассматриваться как показатель интереса (или отсутствия такового) в обществе к именуемому лексемой этносу...; 2) выявление варьирования дискурсивной и жанровой актуализации этнонима позволяет судить о составе сфер деятельности, связанной с актуализацией смыслов, вводимых анализируемыми этнонимами...; 3) анализ исторических изменений в функционировании этнонима в речи позволит выявить наличие корреляций интереса к данному этносу в обществе на разных этапах его исторического развития» [Там же. С. 242].

Этнониму *ляхи* посвящена статья Е.А. Поповой и С. Аль-Хамдани. По их мнению, «русское языковое сознание воспринимает *ляхов* несколько

односторонне и более негативно, чем какой-либо другой этнос, несмотря на то, что ляхи, как и русские, относятся к славянам» [8. С. 52].

Новизна проведенного нами исследования заключается в том, что впервые на материале прозаического фольклорного фонда восточных славян Дальнего Востока России описан комплекс представлений об иноплеменниках, реализованный в образах иноплеменников, вычленены его основные и второстепенные компоненты. Результаты статьи, написанной в рамках фольклористики, актуальны для гуманитарной сферы (образной системы собственно фольклористики; этнофольклористики, изучающей фольклорный материал как этнографический источник, в конкретном случае – как источник о других этносах; этнопсихологии в сфере этнической идентичности; имагологии). При этом материалы и результаты статьи могут иметь и практическое значение в сфере межэтнических коммуникаций, например в повседневной жизни.

Цель данной статьи – выявление комплекса представлений восточнославянских этносов об иноплеменниках в прозаическом фольклорном фонде Дальнего Востока. Следует оговориться, что вопрос разграничения традиции и инновации в культуре неоднозначен. Не ставя задачу выявить степень трансформации инновации в традицию, будем говорить о представлениях восточных славян об иноплеменниках в целом, подразумевая под ними и традиционные, и порожденные советской действительностью.

Материалом для исследования послужила сказочная (а именно волшебные и бытовые сказки) и несказочная проза (легенды, предания, байки) восточнославянских этносов Дальнего Востока, записанная примерно за сто лет (последняя треть XIX – последняя треть XX в.). Поскольку в личных архивах автора нет записей текстов исследуемых жанров с упоминанием иноплеменников, мы обратились к опубликованным источникам, признанным в профессиональной среде, в том числе и к изданиям «Памятников фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Сборник фольклорных текстов, в заглавии которого обозначен лишь сибирский регион, по факту содержит и произведения устного народного творчества, зафиксированные на территории Дальнего Востока (именно этим и объясняется использование нами сборника сатирического фольклора Сибири, к которому мы обращаемся в своей статье). За рамками исследования оказались легендарные сказки: активно представленные в общерусском фольклорном фонде тексты обозначенных жанров с персонажами-иноплеменниками, в региональном фонде обнаружены не были; персонажи-иноплеменники для сказок о животных не характерны.

Дальний Восток как регион позднего освоения не отличается таким богатым фольклорным материалом, как, например, Сибирь, Русский Север или Поволжье, однако и на дальневосточной земле зафиксированы интересные образцы устного народного творчества, которые позволяют судить о существовании у русских, украинцев и белорусов целостной системы представлений об иноплеменниках. В статье не ставится цель сравнительного анализа систем представлений об иноплеменниках трех восточносла-

вянских народов. Основным материалом выступает русский фольклор, поскольку украинские и белорусские фольклорные фонды Дальнего Востока представлены меньшим количеством зафиксированных образцов.

Прежде чем обратиться непосредственно к анализу образов иноплеменников в текстах сказочной и несказочной прозы, дадим общую характеристику иноплеменников в фольклорном фонде восточных славян Дальнего Востока в целом. Итак, представители каких же национальностей встречаются в произведениях устного народного творчества русских, украинцев и белорусов Дальнего Востока? Перечень их значителен. Это представители европейских народов (*французы, шведы, португальцы, немцы, пруссы, словаки, чехи, поляки, греки, литовцы*), восточнославянских этносов (*хохлы, кацаны*), коренных народов Сибири и Дальнего Востока России (*юкагиры, чукчи, якуты*), тюркских этносов (*татары, крымские татары, турки, киргизы*), монгольского этноса (*калмыки*), народов Восточной Азии (*японцы, китайцы*), а также цыгане и евреи. В устном народном творчестве Дальнего Востока имеет место и реализация словотворчества в области народной этнонимии. Именно так можно охарактеризовать возникновение наименования по этнониму *турки-чукчи*.

Встречаются и наименования, прямо не указывающие, но подразумевающие иную национальность. Среди них представители тех или иных социальных групп, а также личные имена и отыменные формы (*самураи, хунгузы, интервенты, дальневосточные охотники, хан, Мамай, Гитлер, янки, фрицы*). Любопытно, что именованья персонажей по этнонимам, указывающие на пренебрежительное отношение к представителям другой нации, встречаются крайне редко (*япошки*). Немного чаще используется название персонажей по этнонимам (или словосочетания с ними), в которых очевидно негативное, но уже другой эмоциональной окрашенности, отношение к народам. Обозначенные тексты возникли как реакция на военные действия, где представители других наций выступают в роли захватчиков родной земли восточнославянских этносов (сюда относятся периоды татаро-монгольского ига, белогвардейской интервенции на Дальнем Востоке России и Великой Отечественной войны): *татарва, киргизьяка, своры японских друзей и фашистское зверье*.

Показательно, что ласкательные именованья персонажей по этнонимам в восточнославянском фольклорном фонде используются применительно к персонажам женского рода (*цыганочка, жидовочка, татарочка*), хотя встречаются и нейтральные названия женских персонажей по этнонимам (*цыганка, литовская девушка*). Стабильной чертой восточнославянского образного фонда является количественное преобладание взрослых персонажей над персонажами-детьми. Не стала исключением и группа персонажей, именуемых по этнонимам. В проанализированных текстах нами были обнаружены упоминания о детях – представителях лишь одной нации (*цыганята и цыганенок*).

Изредка в текстах Дальневосточного региона персонажи характеризуются посредством принадлежности государству, земле, нации (например,

польская земля, греческая земля, шведская земля, земля немцов-каливерцо(в), на Украине бабы, германский плен, немец прусский, шведской король). О существовании представителей других национальностей упоминается опосредованно и через предметы, которые произведены на их земле или имеют к ней отношение. Нашли отражение в фольклоре восточных славян Дальнего Востока и такие распространенные в общерусском фонде штампы, как *черкасское (черкальское седло / седельце черкатское), копьё бурзуменское / борзомецкое копьё, камахинский шелк, аравинское чистое красное золото, земля греческая* (здесь подразумевается именно субстанция, а не территория).

Обратимся к непосредственному анализу текстов сказочной и несказочной прозы русских, украинцев и белорусов Дальнего Востока. Следует оговориться, что формирование поэтики прозаических жанров фольклора – процесс сложный: он складывался под воздействием не только мифологических представлений и активно вторгающейся реальности, на него влияли произведения словесного искусства, нашедшие реализацию в том числе и в лубочной литературе, очевидно и взаимодействие поэтик тех или иных фольклорных жанров между собой.

Следует заострить внимание на сложном взаимодействии народной и лубочной сказок. К.Е. Корепова пишет о лубочной сказке как *о жанре, возникшем* «во второй половине XVIII века на стыке традиций фольклора и низовой демократической литературы» [9. С. 147]. О двух формах бытования сказки говорит Н.С. Коровина: «Начиная со второй половины XVIII в. народная сказка начинает бытовать в двух формах: устной (фольклорные тексты) и письменной (лубочные произведения). Устная и книжная традиция сосуществовали и оказывали друг на друга постоянное воздействие. Лубок черпал из фольклора сюжеты, отдельные мотивы и образы. Пройдя авторскую обработку в лубке, сказка вновь возвращалась в устную традицию» [10. С. 274]. Влияние литературы на народную сказку стало объектом изучения Т.В. Зуевой и Б.П. Кирдана: «С конца XVI и на протяжении XVII–XVIII вв. в Россию из Западной Европы стали притекать повести, притчи, сказания, рыцарские романы. Их сборники или отдельные тексты переписывались грамотными людьми... все более меняясь на новый лад и приобретая черты устных сказок. <...> Лубок и народная книга обогатили все жанры устной сказки» [11. С. 139–140].

Образная система сказочной прозы также формировалась под воздействием перечисленных выше факторов. Именно из лубочной литературы в народную сказку проникают и персонажи-иноплеменники (арабы, французы, англичане и пр.). К.Е. Корепова говорит о таких персонажах, пришедших из лубочных сказок, как *царь Колхидский, царь Египетский, король Еракский, принцы, принцессы* [9. С. 148, 153]; А.С. Лызлова упоминает *Идана, восточного царевича* [12. С. 99]. В эту группу персонажей вписывается *португальский король*.

Обиженный тем, что приглашенные гости вместо того, чтобы праздновать его свадьбу, хвастают собственными достижениями, герой уходит и

оставляет свою жену с гостями. Показательно, что активность проявляет не иноплеменник, а новоиспеченная супруга: *Это Подсолнешна Красота и заметила на швадьбе: и сильно один король крашивой, по имени к нему португальской король. Ну, и этим временем поимели дело с этим королем* [13. С. 88] (**300**, *Победитель змея*, **318** *Неверная жена* и **532** *Незнайка*). Ночью, когда герой засыпает, Подсолнешна Красота сбегает с португальским королем (он и в этой ситуации пассивен, инициатива исходит от нее). Иноплеменник, обнаруженный героем, обращается к нему со словами: *И прошу вас не оскорбиться и захотела твоя жена Португалию посмотреть* [Там же. С. 90]. Но герой предаст смерти португальского короля. Любопытна оценка этого персонажа: русский народ не восхищается его красотой (для русских сказок характерно воспевание внешности молодой девушки или молодой жены), в его привлекательной внешности русские видят причину бегства с ним новобрачной. Однозначно осуждаются его манера поведения, принятие на себя вины за произошедшее; в этом, видимо, кроется признание иноплеменником женской власти, что в корне противоречит одному из основополагающих представлений русского народа, транслированных в сказках, о безусловном приоритете мужской власти.

В фольклорном фонде встречается такое явление, как заимствование сюжетов одного жанра другим. Например, ряд былинных сюжетов гармонично вошел в сказочный фонд, был им усвоен и трансформирован под собственные требования. Богатырская сказка «Повесть про Илью Муромца» изображает татар, *которые напали на русские земли, разорjali князей* [14. С. 286] (**650С*** *Илья Муромец*). Богатыри Алеша Попович и Никола сообщают Илье о татарском богатыре, чей образ гиперболизирован: *<...> за нами едет татарин-богатырь: голова с пивной котел, ростом девяти аршин* [Там же]. Далее происходит бой: *И когда они сражались, Никола победить татарина не мог, – татарин победил Ни-колу. Выезжает дальше Илья Муромец, принимает бой. В бою Илья Муромец его побеждает* [Там же]. Еще в 1962 г. А.М. Астахова писала: «Содержанием героического цикла былины об Илье Муромце является... изображение подвигов русского богатыря в защиту родной земли... от иноземных захватчиков...» [15. С. 19]. Образ этого иноплеменника находится в рамках обозначенной парадигмы: для его образа значима не только устрашающая внешность, но и поведенческая модель (захватчик Русской земли), и соотношение физической силы и слабости (он сильнее младших богатырей, но слабее Ильи). Так в представлениях об иноплеменниках-захватчиках стабильно транслируется мысль о непременной победе над ними русского народа.

В роли второстепенных персонажей в волшебной сказке на сюжет **563** *Чудесные дары* выступают цыгане. Информация о цыганах минимальна, но при этом находится в рамках традиционного представления об этом народе, например их жизнь табором и торговля животными как один из видов заработка: *А рядом стояли цыгане, и у них был осел. Купил хозяин у цыган осла...* [16. С. 565].

Довольно часто встречаются образы цыган и в бытовых сказках восточных славян Дальневосточного региона. Цыганам в традиционном представлении приписывается ряд негативных черт, среди них – воровство и склонность ко лжи, но показательно, что в сказочных текстах эти черты не осуждаются, напротив, предаются осмеянию те, кто из-за своей наивности пострадал от ловкости цыган, как, например, барин в сказке на сюжет **1528 Сокол (соловей) под шляпой**. Барин обращается к цыганенку:

– *Слушай... цыганенок, ты сбреши что-нибудь мне. Цыгане брежут хорошо.*

А тот цыганенок:

– *Я еще малой, я еще не умею брехать. Батько у меня хорошо брешет* [17. С. 200]. Барин просит цыганенка позвать его батьку, цыганенок спрашивает двух лошадей, чтобы ему и его отцу не идти пешком. Таким образом богатч получает желаемое (узнает, как брежут цыгане), но при этом лишается коней.

Модель поведения цыган даже позиционируется как пример, но показательно, что именно сам цыган и преподносит ее русскому мужику в качестве образца, достойного подражания. Цыган учит мужика, что именно нужно сделать для того, чтобы разбогатеть. *Не журишь, бачка, а послушай моего совета. Мы, цыгане, всю жизнь обманом живем – и не умираем, тебе тоже пора на хитрость пуститься, честно при царе да при барине не проживешь* [16. С. 65] (**1538 Мужик мстит барину (попу)**).

Известна на Дальнем Востоке сказка на сюжет **1060 Кто раздавит камень (выжмет из жернова воду)**. В ней предстает еще один образ цыгана, изображенный в том же самом ключе, как и описанные выше цыгане. Он смел, но при этом его смелость основывается не на отваге, как у русского, а на хитрости. Благодаря хитрости он трижды обманывает Змея, угрожающего его съесть, тем самым спасая не только свою жизнь, но и жизнь русских персонажей (старика и старухи или только старика). Впечатленный якобы имеющейся у цыгана огромной физической силой (тот все время делает вид, что заданные Змеем задачи – убить голыми руками быка, принести воды в шкуре убитого быка или наломать голыми руками дров в лесу – для него пустяк), Змей после выполняет два задания цыгана и вновь оказывается побежденным. Цыган и Змей садятся завтракать, но цыган не ест. *Удивился Змей, спрашивает: «А ты почему не ешь?» А цыган глазами блеснул, усмехнулся криво и говорит: «Боюсь, что если разъемся, то и тебя съем!»* [Там же. С. 50]. Змей в страхе убегает. В финале сказки описываются другие стереотипные черты цыган. Казалось бы, вся ловкость и хитрость цыгана существуют лишь для того, чтобы была возможность реализовать вот эти, в общем-то, положительные черты нации: *А цыган послал деда в лес за людьми, тот привел их, и вот тут-то цыган стал коней мять, и в кузне ковать, и на красных девушек поглядывать* [Там же].

Не обойденным вниманием в дальневосточном фольклоре оказалось и излюбленное занятие цыганок – гадание. Оно стало мотивом в сказке на сюжет **1384 Муж ищет глупее жены (родителей)**, где дочь-девчурка идет

к колодцу и встречает цыганку, которая зовет ее: *«Подойди ко мне, молодая, красивая, позолоти ручку, я тебе одно слова скажу»*. Позолотила та ей ручку, а она и говорит: *«Ой... твоя доля несчастная!»* [Там же. С. 61–62].

В сказке на сюжет **1675 Ученый бычок (осел)** высмеивается глупый хохол, который, стоя на службе в церкви, впечатлился гневным криком священника, назвавшего толкавшихся людей *скотами необразованными*, и решил *образовать своего быка, который тоже скотина...* [18. С. 100]. Вскользь высмеивается и супруга хохла (которая, кстати, будто и лишена национальности, она именуется в сказке только по семейному статусу – *жинкой*): жена соглашается с мужем отдать бычка на обучение. Хохол и его жена едут в город и просят урядника помочь им. *Урядник согласился образовать быка, чтобы через год он стал уездным начальником... За все свои труды урядник взял только сто рублей* [Там же]. Через год, когда хохол вновь появляется в городе, урядник обманывает его, сказав, будто его бычок уже выучился и работает уездным начальником. Мужик *«заходит в дом к уездному начальнику и видит: сидит уездный начальник за столом и что-то пишет. «Здравствуй, будуня!» Уездный начальник выпучил глаза, ничего не понимая. <...>. Потом он соскочил со стула и давай ругаться и бить кулаком по столу за такое обращение с ним. Хохол обиделся и говорит: «Я ж тебя, будуня, в люди вывел, а ты на своего хозяина-то ишо рунаешься»* [Там же. С. 100–101].

В жанрах сказочной прозы восточных славян Дальнего Востока – легендах, преданиях, байках – также было выявлено упоминание о представителях других национальностей. Именно в ключе фантастического осмысления действительности, характерного для легенд, представлен образ украинца в одном из текстов, записанных в Приморском крае. *Старик-хохол из Полтавской губернии*, у которого гостили персонажи, берет одного из них на охоту. Старик изображен гостеприимным и ласковым с приезжими (судя по его обращению *сынок* к одному из гостей), ему приписывается способность очаровывать зверей. В лесу старик очерчивает на земле среди дороги круг, ставит в него героя повествования и начинает свистеть. На его свист собираются крысы, бурундуки, змеи, зайцы. Герой очень боится происходящего, хочет бежать. Украинiec успокаивает его: *Нет, сынок, стой ни с места, а то худо будет* [19. С. 70]. Старик наказывает припозднившуюся змею. В легенде одной из черт украинца представлено бережное отношение к зверям: он для пропитания застреливает лишь одного зайца.

События другой легенды происходят на территории Украины. Любопытно, что в традиционной культуре деление на женскую и мужскую работу было стабильным. В тексте же делается акцент на том, что ткачество, считавшееся у русских женским занятием, у украинцев – занятие сугубо мужское: *На Украине бабы не ткут холст, а ткет мужчина. Один на все село. Вот к одному крестьянину приходит старик и говорит: «Я ткач, давай работу»* [Там же]. За непродолжительное время ткач-украинец выполняет огромное количество работы, чем и удивляет героя. Необходимо

отметить, что прядение и ткачество и выполнение огромного объема работы за короткий срок – черты, приписываемые в фольклоре европейских народов представителям нечистой силы.

Более популярен образ иноплеменника в преданиях. Как одна из форм межэтнических контактов изображен брак. В предании говорится о бедном русском парне, воевавшем *в германскую войну в Литве. Понравилась ему литовская девушка из богатой семьи. <...>. Она его тоже полюбила, но не решалась выйти за него замуж и ехать в такую даль на его родину* [16. С. 78]. Различие в национальностях не является препятствием для семьи девушки, но для девушки таковым может быть дальнейшее расстояние между местами проживания, а для ее родителей – бедность потенциального жениха. И тогда герой идет на хитрость, рассказывая литовцу (который в тексте именуется исключительно *отцом*) о том, что у его отца есть три лавки, после чего литовец отдает дочь замуж. Но лавки оказываются не торговыми, а предметами мебели. Реакция молодой жены описывается так: *Засмеялась и заплакала молодница, да так и осталась жить в Лобановке. Была она большая мастерица лечить людей травами, хорошая хозяйка...* [Там же].

В другом предании Дерсу Узала (гольд, проводник известного путешественника и писателя В.К. Арсеньева, чей образ запечатлен на страницах романов «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала») представлен как владелец тайной плантации женьшеня. В этом тексте упоминается о передаче тайного знания, которое необходимо скрывать от других людей: *О корне Дерсу Узала узнал еще в молодости. Искать женьшень научили его китайцы, когда он был у них некоторое время проводником* [19. С. 62].

Совсем иначе изображаются иноплеменники, если в преданиях они выполняют функцию врагов, участников военных столкновений. Способность *пробирается* приписывается хунхузам (*Было это в 1924 г., когда по сопкам пробирались то хунхузы, то ширяевцы* [16. С. 77]). В другом предании функция врага нивелирует национальную принадлежность, оказываясь более значимой: *Не помню, рассказывали, белые или японцы были* [Там же].

Распространены на Дальнем Востоке предания, повествующие о представителе красного партизанского движения на Дальнем Востоке Сергее Лазо (1894–1920), которого, как считается, интервенты сожгли в топке паровоза. Являясь средством пропаганды идеологии Советского государства, эти произведения карикатурно рисуют японцев, активно задействованы отрицательные характеристики японцев. Они издают *дикий звон и визг, захватывают пленника не в честном славном бою, а предательски, с лисьей хитростью*, их глава именуется *распроклятым Ой-о-ем* [20. С. 29]. При этом они трусливы. Лазо, изображенный гиперболизированно, вызывает у них страх (*Японцев страх берет от того, что Лазо молодой, сильный да веселый такой, улыбчивый, с глазами его боятся встретиться, прячут свои в маслянистые веки, в землю опускают* [Там же. С. 31]). Японцы решают сжечь Лазо в топке паровоза, но герою, обладателю *могучих кулаков*, удается бежать: *Белобандит не успел глазом моргнуть, как слетел на путь головой об рельсу, а за ним и три японца с офицериком в том числе* [Там же].

Японцы – враги, которых необходимо уничтожить. Именно такой приказ получают представители коренных народов Дальнего Востока, именуемые в другом предании дальневосточными охотниками. Командир приказывает им, служащим пограничниками, *доблестно защищать Родину*:

– *И так по белым гадам и самураям нужно стрелять, чтобы попасть прямо в глаз.*

А ему вопрос:

– *<...> в какой – в правый или в левый глаз?*

<...>

– *Бейте в переносицу...*

Когда кончилось сражение, на поле битвы, на склонах сопки самураи оставили своих убитых. Посмотрели пограничники, действительно большinstву самураев тут попали прямо в переносицу [20. С. 36].

Не стали исключением в изображении иноплеменников и жанры народного юмора, например байки. Показательно, что ситуации, в других жанрах описываемые как трагические, в подобных произведениях предстают в комическом виде. Так, рисуется, как украинцы, сделав *деревянную пушку, немного кривую, пошли воевать татарву* [16. С. 87]. Гиперболизированно начинается подсчет врагов, при этом заканчивается он литотой: *Приехали. А татарвы! А татарвы! Чи дванадцать, чи трынадцать* [Там же]. Но далее повествуется о поведении, не свойственном храбрым воинам: украинцы первым делом начинают варить обед, а один из них отправляется собирать цветы для жены. За этим занятием вояку и застает враг: *Вот вин квиточки собирае, а за ним киргизяка с кривою саблюкою. Вин тода бачить, що дило поганэ, тай кричить: «Хлопцы, рятуйте!»* [Там же]. Хлопцы приходят на выручку своему товарищу: они заряжают пушку галушкой. *Та [галушка] за киргизякой! Куды вин – туды й вона, куда вин – туды й вона. <...>. Вин только двери отчинил, а вона бац по лбу!* [Там же].

Если рассмотренные выше тексты изображают иноплеменников, известных в других регионах России (в том числе и по произведениями устного народного творчества), то байки, записанные в Русском Устье, являются ценным материалом, сохранившим традиционное восприятие восточными славянами представителей коренных народов Дальнего Востока – чукчей, якутов, юкагиров. Это и положительные и отрицательные персонажи. Гостеприимным хозяином, помогающим путникам в трудную минуту (он пускает их переночевать к себе в *ярангу*), изображен один из таких людей. Обращает на себя внимание, что национальность, которую не может точно вспомнить рассказчик, оказывается менее важна, чем другое наименование персонажа, содержащее указание на его половую принадлежность и возраст (*Давно на Алазее один старик жил, то ли чукча, то ли юкагир* [21. С. 174]).

Гостеприимство – важная составляющая контактов с представителями других этносов. Подтверждением этому служат этнографические наблюдения: «Если путник заходил в дом, даже ночью, хозяева вставали, разжигали очаг и угощали приезжего. А он обязан был за это расплачиваться новостями. Гостям подавались лучшие блюда. Если варили уху, то рыбью

голову на отдельной тарелке подавали гостю – проявление уважения. Отказываться от угощения считалось признаком невоспитанности» [22. С. 109]. «Особо почитали человека, приехавшего издалека. Заносили его постель и делали ему ложе в переднем углу, во время «гостевания» он сам и вся его упряжка собак содержалась за счет хозяина.

С уезжающим передавали устные приветы («поклоны») своим родственникам и знакомым» [Там же]. Так ведет себя и персонаж анализируемого текста.

Восхваляется особый дар этого старика – *страсть большой знаток бул. Чево скажет – все сбывается. Со Сендухой [тундрой], как со своей матерью-ле, сестрой-ле, баял. Чево попросит, все Сендуха ему дает* [21. С. 174]. Кроме того, хозяин-иноплеменник и гости (русскоустыинцы) находятся в одном вероисповедальном поле: он просит их, чтобы они дали что-нибудь, чем можно *огонечек покормить* [Там же. С. 175], и гости исполняют просимое.

В другой байке герой вспоминает об умной собаке, которая была у его отца. Эту собаку отец у *юкагиров щенком взял* [Там же. С. 178]. Так буквально одним предложением описывается приобретение животных (их обмен) у представителей разных народов, живших на одной земле. «Издавна русскоустыинцы поддерживали товарищеские отношения с окружающими их соседями – якутами, эвенами и чукчами. Особенно дружескими отношения были с эвенами – «юкагирами», как они их называли. Если у эвенов случался голод, русские снабжали их рыбой, если бедствовали русские – эвены делились мясом. Эвены... исключительно уважительно относились к русским соседям. Большой честью считал эвен заиметь крестного отца из русских и относился к нему с благоговением» [22. С. 110].

Но в байках представлены и персонажи-иноплеменники, вызывающие у рассказчика-русскоустыинца негативное восприятие. Оно может транслироваться и по отношению к целому народу, для которого даже существует особый термин – *худые чукчи*, видимо, чтобы разграничить с обыкновенными чукчами. При этом наименование позиционируется не как самоназвание (*Их называли «худые чукчи»*) [21. С. 179]). Они передвигаются по тундре летом, имеют *при себе лук и стрелы-костянки, переправляются через реки на каких-то пузырях*; они таятся от других людей, *подходя к заимкам ночью*. Их манера питания и одежда также находятся за рамками нормального для традиционного восприятия поведения (воруют сырую юколу и питаются ею, одеваются *в сырые олени шкуры глухоком, как с песка содранные*, эти же шкуры и сохнут прямо на худых чукчах. В этой байке встречается, пожалуй, единичный для фольклора восточных славян Дальнего Востока пример описания цвета кожи у иноплеменника (*Лицо его темно-красное, как железо* [Там же]). При этом у *худых чукчей* были и физические преимущества перед другими народами – они *очень быстро бежали*. Эта способность может перейти от *худого чукчи* к представителю другой нации, стоит только завладеть и подпоясаться его ремнем. *Худой чукча*, склонный к воровству, не способен к убийству: *Старики не помнят*

случая, чтобы чукча убил человека. А наши убивали их часто [21]. Существовала и охранительная магия, которая защищала убийцу от беды; если же не прибегнуть к ее помощи, у него [русского, убившего худого чукчу] появится желание стрелять в каждого [Там же. С. 180].

Затем в этой байке описывается поведение, отличное от приведенного выше: худой чукча нападает на человека, пытающегося приблизиться к нему, начинает стрелять в него из лука. Представитель другого коренного народа – якут – также становится жертвой ночного нападения худого чукчи. В байке четко прослеживается деление на *хорошего* (это якут Мечeko, который *хороший плотник был* [Там же], работал на строительстве школы в Русском Устье) и *плохого* (худого чукчу) персонажей, при этом поведение хорошего оправдывается. Однажды ночью Мечeko выходит из дома. *Вдруг на него сзади человек кинулся, обхватил за горло и стал нежить. Мечeko сильный человек был. Долго барахтались, наконец он сбросил с себя нападавшего и стал топтать. Затем схватил топор и треснул по голове. Побежал к людям, рассказал. Пришли люди, видят: «худой чукча» лежит. Тут же его закопали. После этого Мечeko стал хворать и через год на Аллаихе умер* [Там же].

Но и якуты могут восприниматься русскоустыинцами с негативной стороны, как это представлено в другой байке, отражающей представления советской эпохи. В байке описывается, как моторист-забавник подшутил над якутом. Значимо писание якута: как и в рассмотренном выше примере, сначала используется номинация, обозначающая пол и возраст, которая затем уточняется национальностью (она менее значима в сравнении с половой принадлежностью и возрастом), и должность: *А с нами один мужик был, якут – уполномоченный из района. Такой высокомерный, все старался нами командовать* [Там же. С. 182]. Пытается командовать якут и во время возникшей критической ситуации – на лодке исчезает компрессия, и транспортное средство не может двигаться дальше. Якут отчитывает русскоустыинцев: *Как это нет компрессии? Куда девалась? Почему не позаботились, когда из Русского Устья выезжали?* [Там же]. И моторист просит якута: *Ты бы вместо того, чтобы на нас рвать, сходил бы лучше к полярникам, попросил бы у ребят полбанки компрессии. Ты начальник – тебе дадут* [Там же]. И якут, взяв банку, отправляется к полярникам за компрессией. В этой байке высмеивается высокомерие и глупость персонажа не как представителя отличной национальности, а как начальника, чье руководство не признается другими персонажами.

Опыт контакта между представителями разных восточнославянских этносов изображен в байке, повествующей о ссыльном русскоустыинце. Дядя Ваня Щеголенок сдружился в ссылке с украинцем. С большой любовью нарисован этот персонаж. *Бенной за мной присматривал как за братом. Я его тоже шибко жалел. Другие мужики его «хохлому» кликали. Я за него приставал: «Грех, ребята, хохлом человека не кличьте. Собаки али охто! У нас на Русском Устье хохлом мохнатую собаку кличут»* [Там же. С. 177]. Причиной обиды за товарища стало незнание значения слова «хо-

хол», принятое в западной части России. При этом сам украинец на прозвище не обижался: *А он только посмеивается. Страсть смирной бул – комара да не обидит. А сам охольной, просто уверень* [Там же].

Итак, проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов. На степень реализации комплекса представлений об иноплеменниках в прозаических жанрах фольклорного фонда восточных славян Дальнего Востока России оказывает несомненное влияние поэтика того или иного жанра: происходит встраивание представлений об иноплеменниках в структуру поэтики, но при этом активной подстройки поэтики прозаических жанров под требование комплекса представлений об иноплеменниках с целью его реализации не выявлено.

В результате анализа были выявлены компоненты, которые можно разделить на основные и второстепенные, употребление первых в произведениях прозаических фольклорных жанров количественно преобладает над вторыми, именно с ними связана ведущая роль в реализации представлений об иноплеменниках.

Основными компонентами комплекса представлений об иноплеменниках выступает именование персонажей по этнонимам, содержащее одновременно указание на половую принадлежность персонажей и / или их количество. В сказочной прозе восточных славян Дальнего Востока России в качестве персонажей выступают *португальский король, цыган, цыганка, цыгане, татарин, хохол*. Несколько иной состав наблюдается в несказочной прозе: он активнее сказочной прозы отражает реальную сторону контактов русских, украинцев и белорусов с местным населением (*хохол / украинец, киргизяка, татарва, литовская девушка, китайцы, японцы, чукчи, худые чукчи, якуты, юкагиры*). Второй основной компонент – модель поведения (в большей мере она состоит из черт характера и традиционных для конкретной нации видов деятельности, в том числе профессиональной), которая применительно к персонажам-иноплеменникам трактуется в традиционном восприятии восточных славян как стереотипные черты конкретной нации.

Все прочие компоненты можно причислить к группе второстепенных. Это другие формы именования персонажей (не по этнониму): имя, отличное от восточнославянского (*Дерсу Узала, Ой-ой*), семейный статус (*жинка хохла*), род деятельности / род деятельности совместно с территориальной принадлежностью (*хунхузы, дальневосточные охотники*) также обозначают иноплеменников.

Второстепенным компонентом комплекса представлений об иноплеменниках можно считать принадлежность к той или иной возрастной категории (чаще всего иноплеменники – старики, но встречаются и дети – *цыганенок*), а в общем им будто не свойственна возрастная градация в комплексе традиционных представлений (это объясняется, видимо, незначительным количеством персонажей-иноплеменников относительно персонажей, принадлежащих к конкретному восточнославянскому этносу, и тем, что в восприятии восточных славян национальная принадлежность более значимая характеристика, чем возрастная категория).

Не столь активно используется в описании иноплеменников и их внешность (отличная от восточных славян): в проанализированных нами текстах выявлено несколько примеров превосходства иноплеменников в росте (в том числе и украинца, который в русском тексте воспринимается иноплеменником) над русскими, украинцами или белорусами. Все прочее внимание привлечено к голове (она огромна) и лицу (акцент сделан на смуглом цвете кожи, контрасте белков глаз и цвета кожи), необыкновенной мужской красоте. Так во внешности персонажей-иноплеменников переплетаются мифологические представления с реальными наблюдениями.

К второстепенным компонентам комплекса следует отнести и наличие у иноплеменников особых умений (они колдуют, очаровывают, успокаивают буран, лечат травами). Таким образом в прозаическом фольклоре реализуется представление о связи или родстве иноплеменников с нечистой силой. Значимо, что проявляется эта черта преимущественно в произведениях несказочной прозы, хотя, казалось бы, она более подходит фантастике волшебной сказки (видимо, это объясняется тем, что в сказочном фольклоре группа персонажей, обладающих особыми навыками, сформирована на основе мифологических представлений).

Стоит отметить особенность восприятия восточнославянскими этносами иноплеменников, которая заключается в трансляции превосходства собственной нации и порой пренебрежительном отношении к представителям другого этноса. Любопытно, что чаще всего она реализуется в устном народном творчестве по отношению именно к близкородственным народам (в прозаических жанрах русские так относятся к *хохлам*, а украинцы – к *кацапам*). К этносам, с которыми восточные славяне не состоят в родстве, пренебрежительное отношение возникает по двум причинам. Во-первых, когда их модель поведения в восприятии русских, украинцев или белорусов является показателем слабости духа, а во-вторых, когда их образ жизни ближе к природе, чем к культуре (они воруют, едят сырую рыбу, не умеют изготавливать одежду, имеют допотопные средства передвижения и орудия охоты, как мифические *худые чукчи*). Нами была вычленена еще одна черта восприятия иноплеменников, транслируемая в восточнославянском фольклоре: эти персонажи, как правило, вызывают яркие эмоции – они или осуждаются (например, за непреодолимую глупость), или вызывают одобрение, восхищение (в том числе за радушие), нейтрального отношения, граничащего с безразличием, в прозаических жанрах русских, украинцев и белорусов Дальнего Востока России не обнаружено. Высмеивается или осуждается в традиционном восприятии иноплеменников то их поведение, которое находится за рамками поведенческой нормы восточных славян.

Произведенный анализ показывает пути формирования и специфику создания образной системы прозаического фольклорного фонда восточных славян, демонстрирует принципы отбора компонентов для создания образов персонажей сказочной и несказочной прозы (в частности, на данный момент еще недостаточно рассмотренной системы второстепенных персонажей сказочного фольклора).

В целом представления об иноплеменниках в прозаических жанрах восточных славян Дальнего Востока России являют доброжелательное отношение к другим этносам. Для фольклористики изредка появляющаяся негативная оценка иноплеменников связана с функцией, которую они выполняют в тексте (слабовольный любовник, глупый крестьянин). Представители этнопсихологии могут увидеть в фольклорном материале реализацию защитного механизма психики, заключающегося в потребности негативно высказываться о других людях. Ценными для этнопсихологии могут быть и пути формирования этнической идентичности, заложенной в фольклорном фонде.

В фольклорном тексте в конкретной сюжетной линии представитель конкретной национальности может с легкостью заменяться представителем другой национальности или персонажем (и такие случаи преобладают), вовсе не имеющим указания на национальность. Но значимость эта, полагаем, имеет разную наполненность: для фольклористики это специфика изображения персонажей, для этнофольклористики – нестабильное, размытое восприятие других этносов, для имагологии – сходство в восприятии представителей других наций. Именно фольклористическое восприятие текста обладает возможностью купировать возникновение определенного рода напряжения между этносами.

Специфика современности такова, что результаты гуманитарных исследований становятся востребованными и органами власти, и в бытовой сфере. Бесспорно актуальной в этом плане для многонациональной России является тема межэтнических отношений. Исследование представлений об иноплеменниках на материале фольклорного наследия имеет большой потенциал, поскольку транслирует закрепленную в народном сознании положительную или отрицательную оценку представителей других народов, может помочь выявить причины возникновения стереотипов о представителях тех или иных наций, которые отчасти объясняют современное состояние межэтнических отношений в России, выстроить пути преодоления негативного восприятия.

Литература

1. Белова О. Тело «инородца» // Тело в русской культуре : сб. ст. / сост. Г. Кабакова, Ф. Конт. М. : Новое литературное обозрение, 2005. С. 147–158.
2. Плотникова А.А. Встреча // Славянская мифология : энцикл. слов. / науч. ред. В.Я. Петрухин, Т.А. Агапкина, Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая. М., 1995. С. 125–126.
3. Белова О.В. «Другие» и «чужие»: представления об этнических соседях в славянской народной культуре // Признаковое пространство культуры / отв. ред. С.М. Толстая. М., 2002. С. 71–85.
4. Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий. М. : Наука, 1990. 256 с.
5. Василевич Г.М. Этнонимы в фольклоре // Фольклор и этнография / отв. ред. Б.Н. Путилов. Л., 1970. С. 25–35.
6. Пирогова М.А., Кравцова Ю.А. Роль этнонимов в межкультурной коммуникации // Вестник Амурского государственного университета. 2005. № 28. С. 45–46.
7. Резанова З.И., Шиляев К.С. Этнонимы «русин», «русинский» в русской речи: корпусное исследование // Русин. 2015. № 1 (39). С. 239–255.

8. Попова Е.А., Аль-Хамдани С. Этноним «ляхи» в русской культуре // *Philologos*. 2016. № 29 (2). С. 47–53.
9. Корепова К.Е. «Художественный мир» лубочной сказки // *Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского*. Серия: Филология. 2001. № 1. С. 147–158.
10. Коровина Н.С. Лубок коми и устная сказочная традиция // *Народное наследие народов Республики Коми: история и современность: материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Редкие книги в фондах современных библиотек, архивов, музеев (к 20-летию отдела редкой и рукописной книги Научной библиотеки Сыктывкар. гос. ун-та)*. Сыктывкар, 2009. С. 274–278.
11. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор. М. : Флинта : Наука, 1998. 400 с.
12. Лызлова А.С. Имена персонажей в русских волшебных сказках о похищении женщины: влияние лубочной традиции // *Традиционная культура*. 2011. № 2. С. 99–109.
13. *Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: волшебные и о животных* / сост. Р.П. Матвеева, Т.Г. Леонова. Новосибирск, 1993. 352 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока).
14. *Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока* / изд. подгот. Ю.И. Смирнов, Т.С. Шенталинская. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние. 1991. 499 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока).
15. Астахова А.М. Народные сказки о богатырях русского эпоса. М. ; Л. : Наука, 1962. 120 с.
16. *Фольклор Дальнеречья* / сост. Л.М. Свиридова. Владивосток : Изд-во ДВГУ, 1986. 288 с.
17. *Русские народные сатирические сказки Сибири* / сост., вступ. ст. и коммент. Н.В. Соболевой. Новосибирск : Наука, 1981. 288 с.
18. Георгиевский А.П. Русские на Дальнем Востоке: фольклорно-диалектологический очерк. Вып. 4: Фольклор Приморья. Владивосток, 1929. 119 с.
19. *У ключика у гремучего: Дальневосточный фольклор* / сост. Л. Свиридова. Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1989. 255 с.
20. Кучерявенко В. Сказки Дальнего Востока. Хабаровск : Дальгиз, 1939. 104 с.
21. Чикачев А.Г. Русскоустыинские байки // Чикачев А.Г. Русские на Индигирке. Новосибирск, 1990. С. 174–183. (Страницы истории нашей Родины).
22. Чикачев А.Г. Русские на Индигирке. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1990. 189 с. (Страницы истории нашей Родины).

The Far-Eastern East Slavs' Concepts of Outlanders (Based on the Materials of the Prose Genres of Oral Lore)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2019. 58. 34–51. DOI: 10.17223/19986645/58/3

Tatyana V. Krayushkina, Institute of History, Archeology and Ethnography of the Peoples of the Far East of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences (Vladivostok, Russian Federation). E-mail: kvtpb@yandex.ru

Keywords: man, outlander, character, imagology, concepts, the East Slavs, the Far-East of Russia, prose genres of folk literature, fairy-tale prose, non-fairy-tale prose.

The article covers the concepts of the East Slavic ethnic groups concerning their outlanders. The aim of the article is to determine the body of Russian, Ukrainian and Belarusian concepts of outlanders in the prose folk literature of the Russian Far East. The study is based on the data from the works of fairy-tale prose (fairy tales and slice-of-life tales) as well as the compositions of non-fairy-tale prose (legends, epic tales, anecdotes) of the East Slavs that were recorded in the period from the final third of the 19th till the final third of the 20th centuries. The originality of the article lies in the fact that the abovementioned materials have been first used for describing the complex of concepts of outlanders and for determining its major and minor aspects.

The formation of outlanders as a group of characters in prose genres occurred to different extents under the influence of some mythological ideas, an objective reality forcefully intruded into the folk poetry, other folk genres and works of authors' oral art that externalized themselves, among other trends, in a cheap popular (lubok) literature. The influence of this kind of literature seems to have resulted in the appearance of the character of a *Portuguese king*. This amazingly handsome and rich man disappears with the hero's young wife. A range of epic tales harmoniously integrated into fairy tales, it was adopted and transformed according to the requirements of the genre. In particular, this process resulted in the appearance of the character of a Tatar warrior in fairy tales. This character was defeated by Ilya Muromets, even though he was described as an incredibly tall and amusingly strong man. The Romani people were common characters of many fairy and slice-of-life tales, and stereotypical traits imputed to this ethnic group tended to be used as characters' characteristics.

Some characters represented by persons of foreign ethnicity were also found in the East Slavic non-fairy-tale prose (legends, epic tales, anecdotes). Legends had Ukrainian characters while epic tales covered Lithuanians and Golds as well as Chinese and Japanese people and even the Hognhuzi. Ukrainians, Tartars, the Kirghiz, the Chukchi (including the group of so-called "wild Chukchi"), Yakuts, Yukaghirs were represented in a realistic or humorous manner in anecdotes. Outlanders could act as heroes or villains (more frequently) in the non-fairy-tale prose. This prose genre was more indicative of the real relationships between the East Slavs and the local dwellers including the natives of the Far East than the fairy-tale prose.

The article concludes with the East Slavs' complex of concepts of outlanders on the basis of the major (ethnonyms, behavior patterns) and minor (naming by ethnonyms, age categories, appearances, special skills) aspects of fairy-tale and non-fairy-tale prose.

References

1. Belova, O. (2005) Telo "inorodtsa" [The body of an "outlander"]. In: Kabakova, G. & Kont, F. *Telo v russkoy kul'ture* [A body in Russian culture]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
2. Plotnikova, A.A. (1995) Vstrecha [Meeting]. In: Tolstaya, S.M. (ed.) *Slavyanskaya mifologiya: entsikl. slov.* [Slavic mythology: encyclopedic dictionary]. Moscow: ISS RAS.
3. Belova, O.V. (2002) "Drugie" i "chuzhie": predstavleniya ob etnicheskikh sosedyakh v slavyanskoy narodnoy kul'ture ["Others" and "Strangers": ideas about ethnic neighbors in Slavic folk culture]. In: Tolstaya, S.M. (ed.) *Priznakovoe prostranstvo kul'tury* [Attributive space of culture]. Moscow: Indrik.
4. Ageeva, R.A. (1990) *Strany i narody: proiskhozhdenie nazvaniy* [Countries and peoples: the origin of the names]. Moscow: Nauka.
5. Vasilevich, G.M. (1970) Etnonimy v fol'klore [Ethnonyms in folklore]. In: Putilov, B.N. (ed.) *Fol'klor i etnografiya* [Folklore and ethnography]. Leningrad: Nauka.
6. Pirogova, M.A. & Kravtsova, Yu.A. (2005) Rol' etnonimov v mezhekul'turnoy kommunikatsii [The role of ethnonyms in intercultural communication]. *Vestnik Amurskogo gosudarstvennogo universiteta*. 28. pp. 45–46.
7. Rezanova, Z.I. & Shilyaev, K.S. (2015) Ethnonyms "Rusin" and "Rusinian" in Russian discourse: a corpus study. *Rusin*. 1 (39). pp. 239–255. (In Russian). DOI 10.17223/18572685/39/15
8. Popova, E.A. & Al'-Khamdani, S. (2016) The word "Lyakhs" in Russian culture. *Filologos*. 29 (2). pp. 47–53.
9. Korepova, K.E. (2001) "Khudozhestvennyy mir" lubochnoy skazki ["The Art World" of a lubok fairy tale]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Filologiya – Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod. Series: Philology*. 1. pp. 147–158.

10. Korovina, N.S. (2009) [Lubok of the Komi and the oral fairy tale tradition]. *Narodnoe nasledie narodov Respubliki Komi: istoriya i sovremennost'* [The folk heritage of the peoples of the Komi Republic: history and modernity]. Proceedings of the All-Russian Conference. Syktyvkar: Syktyvkar State University. pp. 274–278. (In Russian).

11. Zueva, T.V. & Kirdan, B.P. (1998) *Russkiy fol'klor* [Russian folklore]. Moscow: Flinta: Nauka.

12. Lyzlova, A.S. (2011) *Imena personazhey v russkikh volshebnykh skazkakh o pokhishchenii zhenshchiny: vliyanie lubochnoy traditsii* [Names of characters in Russian fairy tales about the abduction of women: the influence of lubok tradition]. *Traditsionnaya kul'tura – Traditional Culture*. 2. pp. 99–109.

13. Matveeva, R.P. & Leonova, T.G. (1993) *Russkie skazki Sibiri i Dal'nego Vostoka: volshebnye i o zhivotnykh* [Russian fairy tales of Siberia and the Far East: magical and about animals]. Novosibirsk: Nauka.

14. Smirnov, Yu.I. & Shentalinskaya, T.S. (eds) (1991) *Russkaya epicheskaya poeziya Sibiri i Dal'nego Vostoka* [Russian epic poetry of Siberia and the Far East]. Novosibirsk: Nauka.

15. Astakhova, A.M. (1962) *Narodnye skazki o bogatyryakh russkogo eposa* [Folk tales about the bogatyrs of the Russian epic]. Moscow; Leningrad: Nauka.

16. Sviridova, L.M. (1986) *Fol'klor Dal'nerech'ya* [Folklore of Dalnerechye]. Vladivostok: FESU.

17. Soboleva, N.V. (1981) *Russkie narodnye satiricheskie skazki Sibiri* [Russian folk satirical tales of Siberia]. Novosibirsk: Nauka.

18. Georgievskiy, A.P. (1929) *Russkie na Dal'nem Vostoke: fol'klorno-dialektologicheskoy ocherk* [Russians in the Far East: a folklore-dialectological essay]. Is. 4. Vladivostok: [s.n.].

19. Sviridova, L. (1989) *U klyuchika u gremuchego: Dal'nevostochnyy fol'klor* [By the roaring spring: The Far Eastern folklore]. Vladivostok: Dal'nevost. kn. izd-vo.

20. Kucheryavenko, V. (1939) *Skazki Dal'nego Vostoka* [Tales of the Far East]. Khabarovsk: Dal'giz.

21. Chikachev, A.G. (1990) *Russkoust'inskie bayki* [The Russian-Ustinskaya anecdotes]. In: Chikachev, A.G. *Russkie na Indigirke* [Russians on the Indigirka]. Novosibirsk: Nauka.

22. Chikachev, A.G. (1990) *Russkie na Indigirke* [Russians on the Indigirka]. Novosibirsk: Nauka.

УДК 81'42

DOI: 10.17223/19986645/58/4

Е.Н. Малюга

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО НАУЧНОГО ДИСКУРСА: ВОПРОСЫ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ¹

Исследуется формат англоязычных научных публикаций, отмеченных сниженной актуальностью темы исследования, которая контрастирует с методологической и научно-исследовательской целесообразностью научного текста в целом, создавая эффект парадокса. Анализируются функциональные, языковые и дискурсивные особенности научных публикаций в рамках современного англоязычного научного дискурса. Рассматриваются соответствующие предпосылки к изучению идентичности автора как создателя научного текста.

Ключевые слова: научный дискурс, идентичность, научная публикация, научная статья, актуальность исследования, дискурсивный маркер, идентифицирующая функция, прецедент.

В статье исследуется научный дискурс, представляющий собой письменное или устное речетворчество в сфере науки, отличающееся «познавательной направленностью, информативностью, аргументированностью, высокой логической культурой, а также интеллектуальной прогрессивностью и эстетической оформленностью» [1. С. 11]. Выступая участниками научного дискурса, исследователи взаимодействуют друг с другом «в соответствии с нормами, установленными научным сообществом» [2. С. 131], используя средства языка с целью обозначения и описания научной проблемы. При этом центральным параметром любого научного текста традиционно выступает актуальность исследования, указывающая на «необходимость и своевременность изучения и решения проблемы для дальнейшего развития теории и практики» [3. С. 6]. Актуальность исследования определяет и общую содержательную значимость научной работы, призванной внести вклад в решение конкретной проблемы, релевантной для человечества в целом и для научного сообщества в частности.

В настоящее время стремительное развитие научного дискурса порождает новые формы представления знания и научного доказательства, и одним из наиболее неконвенциональных примеров нового формата научной риторики является формат, в рамках которого теме исследования намеренно отводится периферийная роль, в то время как методология исследования выходит на передний план, становясь, по сути, самоцелью научной

¹ Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН «5-100».

работы в целом. Одним из ярких примеров, иллюстрирующих сущность рассматриваемого явления, служит статья, опубликованная в журнале «Economic Inquiry» под заголовком «On the efficiency of AC/DC: Bon Scott versus Brian Johnson» [4]. Содержание статьи раскрывается авторами в аннотации следующим образом:

We use tools from experimental economics to address the age-old debate regarding who was a better singer in the band AC/DC. Our results suggest that (using wealth maximization as a measure of “better») listening to Brian Johnson (relative to listening to Bon Scott) resulted in “better» outcomes in an ultimatum game. These results may have important implications for settling drunken music debates and environmental design issues in organizations [Ibid. P. 598].

Мы используем экспериментальные методы экономического анализа с целью разрешения давнего спора о том, кто является лучшим певцом в группе AC/DC. Проведенное исследование подтверждает, что (с учетом применения теории максимизации стоимости в качестве мерила качества) прослушивание песен Брайана Джонсона (в сравнении с прослушиванием песен Бона Скотта) оказывается более эффективным при проведении экспериментальной игры «ультиматум». Эти результаты могут получить практическое применение при разрешении музыкальных споров во время распития спиртных напитков, а также при решении вопросов природоохранного проектирования на производствах¹.

Очевидно, что научное исследование, состоящее в эконометрическом измерении субъективных музыкальных предпочтений с целью «разрешения музыкальных споров во время распития спиртных напитков», по меньшей мере, противоречиво. Тем не менее методология анализа, которой авторы придерживаются на протяжении статьи, соответствует всем канонам серьезного экономического исследования, основанного на применении легитимных экономических методов научного познания. Таким образом, тема исследования предстает в качестве своего рода «оболочки», поверхностного бессодержательного «слоя», намеренно лишенного какой-либо практической или теоретической ценности. Периферийный статус темы исследования, в свою очередь, отчетливо контрастирует с неопровержимой актуальностью его методологии, порождая новый продукт научной мысли, центральная задача которого состоит в своего рода «шаблонном» описании процедуры исследования и привлечении внимания читателя к существующим способам научного анализа. Подобные статьи нестандартного формата сегодня публикуются и распространяются влиятельными научными изданиями наравне с работами, написанными в соответствии с традиционными канонами научного письменного дискурса.

С учетом сказанного рассматриваемое явление анализируется в настоящем исследовании в качестве специфического формата построения научно значимого аргумента в англоязычных научных публикациях, двумя взаимосвязанными и четко контрастирующими компонентами которого вы-

¹ Здесь и далее перевод автора.

ступают «периферийная» актуальность темы исследования и приоритетная актуальность его методологии. Анализируя указанный формат научной аргументации, мы ставим ключевой целью дискурсивный анализ данного явления в англоязычном научном дискурсе. Материалом исследования выступили англоязычные научные публикации экономической тематики, опубликованные в высокорейтинговых рецензируемых научных изданиях:

- «Economic Inquiry» (Великобритания, h-index 61, Scopus Q1/Q2);
- «Applied Economic Perspectives and Policy» (Великобритания, h-index 40, Scopus Q1/Q2);
- «American Economic Review» (США, h-index 237, Scopus Q1);
- «Accounting, Organizations and Society» (Великобритания, h-index 110, Scopus Q1);
- «Policy Sciences» (Нидерланды, h-index 45, Scopus Q1);
- «Journal of Political Economy» (США, h-index 159, Scopus Q1); и
- «Journal of Environmental Economics and Management» (США, h-index 101, Scopus Q1).

Включение в материал исследования статей, опубликованных в высокорейтинговых научных журналах, позволило обеспечить качество выборки, поскольку высокий рейтинг журнала исключает вероятность допуска к публикации «околонаучных» исследований, не соответствующих строгим правилам жесткой редакционной политики.

Обращение к научным публикациям экономической тематики продиктовано стремлением сузить область исследования путем ограничения анализа рамками отдельного институционального дискурса.

Научные статьи анализируются в данном исследовании в качестве одного из ключевых жанров научного дискурса, обеспечивающего обмен научной информацией. Жанровый анализ позволяет сузить область исследования до отдельных жанров, функционирующих в рамках данного типа дискурса и сформированных в соответствии со сложившейся традицией письменного и устного научного речетворчества, и представляет собой специализированную форму дискурс-анализа, когда внимание исследователя обращено на отдельные повторяющиеся элементы конструирования мысли, включая структурную композицию, грамматику и лексику. При этом в рамках жанрового анализа текст рассматривается как своего рода «ключ», позволяющий исследователю описать не только особенности широкого спектра лингвистических практик, но и специфику людей (в случае научного дискурса – ученых) и профессиональных групп (научного сообщества), участвующих в продуцировании соответствующего типа дискурса. Каждая научная статья как жанр научного дискурса может рассматриваться в качестве отдельного этапа масштабной дискуссии, как очередной аргумент или «одна из реплик в диалоге» [5. С. 17], позволяющая приблизиться к решению конкретной научной проблемы.

Задача любой научной статьи состоит в том, чтобы убедить читателя в корректности и актуальности предоставляемой информации. Для достижения данной цели авторы используют устоявшийся набор языковых средств

и следуют общепринятым композиционным правилам, оправдывая, таким образом, ожидания читателя, сформированные устойчивой традицией построения научно обоснованных рассуждений. Другими словами, научная статья как жанр научного дискурса предстает в качестве своего рода «договора» между автором и читателем, где обе стороны «обязуются» создавать и интерпретировать информацию, основываясь на правилах, регулирующих процессы продуцирования и осмысления научного текста.

Важной особенностью современной научной статьи становится смещение акцентов, которое подразумевает увеличение значимости дискурсивной состоятельности аргумента, его убедительной формулировки. В то же время текст не может рассматриваться как достоверное отражение реального мира, поскольку любая трактовка является результатом фильтруемой проекции знания, основанной на приоритизации, проистекающей из интенциональных предпосылок исследователя [6]. Другими словами, любой набор данных, выведенных даже через объективно-доказательные методологии анализа, может быть интерпретирован по-разному, и если «вес» конечного аргумента зависит от выбранной автором «траектории» рассуждения, то именно дискурсивные способы аргументирования становятся критическим фактором успешности исследования. С такой точки зрения, поиск доказательной базы при анализе продукта научной деятельности будет зависеть от точности интерпретации дискурсивных практик, используемых автором с целью предупреждения критики в отношении выдвинутых им гипотез и заключений.

Как следствие, интерес к изучению научных статей во многом обусловлен интересом к специфичным способам их оформления, позволяющим предоставить убедительные доказательства выдвигаемых теорий. Исследователи научного дискурса стремятся выяснить, как именно дискурс используется авторами для изложения мысли и конструирования знания (см., например, [7–13] и др.). Это – ключевая проблема в рамках анализа жанровых разновидностей научного дискурса в частности и коммуникации в целом.

Выбор в качестве объекта исследования именно *англоязычного* научного дискурса обуславливается возможностью обеспечения более обширной выборки, что связано с давно наметившимся приоритетом английского как главного языка письменной научной коммуникации. Некоторые исследователи рассматривают такую тенденцию в качестве проблемы, требующей решения. Например, Р. Менегини и А. Пэкер в статье «Is there science beyond English?» констатируют, что «любой ученый, желающий иметь доступ к актуальным исследованиям и получить международное признание, должен овладеть английским языком» [14. Р. 112], и предлагают ряд инициатив, которые позволили бы повысить уровень доступности публикаций, написанных на других языках (включая, например, «перестройку» практикуемого журналами регламента, которая могла бы создать новый тренд, поддерживающий многоязычную публикационную политику). Такие инициативы, по мнению авторов, позволили бы элиминировать языковые барьеры, препятствующие продуктивной научной коммуникации, в то время

как игнорирование сложившейся тенденции приведет к тому, что значительная часть важных научных изысканий окажется «потерянной» (в терминологии авторов – «lost science»).

Однако статистика показывает, что ученые по всему миру все чаще делают выбор в пользу публикации своих исследований на английском языке, в том числе вследствие большей вероятности быть процитированными своими коллегами. Так, в 2005 г. количество англоязычных рецензируемых публикаций составляло 1,1 миллиона статей, и эта цифра увеличивается на 4% ежегодно [15]. Активно развивающаяся индустрия онлайн-журналов стимулирует приоритетность английского языка, и именно такие журналы предоставляют авторам наилучшую перспективу для повсеместного распространения и международного признания. Это привело к тому, что количество статей, публикующихся на английском языке не англоговорящими авторами, превышает количество статей, публикуемых носителями языка [16].

По итогам сплошной выборки материал исследования представлен 26 примерами научных статей, оформленных в формате публикаций с периферийной актуальностью темы исследования. Все рассмотренные научные публикации оформлены в строгом композиционном соответствии традиционным требованиям структурирования научного текста: каждая из анализируемых статей имеет заголовок, аннотацию, ключевые слова, тематические подзаголовки (включая введение, методы исследования, заключение и т.п.) и список использованных источников (литературы). Кроме того, каждой статье присвоен идентификационный номер DOI, что упрощает поиск информации по публикациям, включая количество цитирований.

Методология оценки актуальности темы исследования основана на оценке целесообразности научной работы по следующим параметрам: теоретическая значимость темы исследования, практическая значимость темы исследования, потенциал решения конкретной общезначимой и/или научной проблемы при разработке данной темы исследования. Объективная оценка актуальности темы исследования может быть также осуществлена путем статистического анализа встречаемости данной проблематики в научной литературе, однако данный подход не применяется в настоящей работе.

Детальное ознакомление с текстами исследуемых научных публикаций позволило выделить три ключевые особенности рассматриваемого формата научных публикаций:

- сохранение познавательной функции научного текста;
- реализация развлекательной функции;
- наличие большего потенциала для самоидентификации автора научного текста.

Несмотря на специфичность формата публикаций с периферийной актуальностью темы исследования, их научно-исследовательская составляющая остается приоритетной, вследствие чего реализация *познавательной*

функции в такого рода статьях не теряет своей значимости. Рассмотренная выше статья служит хорошим примером познавательной функции научной публикации с периферийной актуальностью темы исследования, так как, исследуя очевидно не первостепенную тему музыкальных предпочтений поклонников группы AC/DC, автор последовательно раскрывает методологические особенности применения микроэкономической модели ограниченной рациональности, иллюстрируя возможности исследования данной концепции через практику использования экономической экспериментальной игры «ультиматум». В результате автор приходит к выводам, имеющим опосредованное практическое значение, так как сама постановка цели исследования изначально формулируется в демонстративно иррациональной с научной точки зрения форме. С дискурсивной точки зрения, четкое следование правилам построения научной мысли, а также использование строго конвенциональных языковых средств для ее описания наделяют исследование очевидной теоретической значимостью. Как следствие, создается своего рода эффект парадокса, благодаря которому научный текст одновременно теряет и обретает значимость в зависимости от установки читателя, который может рассматривать научную публикацию как неактуальную в свете неактуальности непосредственной темы исследования или же расценивать ее как релевантный вклад в теоретическое осмысление методологии описания экономических проблем.

Рассматривая непосредственные инструменты достижения эффекта парадокса, необходимо отметить явное преобладание традиционных языковых маркеров, даже поверхностный анализ которых позволяет отнести подобные публикации к категории текстов научного дискурса. К числу таких маркеров относятся, например:

– маркеры, обозначающие начало темы:

Since 1980, there has been near constant contention regarding who was the better singer. In this paper, we explore this issue;

– маркеры, указывающие на завершение темы:

Our analysis suggests that in terms of affecting efficient decision making among listeners, Brian Johnson was a better singer;

– маркеры, обозначающие порядок следования информации в теме:

Prior to learning their roles of proposers or responders, each participant provided the offer they would extend were they assigned the role of proposer and, for each possible offer (i.e. for each offer between zero and \$10), whether they would accept or reject the offer were they assigned the role of responder. After all individuals had provided this information, the roles of proposer and responder were randomly assigned within each pair and the indicated offer (from the proposer) and the respective accept or reject decision (from the responder) were implemented;

– маркеры, обозначающие причинно-следственные отношения:

As suggested by our analysis above, we observed a higher rate of rejection and hence less efficient outcomes when the music of Bon Scott was played during participants' decision-making;

– маркеры, отсылающие к отдельным фрагментам в тексте статьи:

Given all this, it is no wonder that AC/DC has such a rabid fan base and, as discussed below, faces an epic debate regarding its line-up;

– маркеры, отсылающие к работам других исследователей:

As demonstrated by Bernardi et al. (2006), different musical styles can have different physiological effects in individuals.

Таким образом, эффект парадокса в научных публикациях рассматриваемого формата основывается на возможности балансирования двух противоречащих друг другу компонентов – периферийной актуальности темы исследования и методологического потенциала научной работы, обеспечивающего ее познавательную значимость. Согласно проведенному анализу подобные публикации зачастую содержат информацию, исключительно полезную для представителей научного сообщества, находящихся в поиске новых исследовательских инструментов. Так, например, статья под названием «A diamond is forever» and other fairy tales: the relationship between wedding expenses and marriage duration» [17] исследует вопрос взаимосвязи между продолжительностью брака и затратами на обручальные кольца:

In this study, we evaluate the association between wedding spending and marriage duration using data from a survey of more than 3,000 ever-married persons in the United States. Controlling for a number of demographic and relationship characteristics, we find evidence that marriage duration is inversely associated with spending on the engagement ring and wedding ceremony [Ibid. P. 1919].

В настоящем исследовании рассматривается связь между затратами на свадьбу и продолжительностью брака с использованием данных, полученных в результате опроса 3 000 резидентов США, когда-либо состоявших в браке. Проследив ряд демографических и межличностных параметров, мы находим подтверждение тому, что продолжительность брака обратно пропорциональна затратам на обручальное кольцо и свадебную церемонию.

Анализируя периферийную с точки зрения экономического анализа проблематику, статья одновременно несет весомый познавательный потенциал, который раскрывается через описание используемых авторами инструментов опроса, таких, например, как программная утилита Qualtrics, позволяющая осуществлять сбор и анализ данных для исследования рынка, оценки удовлетворенности и лояльности клиентов, а также тестирования продуктов и концептов, или онлайн-сервис Mechanical Turk (mTurk), который все чаще используется учеными для проведения экспериментальных исследований и анкетирования.

Кроме того, авторы предлагают вниманию читателя детальный протокол методологии анализа, который может быть применен при исследовании проблем взаимообусловленности событий и явлений. Например, к числу ключевых пунктов такого протокола, обнаруживаемых в рассматриваемой статье, относится применяемая авторами методология опроса, охватывающая обширный диапазон данных, включая информацию о текущем

семейном положении, продолжительности брака, наличии детей, затратах на обручальные кольца, количестве приглашенных на свадьбу гостей, общих затратах на подготовку к свадебной церемонии, текущем возрасте респондента и возрасте на время замужества, этнической принадлежности, образовании, профессиональной занятости, семейном доходе, регионе проживания, вероисповедании, разнице в возрасте, этнической принадлежности и уровне образования. Экономические модели, используемые в процессе исследования, разумеется, также играют важную роль в процессе построения аргумента, доказывающего, что количество денег, затраченных на свадьбу, влияет на долговечность брачных уз. Так, в статье предлагается детальное объяснение принципа применения модели пропорциональных рисков Кокса и диагностический тест с использованием остатков Шёнфельда.

Другой особенностью научных публикаций рассматриваемого формата является реализация *развлекательной функции*, которая (в силу противоречия стандартам научной риторики) позволяет автору акцентировать периферийность актуальности темы исследования посредством подчеркнута комической ее трактовки и, соответственно, обеспечить более выраженный контраст с актуальностью используемой в работе методологии.

Реализация данной функции может осуществляться посредством как языковых, так и риторических инструментов. К числу наиболее интересных примеров риторических средств реализации развлекательной функции, обнаруженных в материалах исследования, можно отнести прецедентные референции, представляющие собой «общеизвестные или известные большинству лингвокультурного сообщества единицы, хранящиеся в коллективной памяти этого сообщества, регулярно актуализирующиеся в речи, отражающие нечто фактическое, существовавшее и/или существующее в реальности и имеющие словесное выражение» [18. С. 14–15]. Согласно В.В. Красных прецедент представляет собой «элемент культуры, служащий основой для построения инвариантного восприятия, которое, в свою очередь, всегда вмещает в себя некий социокультурный опыт, консервирующийся и передающийся через воспроизводимость такого восприятия» [19. С. 70]. Другими словами, прецедент всегда исторически обусловлен и выступает в качестве сравнительной модели, с которой сопоставляется иное схожее, инвариантное знание, поведение, явление, решение и т.д.

Использование прецедентной референции при реализации развлекательной функции в научных публикациях исследуемого формата может быть проиллюстрировано на примере статьи «An option value problem from Seinfeld» [20], отсылающей к известному американскому телесериалу в жанре комедии положений «Сайнфелд», который транслировался на американском телевидении с 1989 по 1998 год. Создатели сериала Джерри Сайнфелд и Ларри Дэвид характеризовали сериал как «шоу ни о чём» («a show about nothing»), и именно данный слоган был использован автором научной статьи при составлении более чем краткой аннотации, сформулированной следующим образом:

This is a paper about nothing [20. P. 563].

Это статья ни о чем.

Очевидно, что в данном случае особое значение имеет осведомленность читателя об оригинальном источнике, послужившем основой для эксцентричного описания научной работы. В этом смысле важным дополнением к определению прецедентных единиц становится введение параметра ассоциативности, определяющего саму природу такого рода референций. Г.Г. Слышкин предлагает рассматривать данные единицы как «целостные, образные, ассоциативные и часто экспрессивные элементы, связанные в сознании реципиентов информации с известными им текстами, ценностная значимость которых может быть достоверно установлена для определенной культурной группы» [21. С. 28].

Важность ассоциативности как элемента культурного наследия подчеркивается в гипотезе К.К. Касьяновой, которая высказывает мнение о том, что ядро этнического характера составляет некоторый набор предметов или идей, ассоциируемых в сознании каждого носителя определенной культуры с отчетливой и яркой палитрой эмоций и чувств, собирательно называемых сентиментами. Попадая в сознание реципиента, такой предмет или идея приводят в движение ассоциативные эмоциональные переживания, порождая в конечном счете более или менее типичное (но в большинстве случаев ожидаемое) действие. Таким образом формируется своего рода цепочка взаимосвязанных звеньев, где всегда присутствуют триггер (предмет) и ассоциативно обусловленное последствие (действие) [22. P. 32]. В случае анализируемого примера в качестве последствия рассматривается реализация развлекательной функции через ассоциативное восприятие читателя, основывающееся на его знаниях и опыте, причем результирующая комичность обуславливается тем фактом, что необходимые для верного восприятия информации знания не имеют отношения к профессиональному опыту реципиента, но отсылают к его повседневной культурно-маркированной осведомленности об окружающем мире.

Языковые средства, используемые с целью реализации развлекательной функции и достижения комического эффекта, достаточно подробно изучены в работах как российских, так и зарубежных исследователей. Однако один и тот же набор языковых средств, предназначенных для создания комического эффекта, подразумевает разную интерпретацию в рамках различных типов дискурса, и в случае научного дискурса любая попытка развлечь читателя будет толковаться как намеренная генерация конфликта с дискурсивными канонами научного письма.

Так, например, статья под названием «Up or down? A male economist's manifesto on the toilet seat etiquette» [23] привлекает внимание читателя не только спецификой темы исследования (периферийной даже по самым объективным оценкам), но и выбором языковых средств, позволяющих автору реализовать нетипичную для научного дискурса развлекательную функцию:

This paper develops an economic analysis of the toilet seat etiquette. I investigate whether there is any efficiency justification for the presumption that men

should leave the toilet seat down after use. I find that the “down rule» (неологизм) is inefficient unless there is a large asymmetry in the inconvenience costs of shifting the position of the toilet seat across genders. I show that the “selfish» or the “status quo» (неологизм) rule that leaves the toilet seat in the position used dominates the down rule in a wide range of parameter spaces including the case where the inconvenience costs are the same [23. P. 303].

В настоящей статье предлагается экономический анализ этикетных правил пользования туалетным сидением. Я рассматриваю правомерность предположения о том, что мужчины должны опускать сиденье унитаза после использования туалета и доказываю, что «правило опускания» оказывается несостоятельным за исключением случаев масштабной асимметрии в неудобствах, причиняемых в результате позиционирования туалетного сидения представителями двух полов. Я также иллюстрирую, что «правило эгоизма» или «правило статуса кво», подразумевающее, что сиденье оставляется в использованной позиции, доминирует в сравнении с правилом опускания в широком диапазоне параметрических пространств, включая случаи тождественности причиняемых неудобств.

Непосредственным инструментом в реализации развлекательной функции выступает формулировка «toilet seat etiquette» – одновременно легитимная (учитывая, что именно данный аспект повседневной бытовой активности рассматривается в качестве ключевого предмета исследования) и ироничная (с учетом стилистического регистра, в рамках которого любая попытка насмешливой эксплуатации научной мысли неизбежно подчеркнет дискурсивное несоответствие языка и риторики научного повествования). Конфликтность как средство реализации развлекательной функции особо ярко выражается в тексте научной статьи посредством систематического использования научной терминологии, включая такие выражения, как «efficiency justification», «large asymmetry», «inconvenience costs», «across genders», «parameter spaces» и др., а также неологизмов, таких как «down rule», «selfish rule» и «status quo rule», которые, в свою очередь, приобретают исключительно специфичное (комичное) значение в контексте исследования, подчеркивая периферийность его темы. Другими словами, как и в случае с познавательной функцией, результатом подобных языковых практик является эффект парадокса, который одновременно включает и исключает текст такого рода из категории полноправных текстов научного дискурса.

Последняя особенность научных статей данного формата, рассматриваемая в настоящей работе, подразумевает наличие большего потенциала для самоидентификации автора научного текста. Поскольку статьи с периферийной актуальностью темы исследования во многих смыслах выходят за рамки нормативных стандартов научного дискурса, некоторые фиксированные правила, такие как сдержанность и дистанцированность автора, могут отходить на второй план, позволяя исследователю «приблизиться» к читателю и идентифицировать себя через языковые средства, нетипичные для научной риторики. По результатам проведенного анализа, идентифи-

цирующая функция реализуется в том или ином виде в приблизительно 77% случаев, т.е. 20 из 26 проанализированных статей содержали дискурсивные элементы, позволившие авторам идентифицировать себя в тексте работы. Стоит отметить, что с учетом традиционно принятого регламента научного дискурса, постулирующего обособленность и максимальную дистанцированность исследователя с целью обеспечения максимальной объективности, распространенность инструментов языковой самоидентификации в рассматриваемых статьях в очередной раз свидетельствует об их особенной специфике, поскольку они позволяют автору экспериментировать с дискурсивными практиками без ущерба для научно-исследовательской составляющей работы в целом. При этом «формула успеха» во многом определяется именно отсутствием необходимости в объективной оценке фактов, так как сама тема исследования изначально периферийна (минимально актуальна) по своей природе. Это открывает простор для творчества, давая автору возможность раскрыть научный потенциал исследования, одновременно сблизившись с читателем через самоидентификацию.

Самоидентификация автора в статьях рассматриваемого формата в первую очередь реализуется через актуализацию оппозиции «свой – чужой» посредством акцентирования институциональной и профессиональной связи между автором и читателем как представителей научного сообщества. Ярким примером, иллюстрирующим данное положение, служит статья «The whimsical science» [24], причем в данном случае один только заголовок научной публикации («Причудливая наука») уже несет в себе идентифицирующую функцию вне зависимости от содержания статьи, и осознать этот потенциал сможет только член соответствующего (в данном случае – экономического) профессионального сообщества, по роду деятельности знакомый с термином «the dismal science». «The dismal science» («мрачная наука») – уничижительное альтернативное название для экономики, впервые предложенное в XIX в. викторианским историком Томасом Карлайлом для акцентирования присущего ей фатализма, а также в качестве контраста с распространенным в то время термином «gay science» («веселая наука»), отсылавшим к практикам сочинения песен и стихов. Обладая данным знанием, читатель имеет возможность расшифровать языковой оборот, превративший устоявшийся термин в эксцентричный каламбур и позволивший автору идентифицировать себя как «своего», т.е. члена профессионального сообщества.

Как видно из данного примера, возможность самоидентификации в статьях рассматриваемого формата может быть связана с наличием развлекательного компонента, и такая взаимосвязь четко прослеживается в анализируемом материале. Например, содержание статьи «Your right arm for a publication in AER?» [25] раскрывается авторами в аннотации следующим образом:

The time tradeoff (TTO) method is popular in medical decision making for valuing health states. We use it to elicit economists' preferences for publishing in top economic journals and for living without limbs. The economists value journal publi-

cations highly and have a clear preference among them, with the American Economic Review (AER) the most preferred. Their responses imply they would sacrifice more than half a thumb for an AER publication. These TTO results are consistent with ranking and willingness to pay results, and indicate that journal preferences are not entirely determined by impact factors or by expectations of a salary increase following a publication in a prestigious journal [25. P. 495].

Метод временного компромисса (МВК) популярен в принятии медицинских решений для оценки состояния здоровья. Мы используем данный метод для выявления предпочтений экономистов касательно публикации научных статей в ведущих экономических журналах, а также в отношении жизни без конечностей. Экономисты высоко ценят публикации в журналах и имеют явные предпочтения среди них, причем наиболее востребованным является журнал *American Economic Review (AER)*. Согласно ответам респондентов они согласились бы пожертвовать более половиной пальца, если бы это позволило им опубликоваться в *AER*. Результаты МВК-анализа согласуются с данными, отражающими взаимосвязь между рейтингом журнала и готовностью к пожертвованиям, а также доказывают, что выбор журнала не полностью определяется импакт-фактором или ожиданием повышенной зарплаты в результате публикации статьи в престижном журнале.

Помимо очевидной развлекательной составляющей, заставляющей читателя задуматься над тем, сколько конечностей он готов пожертвовать ради публикации в престижном научном издании, данная статья не менее очевидным образом идентифицирует автора как человека, близко знакомого с современными требованиями публикационной активности, предъявляемыми к преподавателям и ученым. При этом сочетание развлекательной и идентифицирующей функций дает автору возможность сблизиться с читателем на новом уровне, где наука, повседневность и чувство юмора «сплачиваются», генерируя новый формат площадки для научной дискуссии.

Рассмотренные выше примеры, а также большинство статей, послуживших материалом для настоящего исследования, указывают на другой типичный способ реализации идентифицирующей функции, актуализируемый в статьях с периферийной актуальностью темы исследования, а именно использование местоимения первого лица единственного и множественного числа как в аннотациях, так и в тексте статьи. С точки зрения традиционной лингвистики текста «я» и «мы» рассматриваются как средства реализации личностной референции, «обозначающие личность и ее роль в контексте речевой ситуации» [26. P. 263]. Использование местоимений «я» или «мы» позволяет эксплицировать информацию в рамках лингвистической экспоненты «автор–знание», т.е. «Я / мы полагаем / утверждаем / считаем...» и т.п. Однако с точки зрения реализации дискурса, в том числе научного, данные местоимения смещают «ось» текстовой информации в сторону межличностной экспоненты «автор – читатель» [27]. Иными словами, функционируя в составе дискурсивных практик обмена информацией, местоимения «я» и «мы» отражают отношения вне границ семан-

тики текста как такового, но в рамках более обширной области социальных ролей и взаимоотношений.

Стоит отметить, что исследование дискурсивных особенностей употребления местоимения первого лица единственного и множественного числа требует сужения рамок анализа до определенных типов институционального дискурса, так как разные типы институционального дискурса могут «наделять» данное местоимение разнородными функциями, подразумевающими включение или, наоборот, отстранение референта от текста и целевой аудитории. Так, например, по замечанию М. Халлидея и Р. Хасан [27. Р. 53], местоимение «мы», используемое врачом в рамках медицинского дискурса, может рассматриваться как стратегия кооперации (например, «How are we feeling today?»), в то время как в рамках публицистического дискурса то же местоимение позволит автору говорить одновременно за себя и за ряд коллег, подчеркивая единство людей, сплоченных коллективными интересами [28].

Анализируя использование местоимений «я» и «мы» в научном дискурсе, необходимо в первую очередь обозначить специфику их функционирования именно в англоязычных научных текстах. Согласно сравнительному исследованию, проведенному И. Вассилевой [29], корпусный анализ значительного объема данных свидетельствует об очевидно более выраженной тенденции к использованию этих местоимений в англоязычных публикациях по сравнению с публикациями, написанными на немецком, французском, русском и болгарском языках:

- местоимение «я»: 69% в английском, 47% в немецком, 40% во французском, 0,5% в русском, 6% в болгарском;

- местоимение «мы»: 31% в английском, 53% в немецком, 60% во французском, 95,5% в русском, 94% в болгарском [Ibid. Р. 165].

При этом автор приходит к выводу, что ключевая функция, реализуемая при выражении «авторского присутствия» («author presence») посредством использования местоимения первого лица единственного или множественного числа, заключается в определении границ «авторской ответственности» («author responsibility»), когда местоимение «я» позволяет исследователю позиционировать себя через дискурс в качестве единственного автора, ответственного за содержание статьи, в то время как местоимение «мы» служит индикатором коллективной мысли и одновременно инструментом отрицания соревновательного подхода [Ibidem].

Анализ данной проблемы в контексте исследования англоязычных научных публикаций с периферийной актуальностью темы исследования показал наличие устойчивой и преобладающей тенденции к использованию местоимений «я» и «мы», что можно проследить на примере материалов, рассмотренных выше в настоящей статье. Однако в качестве основной причины или мотива выражения авторского присутствия в публикациях рассматриваемого формата выступает, на наш взгляд, не параметр «ответственности», а стремление автора к самоидентификации и сближению с читателем, что становится возможным благодаря установлению менее

строгих рамок научной риторики. Наиболее ярким примером может служить статья «Suitable research: on the development of a positive theory of the business suit» [30], в которой местоимения «я» и «мы» используются последовательно на протяжении всего текста научной публикации, посвященной изучению переменных, обуславливающих выбор делового костюма молодыми бизнесменами, а также экономических предпосылок и последствий модных пристрастий, встречающихся в деловых кругах:

*For years **I have been fascinated** by the phenomenon of the business suit. Why is a suit the prevalent attire for business people? Why is it especially predominant among accountants and auditors? **Can we explain** the variations in color, cut, number of pieces, etc., that we so readily observe? **Can we predict** how the choice of a business suit will be affected by changes in the underlying variables? If and when constructed, a Positive Theory of the Business Suit **will allow us** to explain and predict these phenomena.*

*Some research has been conducted in this area. However, **you will agree with me** that previous studies have been predominantly normative and that the economic viewpoint has been relatively neglected. Yet, it is evident that this is an area where real economic costs are involved. What is more, these costs are borne in the first instance by the economic actors themselves. **We therefore need** an economic theory to explain why young executives already choose to wear a suit when they are just entering the firm. Hence, **I posit such a theory** based upon the self-interest of the actors and **I show** that (expected) economic benefits are involved as well. Furthermore, **I indicate** how these costs and benefits change as the executive climbs the organizational ladder and **I predict** how this will affect the choice of his suit. In particular, **I show** how the cost burden gradually shifts towards the firm transforming the business suit from a private cost to a corporate perquisite. For the top executives, **I show** how potential conflicts of interest may thus arise between them and their principals, the shareholders, and how these conflicts will be resolved in the employment contracts [Ibid. P. 105].*

Рассмотренный фрагмент научного текста отмечен использованием местоимения «я» в качестве не столько предпочтительного или превалярующего, но единственно доминирующего способа языковой идентификации автора, причем в качестве отдельной дискурсивной особенности в данном случае можно выделить намеренно повторяющееся применение конструкций, начинающихся с «я» (анафора), таких как «я утверждаю», «я показываю», «я иллюстрирую» и «я предсказываю», что особенно нехарактерно для традиционных статей как элементов научного дискурса. Местоимение «мы» служит инструментом сближения автора и читателя, идентифицируя их как заинтересованных лиц, объединенных общими стремлениями и задающихся одинаковыми исследовательскими вопросами. Как можно заметить, автор также прибегает к прямой апелляции к читателю через местоимение «вы» («you will agree with me»), что может рассматриваться как еще более настойчивая попытка к сближению с читателем.

Наконец, идентифицирующая функция в англоязычных научных публикациях с периферийной актуальностью темы исследования находит про-

дуктивное выражение через упомянутые ранее в статье прецедентные референции, посредством которых автор позиционирует себя в качестве не отдельного индивида, а представителя социокультурного сообщества, объединяющего его с читателем. В данном контексте на передний план выходят положения теории, выдвинутой Д.Б. Гудковым [31], который выделил несколько уровней прецедентности, формирующей сознание индивида:

- автопрецедентные референции порождают ассоциативные ряды, эмоции и представления сугубо личного характера и в первую очередь связаны с опытом, воспоминаниями, хронологией, людьми, событиями и знаниями, которые попадают под определение неповторимого, индивидуального опытного и эмоционального «багажа», связанного в сознании реципиента с соответствующими концептами реальной действительности. Например, проводя мысленную ассоциативную аналогию при анализе прецедента, осуществляющего отсылку к стеклянному стакану, результирующий образ в сознании разных людей может быть реализован в виде газировки из автомата, крепкого алкогольного напитка, памятного сувенира, продукции стекольного завода и т.д. Другими словами, вероятность вариации ассоциативного значения, порождаемого данным видом прецедента у разных индивидов, оказывается очень высокой в силу различия имеющегося у людей опыта;

- социумно-прецедентные референции представляют собой отсылки, в той или иной степени известные представителю того или иного социума и являющиеся частью так называемого «коллективного когнитивного пространства». Это пространство может быть ограничено, например, рамками религиозного, профессионального, семейного и других видов социума. Так, библейские тексты будут считаться отчетливо прецедентными для представителей религиозного социума, а теория моделирования экономических процессов станет прецедентом для специалистов в области экономики (профессиональный социум) и т.д. [32];

- национально-прецедентные референции расширяют рамки результирующих ассоциативных представлений еще больше, входя в когнитивную базу целого лингвокультурного сообщества. В данном случае вероятность вариации ассоциативного значения, порождаемого у разных индивидов, значительно снижается, так как такие прецеденты оказываются знакомыми для более широких групп людей;

- универсально-прецедентные референции известны большинству людей и входят в универсальное когнитивное пространство человечества. Другими словами, вероятность узнаваемости универсально-прецедентного феномена может быть описана как наиболее высокая.

Таким образом, используя прецедентную референцию, автор получает возможность идентифицировать себя в рамках двух «узких» областей коллективного позиционирования – социумно-прецедентного и национально-прецедентного, в то время как автопрецедентные и универсально-прецедентные референции стали бы маркерами эгоцентрированного или, соответственно, чрезмерно генерализированного дискурсивного оформления

научного текста. В то же время сама возможность раскрытия социокультурной идентичности автора в рамках научного дискурса в очередной раз указывает на уникальность подобного рода публикаций как специфического формата научного письма.

Необходимо отметить, что, хотя анализируемый феномен не может рассматриваться в качестве масштабного явления, статьи подобного формата представляют собой интересный пример нетрадиционных дискурсивных практик и могут стать предметом более детального изучения в научной литературе.

Литература

1. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов н/Д : Феникс, 2010. 562 с.
2. Кравцова Е.В. Научный дискурс как вид институционального типа дискурса // Вестник ЮУрГУ. 2012. № 25. С. 130–131.
3. Шашенкова Е.А. Исследовательская деятельность: словарь. М. : Перспектива, 2010. 88 с.
4. Oxoby R.J. On the efficiency of AC/DC: Bon Scott versus Brian Johnson // *Economic Inquiry*. 2009. № 47 (3). P. 598–602. DOI: 10.1111/j.1465-7295.2008.00138.x
5. Карчаева С.Х. Дискурсивность научного текста : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Нальчик, 2010. 24 с. URL: <https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/112347/0-786116.pdf?sequence=1> (дата обращения: 29.07.2018).
6. Ивин А.А. Современная философия науки. М. : Directmedia, 2015. 838 с.
7. Болдырева А.А., Кашкин В.Б. Категория авторитетности в научном дискурсе // *Язык, коммуникация и социальная среда*. 2006. № 1. С. 58–70.
8. Семенов И.С. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса // *Мировая экономика и международные отношения*. 2015. № 59 (11). С. 91–102.
9. Hamilton C.E., Carter-Thomas S. Competing influences: the impact of mode and language on verb type and density in French and English scientific discourse // *CHIMERA: Romance Corpora and Linguistic Studies*. 2016. № 4 (1). P. 13–34.
10. Long K.P. *Gender and scientific discourse in early modern culture*. Routledge, 2016. 312 p.
11. Dorgeloh H., Wanner A. Formulaic argumentation in scientific discourse // *Formulaic Language*. 2009. № 83. P. 523.
12. Shehzad W. Explicit author in scientific discourse: a corpus-based study of the author's voice // *Malaysian Journal of ELT Research*. 2016. № 3 (1). P. 18.
13. Livnat Z. Impersonality and grammatical metaphors in scientific discourse. The rhetorical perspective // *Lidil. Revue de linguistique et de didactique des langues*. 2010. № 41. P. 103–119.
14. Meneghini R., Packer A.L. Is there science beyond English? Initiatives to increase the quality and visibility of non-English publications might help to break down language barriers in scientific communication // *EMBO reports*. 2007. № 8 (2). P. 112–116. DOI: 10.1038/sj.embor.7400906
15. Kulczycki E., Engels T.C., Pölönen J., Bruun K., Dušková M., Guns R., Zuccala A. Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries // *Scientometrics*. 2018. № 1 (116). P. 463–486.
16. Flowerdew J. Some thoughts on English for research publication purposes (ERPP) and related issues // *Language Teaching*. 2015. № 48 (2). P. 250–262.

17. Francis-Tan A., Mialon H.M. «A diamond is forever» and other fairy tales: the relationship between wedding expenses and marriage duration // *Economic Inquiry*. 2015. № 53 (4). P. 1919–1930. DOI: 10.1111/ecin.12206
18. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М. : ИТДГК Гнозис, 2003. 288 с.
19. Красных В.В. Когнитивная база и прецедентные феномены в системе других единиц и в коммуникации // *Вестник МГУ*. 1997. № 9 (3). С. 62–75.
20. Dixit A. An option value problem from Seinfeld // *Economic Inquiry*. 2012. № 50 (2). P. 563–565. DOI: 10.1111/j.1465-7295.2011.00377.x
21. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М. : Academia, 2000. 128 с.
22. Malyuga E., McCarthy M. English and Russian vague category markers in business discourse: linguistic identity aspects // *Journal of Pragmatics*. 2018. № 135. P. 39–52. DOI: 10.1016/j.pragma.2018.07.011
23. Choi J.P. Up or down? A male economist's manifesto on the toilet seat etiquette // *Economic Inquiry*. 2011. № 49 (1). P. 303–309. DOI: 10.1111/j.1465-7295.2009.00277.x
24. Levins R.A. The whimsical science // *Applied Economic Perspectives and Policy*. 1992. № 14 (1). P. 139–151. DOI: 10.2307/1349614
25. Attema A.E., Brouwer W.B.F., Van Exel J. Your right arm for a publication in AER? // *Economic Inquiry*. 2014. № 52 (1). P. 495–502. DOI: 10.1111/ecin.12013
26. Cherry R.D. Ethos versus persona: self-representation in written discourse // *Written communication*. 1988. № 5 (3). P. 251–276.
27. Halliday M.A.K., Hasan R. Cohesion in English. London : Longman, 1976. 375 p.
28. Smirnova A. Argumentative use of reported speech in British newspaper discourse // *Text & Talk*. 2012. № 32 (2). P. 235–253.
29. Vassileva I. Who am I/who are we in academic writing? A contrastive analysis of authorial presence in English, German, French, Russian and Bulgarian // *International Journal of Applied Linguistics*. 1998. № 8 (2). P. 163–190.
30. Schreuder H. Suitable research: on the development of a positive theory of the business suit // *Accounting, Organizations and Society*. 1985. № 10 (1). P. 105–108. DOI: 10.1016/0361-3682(85)90034-0
31. Гудков Д.Б. Прецедентные феномены в языковом сознании и межкультурной коммуникации : дис. ... д-ра филол. наук. М., 1999. 400 с.
32. Malyuga E.N., Krouglov A., Tomalin B. Linguo-cultural competence as a cornerstone of translators' performance in the domain of intercultural business communication // *xLinguae*. 2018. № 11 (2). P. 566–582. DOI: 10.18355/XL.2018.11.02.46

Emergent Trends in English Scientific Discourse: Issues of Research Relevance and Linguistic Identity

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2019. 58. 52–70. DOI: 10.17223/19986645/58/4

Elena N. Malyuga, RUDN University (Peoples' Friendship University of Russia) (Moscow, Russian Federation). E-mail: malyuga_en@rudn.ru

Keywords: scientific discourse, identity, scientific publication, scientific article, relevance of research, discourse marker, identifying function, precedent.

The publication was prepared with the support of the “RUDN University Program 5-100”.

The object of this study is English scientific discourse with a scientific text viewed as its unit. The subject of the study is represented by topic relevance and research methodology as parameters of a scientific text. The hypothesis of the study postulates that modern English scientific discourse has accommodated a clearly identifiable unconventional format for the construction of scientific rhetoric. The essence of this format is that topic relevance is

deliberately assigned a peripheral role, while research methodology, on the contrary, comes to the foreground, thus turning into the key goal of the scientific endeavor in general. This format is characterized as unique, inasmuch as it incorporates two interrelated and clearly contrasting components of a scientific text – the “peripheral” relevance of the topic of a study and priority ranking of its methodology. The key aim of the present article is to analyze the discursive peculiarities of this type of scientific texts in English scientific discourse. The material for the study is represented by English research articles on economics published in high-rated peer-reviewed journals. The methodology for assessing topic relevance implied assessing its feasibility against the following parameters: its theoretical significance; its practical significance; and the potential to address a specific, generally valid and/or scientific problem by exploring this topic. As a result of the study, the author identifies three peculiarities of this kind of articles: preservation of the gnostic function, realization of the entertaining function, and better potential for author’s self-identification. The specifics of the discursive aspects of the format under discussion is described through the terminology used, the phenomenon of precedence, discursive markers, the use of the pronoun “P”. The author concludes that with this type of format in English scientific discourse the scientific text simultaneously loses and acquires significance depending on the reader’s appraisal, whereby the reader can view the scientific publication as irrelevant in the light of the irrelevance of the immediate topic of research, or regard it as a relevant contribution to the theoretical comprehension of the methodology to be used in addressing scientific issues. The author also postulates that although this phenomenon does not acquire massive proportions, articles with peripheral relevance of research topic can be considered an interesting example of non-traditional discursive practices and can become subject of more detailed research in the future.

References

1. Matveeva, T.V. (2010) *Polnyy slovar' lingvisticheskikh terminov* [A comprehensive dictionary of linguistic terms]. Rostov-on-Don: Feniks.
2. Kravtsova, E.V. (2012) Research discourse as type of institutional discourse. *Vestnik YuUrGU – Bulletin of the South Ural State University*. 25. pp. 130–131. (In Russian).
3. Shashenkova, E.A. (2010) *Issledovatel'skaya deyatel'nost': slovar'* [Research activities: a dictionary]. Moscow: Perspektiva.
4. Oxoby, R.J. (2009) On the efficiency of AC/DC: Bon Scott versus Brian Johnson. *Economic Inquiry*. 47 (3). pp. 598–602. DOI: 10.1111/j.1465-7295.2008.00138.x
5. Karchaeva, S.Kh. (2010) *Diskursivnost' nauchnogo teksta* [Discursiveness of a research text]. Abstract of Philology Cand. Diss. Nalchik. [Online] Available from: <https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/112347/0-786116.pdf?sequence=1>. (Accessed: 29.07.2018).
6. Ivin, A.A. (2015) *Sovremennaya filosofiya nauki* [Modern philosophy of science]. Moscow: Directmedia.
7. Boldyreva, A.A. & Kashkin, V.B. (2006) *Kategoriya avtoritetnosti v nauchnom diskurse* [The category of authority in academic discourse]. *Yazyk, kommunikatsiya i sotsial'naya sreda – Language, Communication and Social Environment*. 1. pp. 58–70.
8. Semenenko, I.S. (2015) Nations, Nationalism, National Identity: New Dimensions in Academic Discourse. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. 59 (11). pp. 91–102. (In Russian).
9. Hamilton, C.E. & Carter-Thomas, S. (2016) Competing influences: the impact of mode and language on verb type and density in French and English scientific discourse. *CHIMERA: Romance Corpora and Linguistic Studies*. 4 (1). pp. 13–34.
10. Long, K.P. (2016) *Gender and scientific discourse in early modern culture*. Routledge.
11. Dorgeloh, H. & Wanner, A. (2009) Formulaic argumentation in scientific discourse. *Formulaic Language*. 83.

12. Shehzad, W. (2016) Explicit author in scientific discourse: a corpus-based study of the author's voice. *Malaysian Journal of ELT Research*. 3 (1).
13. Livnat, Z. (2010) Impersonality and grammatical metaphors in scientific discourse. The rhetorical perspective. *Lidil. Revue de linguistique et de didactique des langues*. (41). pp. 103–119.
14. Meneghini, R. & Packer, A.L. (2007) Is there science beyond English? Initiatives to increase the quality and visibility of non-English publications might help to break down language barriers in scientific communication. *EMBO reports*. 8 (2). pp. 112–116. DOI: 10.1038/sj.embor.7400906
15. Kulczycki, E. et al. (2018) Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries. *Scientometrics*. 1 (116). pp. 463–486.
16. Flowerdew, J. (2015) Some thoughts on English for research publication purposes (ERPP) and related issues. *Language Teaching*. 48 (2). pp. 250–262.
17. Francis-Tan, A. & Mialon, H.M. (2015) “A diamond is forever” and other fairy tales: the relationship between wedding expenses and marriage duration. *Economic Inquiry*. 53 (4). pp. 1919–1930. DOI: 10.1111/ecin.12206
18. Gudkov, D.B. (2003) *Teoriya i praktika mezhkul'turnoy kommunikatsii* [Theory and practice of intercultural communication]. Moscow: ITDGK Gnozis.
19. Krasnykh, V.V. (1997) Kognitivnaya baza i pretsedentnye fenomeny v sisteme drugikh edinit i v kommunikatsii [Cognitive basis and precedent phenomena in the system of other units and in communication]. *Vestnik MGU – MSU Vestnik*. 9 (3). pp. 62–75.
20. Dixit, A. (2012) An option value problem from Seinfeld. *Economic Inquiry*. 50 (2). pp. 563–565. DOI: 10.1111/j.1465-7295.2011.00377.x
21. Slyshkin, G.G. (2000) *Ot teksta k simvolu: lingvokul'turnye kontsepty pretsedentnykh tekstov v soznanii i diskurse* [From text to symbol: linguocultural concepts of precedent texts in consciousness and discourse]. Moscow: Academia.
22. Malyuga, E. & McCarthy, M. (2018) English and Russian vague category markers in business discourse: linguistic identity aspects. *Journal of Pragmatics*. 135. pp. 39–52. DOI: 10.1016/j.pragma.2018.07.011
23. Choi, J.P. (2011) Up or down? A male economist's manifesto on the toilet seat etiquette. *Economic Inquiry*. 49 (1). pp. 303–309. DOI: 10.1111/j.1465-7295.2009.00277.x
24. Levins, R.A. (1992) The whimsical science. *Applied Economic Perspectives and Policy*. 14 (1). pp. 139–151. DOI: 10.2307/1349614
25. Attema, A.E., Brouwer, W.B.F. & Van Exel, J. (2014) Your right arm for a publication in AER? *Economic Inquiry*. 52 (1). pp. 495–502. DOI: 10.1111/ecin.12013
26. Cherry, R.D. (1988) Ethos versus persona: self-representation in written discourse. *Written Communication*. 5 (3). pp. 251–276.
27. Halliday, M.A.K. & Hasan, R. (1976) *Cohesion in English*. London: Longman.
28. Smirnova, A. (2012) Argumentative use of reported speech in British newspaper discourse. *Text & Talk*. 32 (2). pp. 235–253.
29. Vassileva, I. (1998) Who am I/who are we in academic writing? A contrastive analysis of authorial presence in English, German, French, Russian and Bulgarian. *International Journal of Applied Linguistics*. 8 (2). pp. 163–190.
30. Schreuder, H. (1985) Suitable research: on the development of a positive theory of the business suit. *Accounting, Organizations and Society*. 10 (1). pp. 105–108. DOI: 10.1016/0361-3682(85)90034-0
31. Gudkov, D.B. (1999) *Pretsedentnye fenomeny v yazykovom soznanii i mezhkul'turnoy kommunikatsii* [Precedent phenomena in linguistic consciousness and intercultural communication]. Philology Dr. Diss. Moscow.
32. Malyuga, E.N., Krouglov, A. & Tomalin, B. (2018) Linguo-cultural competence as a cornerstone of translators' performance in the domain of intercultural business communication. *xLinguae*. 11 (2). pp. 566–582. DOI: 10.18355/XL.2018.11.02.46

УДК 811.111

DOI: 10.17223/19986645/58/5

Н.А. Трофимова, В.В. Мамцева

ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖЕНСКИХ ЗАПАХОВ ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ РОМАНТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Рассмотрена проблема описания вербальной репрезентации женских запахов искусственного происхождения в рамках романтического общения. После краткого обзора способов описания запаха в целом проводится анализ языкового выражения различных характеристик запаха женщины, выявляются специфические особенности использования единичных лексем для передачи запаховых ощущений. В заключении приводится текстовая репрезентация когнитивной модели женской ольфакторности, соединяющая все описанные языковые факты в логически связанный сценарий и наглядно демонстрирующая объем и внутреннее смысловое содержание исследуемой предметной области.

Ключевые слова: запах женщины, метафора, синестезия, ольфакторная агрессия, одорический, романтический дискурс.

Постановка вопроса. Настоящая статья посвящена рассмотрению лингвистической репрезентации феномена «запах», который, будучи первобытным инстинктом, «братом дыхания», проникает в самую глубину, прямо в сердце и выносит категорическое суждение о симпатии и презрении, об отвращении и влечении, о любви и ненависти [1. С. 188]. Особый интерес авторов статьи связан с исследованием роли и средств вербализации запаха в романтическом общении, под которым понимается эмоциональное взаимодействие влюбленных индивидов, «осуществляющих обмен эмотивными вербальными и невербальными знаками» [2. С. 5]. Материалом исследования послужили текстовые фрагменты, отобранные из произведений современной художественной литературы жанра «любовный роман» на немецком языке. В качестве единицы исследования рассматривается выраженная в тексте коммуникативная эмоциональная ситуация, в которой, как известно, восприятие участников общения специфически обострено, а запахи партнера и окружающей среды становятся эмоциональным фоном общения, создают уникальное психофизиологическое состояние любящих, неконтролируемое сознанием. Доминантой ольфакториума в романтическом дискурсе является наполненное образностью описание запаха женщины, избранное предметом рассмотрения в настоящей статье. Основой анализа стала вербальная репрезентация женского запаха искусственного происхождения в контексте романтических отношений с мужчиной, воздействующего на влюбленного партнера на подсознательном уровне и манипулирующего его физиологическими реакциями.

Проблема описания запаха. Запах – исключительно сложный для описания феномен, поскольку его восприятие очень субъективно, а описание средствами языка представляет собой существенную проблему в связи с отсутствием собственного запахового вокабуляра: «Семантического поля запахов не существует. Понятие запаха включает лишь общие термины для таких субкатегорий, как “зловоние» и “благоухание»» [3. С. 86]. Иначе говоря, основной способ описания запаха представляет собой его гедонистическую оценку, т.е. деления ольфакторности по принципу приятное / неприятное [4. S. 99]. Взрослый человек, имеющий некоторый ольфакторный опыт, способен вербализовать ассоциативные нюансы гедонистической оценки при помощи сильнооценочных прилагательных *unverwechselbar / herrlich / göttlich / wunderbar* и под. запах (приятный) или *abstoßend / schrecklich / widerlich / unerträglich* и под. запах (неприятный). С точки зрения прототипической теории категоризации мы имеем дело с градуальной биполярной категорией ольфакторной перцепции, в основе которой находятся две ядерные лексемы: приятный / неприятный (запах). Все остальные вербальные обозначения запаха (как, например, вышеуказанные прилагательные и им подобные) рассматриваются как элементы этой категории, более или менее отдаленные от прототипических центров [5. S. 186].

Еще одним традиционным способом описания запаха является указание на источник запаха или название запаха-ориентира по формуле *x riecht / duftet / stinkt nach y* (*der Geruch/Duft / Gestank von y*) с небольшими вариациями, при помощи которой мы «нащупываем» точную ассоциацию в памяти для описания нашего обонятельного ощущения. Всего несколько лексем (*Geruch, Duft, Gestank* и соответствующие глаголы) используются в качестве ядра одорем – словосочетаний, употребляемых при обозначении запаха. Они различаются направлением оценки запаха: *der Geruch (riechen)* обозначает нейтральный запах, просто констатирует наличие запаха, не концентрируясь на его положительности или отрицательности. Лексемы *der Duft (duften)* и *der Gestank (stinken)*, одорические антонимы, обозначают положительный (приятный аромат) и отрицательный (неприятный, смрад, вонь) запахи соответственно: *der Duft der Rosen, der Duft von Pfefferminz; der Gestank einer Wanze, der Gestank des Friedhofs*. Эти лексемы являются удобными эвокационными сигналами, кратко, одним словом воссоздающими в памяти определенный обонятельный образ [6. С. 8]: *Zu allem Überfluss wehte aus dem Backhaus der Duft von frischem Brot herüber (Bonn)*. Интересное замечание в связи с семантикой базового глагола *riechen*: в немецком языке не фиксируется оппозиция, отражающая восприятие запаха (активное или пассивное) и проявление запаха как свойства (ср. в русском языке: *нюхать – обонять – пахнуть*), значения восприятия и проявления запаха выражается одним и тем же глаголом *riechen* [7. С. 6].

Третий способ описания запаха – метафоры, оценивающие и объясняющие ольфакторную реальность. Наиболее репрезентативным классом ольфакторных метафор являются синестезии, интегрирующие чувственные восприятия различных модальностей и достигающие таким образом значи-

тельной когнитивной интенсивности и коммуникативной плотности изложения / описания положения дел [8. S. 66]: <...> *die neue Frau ihres Vaters steht mittlerweile ganz nah bei ihr und strömt einen süßen und bitteren dichten Duft nach Parfum und nach sich selbst aus* (Stangl). Очевидно, что прилагательные *süß*, *bitter* и *dicht* употреблены в приведенном примере не в буквальном смысле, здесь налицо метафорический перенос значения из сферы вкуса (*süß*, *bitter*) и сферы осязания (*dicht*) в сферу запаха. С точки зрения гедонистической оценки эти прилагательные репрезентируют скорее домен неприятный (запах): *riecht süß, bitter und dicht* = *rieht schwer* = *rieht unangenehm*, в приведенном контексте эта оценка детерминирована еще и психологическим фактором – индивидуальным неприятием лица, «носящего» описываемый запах.

Синестетические метафоры наполняют описание запаха специфическим содержанием, определяют ситуативно значимые признаки запаха. Включенные в семантическую структуру синестезий описания эмоциональных психофизиологических соощущений положительной или отрицательной направленности передают эмоциональное переживание обонятельного ощущения субъектом восприятия запаха [9. С. 124–125]. Этот факт является доминирующим в настоящем изложении, поскольку именно эмоциональное восприятие определяет выбор обозначений для воспринимаемого в ситуации романтического общения запаха.

Описание запаха женщины в романтическом дискурсе. Из исследований биологов известно, что запах противоположного пола экзистенциально привлекателен, этот аспект восприятия запаха называют сегодня даже шестым чувством, позволяющим неосознанно, только по запаху выбирать партнера. Восприятие запаха настолько важно в ситуациях романтического общения, что для обозначения этого процесса вместо глагола *riechen* используется метафора *atmen*, соотносящаяся с первобытным инстинктом, идеей жизни, не требующей никакого «украшения» в виде определений или обстоятельств: *Er atmete ihren Duft* (Berger). Поэтому логично, что описание физиологического воздействия запаха является одной из важнейших тематических областей при создании одорического образа представительниц слабого пола. Даже если создатель художественного произведения просто констатирует факт наличия такого возбуждающего влияния, сознание взрослого читателя, имеющего ольфакторный опыт, рождает представление о возможных последствиях женской запаховой «атаки»: *Sie ging an mir vorbei, und ich sah ihr Gesicht nicht, aber ihr Duft entfachte mein Begehren. Bilder der Lust, die ich mit ihr erleben möchte* (Paolo). Вторжение запаха духов любимой женщины в личное пространство мужчины делает его одержимым, разжигает его любовную страсть: *Ihr Parfum Jan beschwört immer ihre unsichtbare Anwesenheit herauf. Ist sie fern, so zieht es mich unwiderstehlich an, ist sie hier, dann erregt es mich wie ein heiliger Zauber* (Paolo). В следующем текстовом фрагменте подчеркивается, что искусно подобранная парфюмерия способна усилить влечение мужчины даже в самом преклонном возрасте: *Brust und Haare hatte (sie) so stark gesalbt, dass selbst ein Greis noch Feuer fing* (Faure).

Изучение искусственного запаха женщины невозможно представить без обращения к проблеме тела и телесности, так как, рассуждая об эротичности парфюма, мы в первую очередь говорим о запахе тела женщины. Стремление завуалировать естественные запахи, подавить запах тела с помощью искусственных одорантов, сделать его более приятным и привлекательным становится обязательным условием зарождения «горячих» желаний. Так, перед первой близостью для ольфакторного «украшения» тела употребляются запахи распускающихся цветов, выступающие недвусмысленным символом невинности, свежести и прелести возлюбленной: *Ehe sie zu ihrem Bräutigam ging, begab sie sich in die Hände ihrer Dienerinnen, die als erstes ihre zarten Glieder mit duftender Salbe aus Jasmin- und Keyata-Blüten einrieben* (Paolo). Но и в ситуациях, когда интимный опыт возлюбленной не подлежит сомнению, правильный подбор ароматов способен произвести нужное эмоциональное впечатление на мужчину, завлечь его целой гаммой улаждающих и эротизирующих запахов: *Im Sommer parfümieren sich die schönen Damen am Hofe ihre Brüste mit Öl vom Sandelholz, die Haare mit Jasminöl, den Körper mit Rosenwasser. So sind sie bereit für die Liebe* (Paolo). Опытные соблазнительницы знают правильное сочетание одорантов для воздействия на партнера: обладающий расслабляющим действием запах сандалового дерева, жасминовое масло, а также розовая вода, вызывающая симпатию с первого взгляда [10. С. 62–74]. Для создания «музыки тела», устранения его естественных запахов и ольфакторной эротизации атмосферы общения парфюмируются гениталии и нижнее белье [11. С. 180].

Анализ особенностей вербальной репрезентации воздействия женского парфюма позволяет выделить значимость отдельных лексических единиц в качестве средств передачи обонятельных ощущений.

Ценность духов женщины заключается в том, что они являются одним из действенных средств управления впечатлением партнера. Неоднократно под воздействием эмоций прослеживаются мотивы, в которых искусственный запах может подавлять своей агрессивностью соперника и привлекать партнера. Следовательно, наименования, отражающие провокационный характер запаха женщины, выделяются в отдельную категорию запахов-агрессоров.

Агрессивный характер запаха возлюбленной проявляется в том, что он не имеет границ, в состоянии влюбленности партнер не может перестать его обонять. Подобное принудительное восприятие запаха женщины формирует в сознании влюбленного мужчины образ живого существа, детерминирующего его психофизиологическое состояние. Ведущим средством репрезентации такого одорического образа становится метафорически переосмысленная предикатная лексика обонятельного восприятия женских духов. Так, шлейф парфюма женщины из объекта восприятия превращается в равноправного участника коммуникации, захватывающего власть над влюбленным мужчиной. Изменения в эмоциональной сфере, стимулируемые духами женщины, подтверждаются, например, метафорическим фразеосочетанием *den Atem verschlagen: Ihr intensives, für eine Frau ihres Alters viel zu schweres Parfüm verschlug ihm fast den Atem <...>* (Emme).

В группу глаголов со значением психического воздействия можно также отнести метафорическое переосмысление глаголов *verfolgen*, *überfallen*. В примерах ниже показано, что парфюм любимой женщины оказывает агрессивное влияние на мужчину: преследует его, воздействует на его поведение и настроение, лишает возможности сопротивляться физиологическому влечению: *Der Duft ihres Parfüms überfiel ihn. Seine Hand glitt hinüber. Er berührte ihre Schenkel. Sie öffneten sich, und seine Lust auf Lyssi verdrängte für Sekunden um ihn her alle Farben und Geräusche* (Berger).

Запах женщины оказывает воздействие как невидимый «диверсант», скрыто, ползком проникающий на «территорию» мужчины и совершающий там действия, подрывающие его моральные устои: *Ein Hauch ihres ... Parfüms kroch in seine Nase und der junge Mann ertappte sich dabei, sich vorzustellen, wie es wäre, sie anzufassen und zu küssen* (Vertacnik).

Немаловажную роль в формировании агрессивного воздействия парфюма женщины играют метафорические переносы значений производных форм глаголов – причастий **betörend**, **betäubend**, **berauscht**, которые репрезентируют запах как чарующее и пьянящее приворотное зелье для партнера: *Sie löste sich nur langsam, genoss sie seine Berührung? Er sog tief ihr Parfüm ein, der Duft war frisch, blumig und dennoch betörend* (Buttler); *Sie verwendete das gleich schwere, betäubende Parfüm wie damals, streichelte über Widos Hüften, fühlte seine Wärme* (Schneeweiß); *Wenn ich sie umarme und sie mir die Lippen öffnet, bin ich berauscht vom Wein ihres Parfüms, das ich trinke* (Paolo).

Таким образом, глаголы *verfolgen*, *überfallen*, *betören*, *betäuben*, *berauschen* и их производные, не имеющие семантического компонента «способ восприятия запаха», метафорически передают действие специфического женского «химического оружия», убивающего мужчину наповал или оглушающего, одурманивающего его.

Коко Шанель называла духи аксессуаром, дающим знать о появлении женщины и продолжающим напоминать о ней, когда она ушла. Эта важная способность невидимой прекрасной «вуали» выражает индивидуальность женщины, ее характер, является частью внешнего эффекта, произведенного женщиной: *Als die Haustür mit einem schwungvollen Knall ins Schloss fiel, lag der Duft ihres neuen Parfüms noch in der Luft* (Artmeier); *Das Parfüm der Freundin schwappte in schweren Wellen zu Doreen herüber. Es überschrie den leichten Duft nach Kaffeebohnen, der in der Luft gelegen hatte, bevor sie gekommen war*. Представленные примеры наглядно демонстрируют, что в процесс метафоризации запаха вовлекаются глаголы со значением движения, перемещения, способа распространения парфюма возлюбленной: *in der Luft liegen*, *herüberschwappen*. Запах, будучи явлением неосознанным, не имеет свойств, выражаемых этими глаголами, однако их употребление в описании запаха женщины характеризует его как нечто материальное, окружающее влюбленного мужчину со всех сторон, заполняющее пространство вокруг него или набегающее на него волнами. Запах сравнивается с некоторым объектом, способным висеть (*hängen*) в воздухе, запол-

нять пространство вокруг: *Und die Frau trug ein dezentes Parfüm, dessen herbe Wildfruchtnote eine kurze Weile an der Bar hängen blieb, während sie selber bereits auf der andern Seite bediente (Lascaux).*

Иначе говоря, особенностью описания искусственного запаха возлюбленной является использование запахово-эмоциональных синестетических (синэстемических по С.Ф. Воронину [12]) способов описания восприятия женской ольфакторности, построенных на совмещении тактильных и запаховых впечатлений. Синестетический перенос в область обоняния осуществляется при помощи глаголов бытийно-посессивной семантики [13. С. 34–36] *tragen* или *auflegen*, представляющих парфюм женщины неким невидимым покрывалом, являющимся обязательным элементом ее внешнего образа: *Als sie erschien, lächelte sie wie ein Engel von Botticelli, und das Parfüm, das sie trug, hatte sie aus einem himmlischen Versandkatalog (Lascaux); Sie hatte wieder dieses Parfüm aufgelegt, das ihn so sehr an den Sommer erinnert hatte und an das Leben (Mader).*

Еще одной синестетической моделью при описании восприятия запаха является сравнение парфюма возлюбленной с некой жидкой субстанцией, впитываемой (*einsaugen, aufsaugen*) окружающими: *Er sog tief ihr Parfüm ein, der Duft war frisch, blumig und dennoch betörend (Buttler).* Духи уподобляются и хорошему вину, от которого слегка кружится голова: *Wenn ich sie umarme und sie mir die Lippen öffnet, bin ich berauscht vom Wein ihres Parfüms, das ich trinke (Paolo).* В запахе духов можно даже плыть как в водном потоке: *<...> sie stellt sich vor, ein Mann zu sein, diese Frau beim Tanzen in den Armen zu halten, durch den süßen, schweren Duft zu schwimmen wie durch die süßen schweren Klänge, all das auf sich wirken zu lassen (Stangl).*

Символическая составляющая запаха женщины во многом определяется ее оценочным восприятием. Для оценочной концептуализации внешних и внутренних качеств женщины используются оценочные прилагательные, характеризующие саму женщину, ее поведение, образ жизни. Важно отметить, что оценка отдельного свойства парфюма оказывает влияние на оценку женщины в целом. Так, в следующем высказывании прилагательное *auserlesen* применительно к духам женщины выражает признак изысканности ее образа: *Meine Freundin, nimm dieses Parfüm an, es enthält als Symbol den Duft meines Lebens. Deinem auserlesenen Parfüm opfere ich ein anderes, so wie man Bacchus Wein opfert, sein eigenes Elixier (Paolo).*

Значительную роль в описательной характеристике запаха женщины играет интенсивность, стойкость парфюма, его концентрация в воздухе. Так, например, для того чтобы подчеркнуть элегантность, изысканность женщины, указывают на небольшое количество нанесенного парфюма (*ein paar Tröpfchen des... Parfüms*), поскольку даже капелька аромата способна создать яркий образ, уникальную «музыку» на коже. Дополнительная оценка атрибутами *paradiesisch* придает всей модели субъективную характеристику: *Dann sprühte sie ein paar Tröpfchen des paradiesischen Parfüms auf ihre Finger und verrieb es hinter den Ohren (Lascaux).* Но стоит хоть немного превысить комфортную для окружающих концентрацию духов (*ein*

im leichten Übermaß aufgetragenes Parfüm), восприятие запаха перемещается в сферу агрессивного, лишаящего возможности дышать, и появляются враждебно «атакующие» метафоры восприятия (*in die Nase stechen*), как, например, в следующем примере: *Ihre Kleidung eine Mischung zwischen Eleganz und Gothic (...). Dazu stach ein im leichten Übermaß aufgetragenes Parfüm in die Nase, herb und aufregend, aber atemberaubend im wörtlichen Sinne (Lascalux).*

В ситуациях интимного общения парфюм возлюбленной является прочной «обонятельной основой» отношений, создает атмосферу близости. В этом факте подтверждается известное мнение Ж.Ж. Руссо о том, что чувство берет свое начало в обонянии, что запах и страсть неразделимы. Чувственный аромат заставляет сердце мужчины биться чаще, использовать при описании запаха атрибуты в превосходной степени: *Das Parfüm, das du immer bei dir trägst, oh Aphrodite, ist nicht nur das sinnlichste und verheißungsvollste für die Liebe, es verwandelt auch in Schönheit was wir sehen, so als ob es alle Dinge und alle Lebewesen zu glücklicher Schönheit machte (Paolo).*

Но искусственный запах женщины в романтическом дискурсе может наделяться гедонистической оценкой просто как «приятный запах», и тогда он превращается в средство внешней презентации гендерной идентичности женщины, для которой важно произвести первое впечатление, придать значимость своей личности, своим успехам. Запах в этом случае становится декоратором внешности и усилителем воздействия на мужчину. Для описания «приятности» запаха достаточно употребления прилагательного *gut*, которое в сочетании с интенсификатором (например, *verdammt* или *himmlisch*) создает нужное впечатление: *Sie trug einen schwarzen Rock, eine etwas tiefer ausgeschnittene, aber doch elegante weiße Bluse und eine schwarze Perlenkette. Zoff hätte zu gerne gewusst, welches Parfüm sie aufgetragen hatte. Jedenfalls roch es verdammt gut (Vertacnik).*

Очевидно, что минимальная структура языкового выражения ольфакторной оценки искусственного запаха женщины не обязательно репрезентируется прилагательными, относящимися к области обоняния. Социальная ольфакторная идентичность женщины выражается, например, прилагательным *teuer*, актуализирующим в запаховом контексте идею престижности, материального благополучия, возможности получения роскошного удовольствия, имеющего признак классовости: *Kurze Röckchen und dünne Blusen. Hohe Schuhe, die die Wadenmuskulatur strafften. Erstklassig geschminkte Gesichter, rosa glänzende Lippen und teure Düfte. Die Damen wollten gefallen. Sie wollten die Aufmerksamkeit erwachsener Männer auf sich ziehen. Sie wollten verführt werden. Sie forderten es heraus. Bezaubernd und kokett (Puhlfürst).*

Заключение. На основе представленного выше взгляда в мир запаха можно построить когнитивную модель женской ольфакторности в романтическом дискурсе как вывод-обобщение, который позволяет упорядочить описанные языковые факты, соединить их в единый, логически связанный сценарий [14. С. 408]. Эта модель объединяет семантические и функцио-

нальные особенности языковых средств, используемых для обозначения женского запаха – в первую очередь метонимических и метафорических (особенно синестетических) переносов, дополненных положительно-оценочными прилагательными. Приведенная ниже текстовая репрезентация максимально полной когнитивной модели «запах женщины» позволяет наглядно продемонстрировать объем и внутреннее смысловое содержание исследуемой предметной области.

Итак, запах женщины есть ее невидимая одежда или покрывающая ее вуаль, обязательный элемент декорирования внешности. Для романтического свидания «надевается» аромат, создающий впечатление невинности, укутывающий «красу и юность тела объятьем тайны». Для интимной встречи женщина «украшает» себя чувственным ароматом, вызывающим к глубинным инстинктам мужчины, обещающим негу и сладострастие. Запах дорогих духов репрезентирует статус и материальное благополучие женщины, характеризует ее изысканный вкус, в романтическом общении он становится символом элитного, статусного удовольствия.

Влюбленному мужчине запах женщины заменяет жизненно необходимый воздух, он дышит им и при его отсутствии просто задыхается. Эта летучая красота заполняет все окружающее пространство, становится ольфакторным автографом женщины, остается надолго после ее ухода.

В ситуациях страстной увлеченности женщиной ее запах представляется агрессором, он неодолим, присутствует повсюду, преследует тайно и явно, пронизывает влюбленного мужчину, проникает в его сознание, владеет его воспоминаниями, рушит его моральные устои, манипулирует его биологической сутью.

Влюбленный мужчина впитывает, пьет запах любимой женщины как дурманный напиток, как пьянящее вино, запах воспринимается как специфически действующий наркотик, кружащий голову и «привязывающий» сознание сильно и надолго.

Проведенный анализ показывает убедительность запаха женщины, который сильнее слов, очевидности, чувства и воли (П. Зюскинд). Исследование романтической ольфакторной топики позволяет не только проникнуть в многообразный вербальный мир сенсориума человека, но глубже постичь удивительное эйфорическое пограничное состояние сознания, которое мы называем любовью, решить парадоксальную ситуацию нахождения человека между субъективной эмоциональностью и рациональностью коллективного языка.

Литература

1. Трофимова Н.А. Роль одорических репрезентаций в процессе смыслопорождения (на материале романа П. Зюскинда «Парфюмер») // *Homo Loquens: Актуальные вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных языков*. СПб., 2012. Вып. 4. С. 188–197.

2. Ренц Т.Г. Романтическое общение в коммуникативно-семиотическом аспекте : дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2011. 196 с.

3. Риндисбахер Х.Д. От запаха к слову: Моделирование значений в романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» // Ароматы и запахи в культуре / пер. Я. Токаревой // Новое лит. обозрение. 2000. № 43. С. 86–101.
4. Vroon P., Amerongen A. van, Vrias H. de. Psychologie der Düfte. Zürich : Kreuz, 1996. 278 S.
5. Holz P. Cognition, olfaction and linguistic creativity // Speaking of colours and odors by M. Plümacher and P. Holz (Ed.). Amsterdam/Philadelphia : J. Benjamin Publishing Group, 2007. P. 185–202.
6. Куликова Н.А. Одорический код в художественном тексте: лингвоэвocationsное исследование (на материале художественной прозы А.П. Чехова) : дис. ... канд. филол. наук. Курск, 2010. 247 с.
7. Павлова Н.С. Лексика с семой «запах» в языке, речи и тексте : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2006. 20 с.
8. Holz P. Die Sprache des Parfüms. Eine empirische Untersuchung zur Grammatik, Metaphorik und Poetizität des Parfümwerbetextes. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2005. 308 s.
9. Молодкина Ю.Н. Синестетическая метафора запаха: корпусное исследование : дис. ... канд. филол. наук. Горно-Алтайск, 2010. 196 с.
10. Вайнштейн О.Б. Историческая ароматика: одеколон и пачули // Ароматы и запахи в культуре / сост. О.Б. Вайнштейн. Кн. 2. М., 2010. С. 440–466.
11. Ebberfeld I. Botenstoffe der Liebe: über das innige Verhältnis von Geruch und Sexualität. Münster : LIT Verlag, 2005. 252 S.
12. Воронин С.Ф. Основы фоносемантики. М. : URSS, 2009. 248 с.
13. Гейко Е.В. Смысловой тип пропозиции и его манифестация в современной русской речи: На материале высказываний, содержащих информацию о запахах : дис. ... канд. филол. наук. Омск, 1999. 191 с.
14. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990. С. 397–416.

Источники иллюстративного материала

1. Artmeier H. Drachenfrau. Meßkirch, 2011.
2. Buttler M. Herzraub. Meßkirch, 2011.
3. Berger R.W. Laura. Föritz, 2004.
4. Berger R.W. Spitzenrausch. Föritz, 2006.
5. Faure P. Magie der Düfte: eine Kulturgeschichte der Wohlgerüche von den Pharaonen zu den Römern. M. ; Zürich: Artemis-Verl., 1991.
6. Graf E. Leopardenjagd. Meßkirch, 2011.
7. Emme P. Pastetenlust. Meßkirch, 2011.
8. Lascaux P. Wurstthimmel. Meßkirch, 2011.
9. Paolo R. Auf der Suche nach den verlorenen Düften: eine aromatische Kulturgeschichte [aus den Italienischen von Heli Tortora]. M. : Hugendubel, 1995. 300 S.
10. Puhlfürst C. Leichenstarre. Meßkirch, 2011.
11. Schneeweiß H. Das, worin Vergehen waltet. Oberhausen, 1999.
12. Schröder A. Mordsliebe. Meßkirch, 2011.

Verbal Representation of Female Artificial Smells in German-Language Romantic Discourse

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2019. 58. 71–81. DOI: 10.17223/19986645/58/5

Nella A. Trofimova, Higher School of Economics (Saint Petersburg, Russian Federation), Pushkin Leningrad State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: nelart@mail.ru

Vera V. Mamtseva, Military University of the Ministry of Defence of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation) E-mail: rusosipova@gmail.com

Keywords: woman's smell, metaphor, synaesthesia, olfactory aggression, odorous, discourse of intimate communication.

The present article tackles the question of smell semantics and semiotics in the context of intimate communication of sexes. The authors analyze the linguistic representation of different characteristics of a woman's artificial smell and identify specific features of single lexemes' use for the transmission of olfactory sensations. The analysis shows that the main ways of describing smell are:

- 1) hedonic odor assessment: evaluation by the "pleasant / unpleasant" criterion,
- 2) naming the smell-reference (riecht nach / Geruch von),
- 3) metaphorical transfer, especially to other sensory spheres (synesthesia), which distinguishes situationally significant signs of odor.

These language devices are used with approximately equal frequency and depend on individual olfactory preferences and on being included in a certain context. This fact is especially relevant for the study of smell representation in the intimate, often irrational reality of lovers' communication.

When describing smell in the romantic discourse – one of lovers' communication – the main thematic area is the nomination of a physiological impact on a partner who feels the existential necessity of perceiving the smell of the beloved woman and desire for physical affinity. This effect is verbalized by metaphors which represent women's smell as an omnipresent peremptory aggressor pursuing the man in love, penetrating into his consciousness, owning his memories, destroying his moral foundations, manipulating his biological essence.

Smell is also often perceived as a poisonous substance that stupefies, deafens and intoxicates, emphasizing the insidious nature of the female smell, which acts on the invisible "front" secretly as a hidden saboteur.

An important means of describing female artificial smell in romantic discourse is sensory-emotional synesthesia that represents smell as a thirst quencher or a veil enveloping the beloved person with an invisible cloud. The smell of a beloved woman is delicious and sweet, gentle and sensual; its assessment takes the entire positive scale from "good" to "divine".

The symbolic component of a woman's smell is largely determined by her axiological perception, represented by evaluative adjectives that characterize the behavior, the way of life of a woman, and evaluate her as a whole. Adjectives are, in addition, a means of verbal presentation of a woman's gender identity with an emphasis on the importance of self-presentation, "adornment" with pleasant smells.

In conclusion, the authors give a textual representation of the cognitive model of the female artificial smell, which connects all linguistic facts described above into a single logically connected scenario. This model demonstrates the scope and the internal semantic content of the subject area.

References

1. Trofimova, N.A. (2012) Rol' odoricheskikh reprezentatsiy v protsesse smysloporozhdeniya (na materiale romana P. Zyuskinda "Parfumer") [The role of odoric representations in the process of meaning generation (based on P. Suskind's Perfume)]. *Homo Loquens: Aktual'nye voprosy lingvistiki i metodiki prepodavaniya inostrannykh yazykov* 4. pp. 188–197.
2. Rents, T.G. (2011) *Romanticheskoe obshchenie v kommunikativno-semioticheskom aspekte* [Romantic communication in the communicative-semiotic aspect]. Philology Dr. Diss. Volgograd.
3. Rindisbakher, Kh.D. (2000) Ot zapakha k slovu: Modelirovanie znacheniy v romane Patrika Zyuskinda "Parfumer" [From smell to word: Modeling values in Patrick Suskind's

Perfume]. Translated from English by Ya. Tokareva. *Novoe lit. obozrenie – New Literary Observer*. 43. pp. 86–101.

4. Vroon, P., Amerongen, A. Van & de Vrias, H. (1996) *Psychologie der Düfte*. Zürich: Kreuz.

5. Holz, P. (2007) Cognition, olfaction and linguistic creativity. In: Plümacher, M. & Holz, P. (eds) *Speaking of colours and odors*. Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamin Publishing Group.

6. Kulikova, N.A. (2010) *Odoricheskiy kod v khudozhestvennom tekste: lingvovokatsionnoe issledovanie (na materiale khudozhestvennoy prozy A.P. Chekhova)* [The odor code in the literary text: a language evoked study (on the material of the prose by A.P. Chekhov)]. Philology Cand. Diss. Kursk.

7. Pavlova, N.S. (2006) *Leksika s semoy “zapakh” v yazyke, rechi i tekste* [Vocabulary with the seme “smell” in language, speech and text]. Abstract of Philology Cand. Diss. Yekaterinburg.

8. Holz, P. (2005) *Die Sprache des Parfüms. Eine empirische Untersuchung zur Grammatik, Metaphorik und Poetizität des Parfümwerbetextes*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

9. Molodkina, Yu.N. (2010) *Sinesteticheskaya metafora zapakha: korpusnoe issledovanie* [Synesthetic metaphor of smell]. Philology Cand. Diss. Gorno-Altaysk.

10. Vaynshteyn, O.B. (2010) *Istoricheskaya aromatika: odekolon i pachuli* [Historical aromatics: cologne and patchouli]. In: Vaynshteyn, O.B. (ed.) *Aromaty i zapakhi v kul'ture* [Aromas and smells in culture]. Book 2. Moscow: NLO.

11. Ebberfeld, I. (2005) *Botenstoffe der Liebe: über das innige Verhältnis von Geruch und Sexualität*. Münster: LIT Verlag.

12. Voronin, S.F. (2009) *Osnovy fonosemantiki* [Basics of phonosemantics]. Moscow: URSS.

13. Geyko, E.V. (1999) *Smyslovoy tip propozitsii i ego manifestatsiya v sovremennoy russkoy rechi: Na materiale vyskazyvaniy, sodержashchikh informatsiyu o zapakhakh* [The semantic type of the proposition and its manifestation in modern Russian speech: On the material of statements containing information about smells]. Philology Cand. Diss. Omsk.

14. Lakoff, G. & Johnson, M. (1990) *Metafora, kotorymi my zhivem* [Metaphors we live by]. In: Arutyunova, N.D. & Zhurinskaya, M.A. (eds) *Teoriya metafor* [Theory of metaphors]. Moscow: Progress.

Sources

1. Artmeier, H. (2011) *Drachenfrau*. Meßkirch.
2. Buttler, M. (2011) *Herzraub*. Meßkirch.
3. Berger, R.W. (2004) *Laura*. Föritz.
4. Berger, R.W. (2006) *Spitzenrausch*. Föritz.
5. Faure, P. (1991) *Magie der Düfte: eine Kulturgeschichte der Wohlgerüche von den Pharaonen zu den Römern*. München; Zürich: Artemis-Verl.
6. Graf, E. (2011) *Leopardenjagd*. Meßkirch.
7. Emme, P. (2011) *Pastetenlust*. Meßkirch.
8. Lascaux, P. (2011) *Wursthimmel*. Meßkirch.
9. Paolo, R. (1995) *Auf der Suche nach den verlorenen Düften: eine aromatische Kulturgeschichte [aus den Italienischen von Heli Tortora]*. Moscow: Hugendubel.
10. Puhlfürst, C. (2011) *Leichenstarre*. Meßkirch.
11. Schneeweiß, H. (1999) *Das, worin Vergehen waltet*. Oberhausen.
12. Schröder, A. (2011) *Mordsliebe*. Meßkirch.

УДК 81'42

DOI: 10.17223/19986645/58/6

Т.И. Уткина

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА РОСТ В РУССКОЯЗЫЧНОМ И АНГЛОЯЗЫЧНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Сопоставляются особенности метафорической репрезентации концепта РОСТ в русскоязычном и англоязычном академическом дискурсе в экономике. Материалом исследования послужили русскоязычные и англоязычные академические тексты экономического профиля. Построены метафорические модели, представляющие экономический концепт РОСТ, выявлены сходства и различия концептуальной метафоры, репрезентирующей концепт РОСТ в русскоязычном и англоязычном академическом дискурсе в экономике.

Ключевые слова: дискурс, экономический дискурс, академический дискурс, специальное знание, метафора, концептуальная метафора, метафорическое моделирование.

Актуальность исследования метафорической репрезентации экономических концептов в академическом дискурсе обусловлена тем, что, несмотря на большое количество работ, посвященных изучению концептов в разных дискурсах на основе метафорического моделирования их структуры, особенности метафорической концептуализации специального знания в академическом дискурсе остаются недостаточно изученными. Повышенный интерес лингвистики к взаимоотношениям языка, речемыслительной и специальной деятельности человека способствовал разработке разных методологий исследования, поиску интегративных потенциалов в дискурсивных исследованиях. В частности, когнитивно-дискурсивный подход к изучению языка для специальных целей обладает большим исследовательским потенциалом, поскольку позволяет изучить «корреляции между структурами специального знания и структурами языка» [1. С. 139], а также исследовать процессы концептуализации и вербализации специального знания в разных дискурсах и в разных языках. Считаем необходимым подчеркнуть, что выбор данного направления исследования обусловлен потребностью в более глубоком и всестороннем анализе концептуальной метафоры как одного из способов репрезентации специального знания. Мы также полагаем, что сопоставительное изучение метафорических моделей, репрезентирующих научный концепт, может дать информацию, необходимую для моделирования процессов концептуализации специального знания и процессов межкультурной коммуникации.

В нашей работе мы обращаемся к академическому дискурсу в экономике. Принято считать, что академический дискурс относится к научному дискурсу, научному функциональному стилю, к центральному жанру –

статье или монографии как типам письменного текста. В современных дискурсивных исследованиях академический дискурс рассматривается в тесной связи с образовательным дискурсом [2], а также как «педагогический дискурс» для исследований в образовательной сфере [3–5]. В данной работе мы придерживаемся определения академического дискурса как вербализованной сферы деятельности, включающей «все порождаемые на языке и на языках статьи, книги, тезисы, устные выступления, презентации, обзоры, рецензии, редакторские правки, обсуждения с коллегами и другими исследователями, участниками конференций и гостями... при построении аргументации, теорий, обсуждении результатов...» [6. Р. 2].

В ракурсе специального дискурса понятие академического дискурса в экономике сопрягается с понятием профессионального дискурса, который включает тексты, произведенные профессионалами и предназначенные для других профессионалов с теми же или различными компетенциями, для полупрофессионалов, т.е. учащихся, или для непрофессионалов [7. Р. 5] и может включать тип текстов, произведенных авторами, чья профессиональная компетенция соотносится с наличием специального (экономического) знания. В этой связи особый акцент следует сделать на особенностях академического общения, которое может осуществляться в группах разных профессиональных и коммуникативных компетенций (например, специалист – специалист, опытный специалист – неопытный специалист / молодой исследователь, или специалист – широкая аудитория) и определяет порождаемый в ходе коммуникации тип текстов.

Обращаясь к вопросу изучения метафоризации экономического знания, мы принимаем во внимание тот факт, что хотя в экономике как отрасли знания проявляется общая тенденция, свойственная языку науки и языку в целом, формирование экономического знания и его отражение в языке имеют ряд особенностей. Так, при описании особенностей экономического дискурса и языка экономики Е.Ю. Махницкая указывает на достаточно разнородное объединение языковых единиц, которые актуализируются в коммуникации и определяют степень терминологической насыщенности текстов, соотношение научных и предметных терминов, характер системных связей, в которые включены эти лексические единицы [8]. Результаты проведенного О.В. Ивановой исследования показали, что в терминосистеме экономики в большей степени, чем в других терминосистемах, проявляются семантические отношения, характерные для общеупотребительной лексики [9].

На неоднородность и неоднозначность языка экономики, включающего все пласты лексики (терминологическую, общелитературную и даже внелитературную, в том числе стертые метафоры, получившие статус термина, метафорические профессионализмы, встречающиеся в речи экономистов и неофициальных письменных текстах, и метафорические арготизмы) указывают ряд исследований [10–13]. В частности, Е.Ю. Махницкая выделяет метафору как языковое средство, которое помогает эксплицировать, репрезентировать интересы и предпочтения некой социальной группы и ее членов, потому что язык метафор находит у слушателей больший эмоцио-

нальный отклик, нежели обыденный язык [10]. В результате проведенного сравнительного анализа политического и экономического дискурсов Е.О. Шибанова выявила, что концептуализацию области экономики осуществляют преобладающие метафоры Природа и Механизм, которые, по мнению исследователя, отражают человеческое восприятие сферы экономики или как непредсказуемой естественной среды, или как работающего механизма, созданного человеком. При этом метафоры Движения берут на себя основную нагрузку по концептуализации данной сферы [11].

В статье, посвященной особенностям осмысления и языковой репрезентации концепта «экономический кризис» в текстах китайских СМИ, Я.А. Бохан делает вывод о характере лексических единиц, используемых авторами для формирования у читателей представлений об экономическом кризисе: большая часть лексических единиц, репрезентирующих слоты фрейма в современных текстах СМИ, не отличается явно выраженной оценочностью и экспрессивностью, однако в зависимости от цели сообщения подобные лексемы способны формировать как негативную, так и положительную реакцию реципиента [12]. Исследование особенностей концептуальной структуры некоторых ключевых терминов экономической науки в сфере международных экономических отношений и международной торговли, проведенного Д.А. Епифановым, позволяет получить данные о процессах, в том числе и метафорических, которые наблюдаются в концептуальной структуре термина [13].

На метафоричность языка экономики указывают ряд зарубежных исследований [14–16], предметом анализа которых явились использование лингвистических форм и концептуальных метафор в кросскультурной перспективе на материале английских и испанских финансовых отчетов [14] и использование метафор в текстах по экономической тематике (поведение рынка, экономический кризис) [15]. В своем исследовании концепта РОСТ и его репрезентации в экономике на материале Financial Times (1997) Херрера и Уайт определили, что данный концепт представлен в экономике как сеть взаимосвязанных метафор, которые концептуализируют экономику как Растение, Животное, Человек, Механический процесс и Динамический агент [16].

Выбранный в нашем исследовании подход позволяет объяснить особенности метафорической репрезентации экономических концептов на основе теории концептуальной интеграции и теории концептуальной метафоры, рассматривающие концептуальную интеграцию как универсальный способ мышления, который может быть применен как к лингвистическим, так и к внеязыковым процессам конструирования знания [17]. По мнению основоположников теории концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера, ментальные пространства, которые представляют собой конструируемую в процессе восприятия и порождения дискурса область концептуализации, структурируются посредством фреймов и различных когнитивных моделей: образ-схематических, пропозициональных, метафорических, метонимических, символических. В теории концептуальной ме-

тафоры метафора определяется как явление концептуального свойства, как «вербализованный прием мышления о мире» [18, 19]. Согласно данной теории метафора представляет собой когнитивной механизм переноса знаний об одной концептуальной области в другую, что предполагает проецирование схематической образной структуры области-источника на область-цель и структурирование области-цели по образцу области-источника, при этом область-цель понимается через призму области-источника [Там же]. Основу концептуальной метафоры определяют соответствия, которые выстраиваются в понятийной системе в процессе сенсомоторного опыта взаимодействия человека с окружающим миром [20].

Необходимость изучить процессы концептуализации и вербализации экономического знания в профессиональной коммуникации послужила для нас стимулом к исследованию данных процессов, основываясь на анализе академического дискурса в экономике, и определила цель настоящего исследования, которая заключается в выявлении особенностей метафорической репрезентации концепта РОСТ посредством сравнительного количественного и качественного анализа концептуальных метафор в академических текстах по экономике на русском и английском языках. Мы исходим из предположения, что особенности моделей концептуальной метафоры, репрезентирующей знания об экономике, определяются национально-культурной спецификой дискурса.

Эффективными методами анализа лингвистических единиц в дискурсе признаются методы моделирования аналитических процессов и реконструкции когнитивных моделей [21, 22], которые открывают широкие возможности для анализа функционирования лингвистических форм и концептуальных метафор и позволяют проводить фундаментальные изучения метафоры в языке, сознании и коммуникации, а также прикладные исследования метафоры в различных дискурсах (медиадискурсе, экономическом, политическом, медицинском, педагогическом и др.) [23–25]. В рамках теории когнитивной метафоры применяется метафорическое моделирование. Под метафорической моделью понимается «отображение пропозициональных или образно-схематических моделей одной области на соответствующие структуры другой области» [18. С. 158], или понятийная область, включающая связанные семантическими отношениями элементы, или таксономическое представление сигнификативного дескриптора [26].

Выбранная нами методика исследования включает следующие этапы: 1) отбор материала исследования посредством поиска словоупотребления лексемы 'рост'/'growth' в учебных текстах по макроэкономике на русском и английском языках; 2) семантический анализ с применением метода «Процедура идентификации метафоры» MIPVU [21, 22]; 3) метод метафорического моделирования, основанный на таксономической организации метафор [27–29]; 4) методика параллельного сопоставления метафор, объединяемых областью-целью метафорического переноса, которая заключается в изучении понятийной области-цели и определении метафорических

моделей, используемых для ее обозначения, в русскоязычном и англоязычном дискурсе [30].

Материалом сопоставительного исследования специфики метафорической репрезентации концепта РОСТ в академическом экономическом дискурсе послужили тексты учебных пособий по макроэкономике Т.Ю. Матвеевой «Введение в макроэкономiku» (на русском языке) [31] и О. Бланшара и Д. Джонсона «Макроэкономika» (на английском языке) [32]. Мы обратились к изучению текстов учебных пособий не случайно. На основании изложенных выше положений, послуживших теоретической основой для нашего исследования, мы полагаем, что из всего многообразия образующихся в дискурсе типов текста текст учебного пособия, произведенный профессионалами, специалистами в экономике и предназначенный для полупрофессионалов, т. е. студентов экономических образовательных программ, может представлять данные о процессе концептуализации специального знания, отличающегося от процесса в текстах, авторы и читатели которых обладают одинаковым уровнем профессиональной компетенцией. Допускаем, что указанные когнитивные особенности могут получить отражение в метафорической модели концепта РОСТ в русскоязычном и англоязычном дискурсе.

Первоначально отбор материала исследования метафорического представления концепта РОСТ производился посредством поиска словоупотребления лексемы 'рост'/'growth'. На следующем этапе анализа проводилась идентификация метафоры MPVU [21] в выделенных ранее контекстах лексемы 'рост'/'growth'. В исследовании под контекстом метафоры понимается минимальный фрагмент текста, в котором репрезентированы два концепта, имеющие какое-либо основание для сравнения. При анализе материала использовались русскоязычные и англоязычные толковые словари и поисковые системы Интернета. В результате пошагового анализа были определены контекстуальные и базовые значения для каждой лексемы контекстов ключевого слова 'рост' в русскоязычных текстах и 'growth' в англоязычных текстах соответственно. Общий объем проанализированных текстов составил 456 000 слов. Из них 110 000 слов – объем текстов учебного пособия по макроэкономике Т.Ю. Матвеевой «Введение в макроэкономiku» (на русском языке) [31] и 346 000 слов – объем текстов учебного пособия по макроэкономике О. Бланшара и Д. Джонсона «Макроэкономika» (на английском языке) [32]. В результате семантического анализа материала было идентифицировано 79 метафор в русскоязычных текстах и 187 метафор в англоязычных текстах, репрезентирующих концепт РОСТ. Отношение количества метафор в контекстах лексемы 'рост'/'growth' к общему количеству слов в русскоязычных и англоязычных текстах составило 0,07 и 0,05% соответственно.

На следующем этапе анализа нами была разработана метафорическая модель анализируемого концепта, в основе которой лежит принцип таксономической организации метафор [27–29]. Данный метод метафорического моделирования предполагает организацию метафор, которые репрезенти-

руют область-источник и служат метафорическим фокусом для объектов метафорического осмысления [27. С. 23]. Такая организация метафор основывается на базовом значении лексических единиц (метафор), т. е. метафоры категоризированы с учетом их сигнификативных (базовых) значений. Таким образом, основываясь на базовом значении предварительно идентифицированных лингвистических метафор, мы построили метафорическую модель, представляющую концепт РОСТ, и сопоставили полученные схемы категоризированных метафор, репрезентирующих специальное знание в русскоязычном и англоязычном академическом экономическом дискурсе. В результате анализа была получена метафорическая модель концепта РОСТ, которая представляет репрезентацию областей-источников метафорического переноса: Человек – биологическое существо, Человек – социальный субъект, Игра, Театр, Механизм. Рассмотрим специфику метафорической модели концепта РОСТ в русскоязычном и англоязычном академическом экономическом дискурсе (АЭД). Количественное соотношение метафор, репрезентирующих концепт РОСТ, представлено в таблице.

Метафорическая модель концепта РОСТ в русскоязычном и англоязычном академическом экономическом дискурсе (АЭД), %

Область – источник	Видовые таксоны	Кол-во метафор в русскоязычном АЭД, %	Кол-во метафор в англоязычном АЭД, %
Человек – биологическое существо		90	60
	Движения	72	39
	Обеспечение жизнедеятельности	18	21
Человек – социальный субъект		10	16
	Поведение человека	4	11
	Профессиональная деятельность	3	–
	Власть	–	1
	Борьба	3	4
Игра		–	3
Театр		–	2
Механизм		–	19

Сравнительный анализ концептуальных метафор в текстах русскоязычного и англоязычного академического экономического дискурса выявляет общие и специфические стратегии концептуализации и вербализации экономического знания. Количественный анализ метафор показал, что в русскоязычном и англоязычном АЭД самой продуктивной областью-источником является Человек – биологическое существо – 90 и 60% соответственно (90% от всех метафорических единиц, идентифицированных в текстах русскоязычного академического экономического дискурса, и 60% от всех метафорических единиц, идентифицированных в текстах англоязычного академического экономического дискурса). Еще одной общей

особенностью метафоризации в обоих дискурсах является то, что метафоры области-источника Человек – социальный субъект представлены в следующем соотношении: 10% метафор в русскоязычном АЭД и 16% метафор в англоязычном АЭД. Однако концептуальные метафоры РОСТ – ИГРА, РОСТ – ТЕАТР, РОСТ – МЕХАНИЗМ структурируют концепт РОСТ только в англоязычном АЭД, при этом в данном дискурсе метафоры Механизма являются вторыми по частотности (19%).

Обратимся к подробному рассмотрению количественных и качественных особенностей метафорической репрезентации концепта РОСТ в русскоязычном и англоязычном АЭД.

Количественный анализ областей метафорического переноса, репрезентирующих концепт РОСТ, показал, что антропоморфная модель концептуализации экономического знания обладает высокой частотностью в русскоязычном и англоязычном АЭД. Подобная активность антропоморфных метафор может свидетельствовать о значимости сферы «Человек – биологическое существо» для повседневной деятельности человека. Область-источник Человек – биологическое существо в русскоязычном АЭД представлена видовыми таксонами Движения (72%) и Обеспечение жизнедеятельности (18%). В англоязычном АЭД данная область метафорического переноса также представлена видовыми таксонами Движения и Обеспечение жизнедеятельности. При этом метафоры Движения в англоязычном АЭД составляют примерно половину от количества метафор Движения в русскоязычном АЭД (39%).

Анализ метафор Движения позволяет реконструировать модель концептуальной метафоры РОСТ – ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. Данная модель актуализируется в тексте русскоязычного и англоязычного АЭД следующими метафорами: *обгонять, темп, вести, приводит, ведущий, come from, go through, return, move, run, go down, lead to, path, not the other way round, follow, deviation, movement, come to an end*. Рост в экономике, подобно человеку, может менять свое положение в пространстве, двигаться с определенной скоростью, в том числе двигаться быстрее, опережая кого-либо в движении и оставляя кого-либо позади, например: *Рост цен на товары обгоняет рост цен на ресурсы (заработной платы)* [31. С. 149]; *The figure plots the growth rates for advanced and emerging economies since 2005. What is striking is how the growth rates **have moved together*** [32. P. 379]. В приведенных примерах основанием для концептуализации роста служит движение человека. В основе концептуальной метафоры Движения человека лежит схема с очень общим характером движения [33], свойственным всем живым существам, передвигающимся в пространстве. Однако метафора ‘move together’ актуализирует важную особенность движения человека – менять свое положение в пространстве совместно с другим человеком – *to change from one place or position to another; if two or more people do something together, they do it with each other* [34], а метафора ‘обгонять’ указывает на характерное для человека движение – «двигаться быстрее, опережать кого-л., соревноваться в беге, ходьбе или ином движении» [35].

По мнению Z. Kövecses, схема «движения», которая имеет только начальное местоположение, движение по пути и конечное местоположение, может заполняться более подробно в случае концепции путешествия, или прогулки [33. Р. 43]. В нашем исследовании были выявлены контексты метафор, которые иллюстрируют концептуальный перенос системы понятий о характере движения, пути и направлении движения из области-источника «Человек» в область-цель «Рост», например: *Рост уровня дохода ведет к росту потребления и поэтому к увеличению совокупного спроса (сдвиг кривой AD вправо)* [31. С. 129]; *Countries are growing along their balanced growth path* [32. Р. 261]; *In the short run, the central bank allowed for deviations of nominal money growth from the target* [Ibid. Р. 525]. В вышеприведенных контекстах фокус метафоры представлен следующими лексемами 'vestu' (базовое значение – «идя рядом с кем-л., направлять движение» [35]), 'path' (базовое значение – «the direction or line along which someone is moving» [34]), 'deviation' (базовое значение) – «a wandering from the way; variation from the common way, from the right course» [34]). Таким образом, концептуальная метафора РОСТ – ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА устанавливает аналогию между ростом в экономике и человеком в движении и дополняет представление о росте в экономике, который имеет свой путь, может следовать по определенному курсу и отклоняться от курса.

Метафорические единицы 'обеспечение', 'обеспечивать', 'sustain', 'weak', 'strong', входящие в видовой таксон Обеспечение жизнедеятельности, актуализируют концептуальную метафору РОСТ – ЧЕЛОВЕК с экспликацией доминантной области-источника Человек – биологическое существо. Отличительной особенностью данной модели концептуальной метафоры в англоязычном АЭД является выделение в видовом таксоне Обеспечение жизнедеятельности таксона Физическое состояние человека, например: *Since then, however, growth has decreased again, becoming so weak that unemployment is forecast to remain high for a long time to come* [32. Р. 8]. Рост в представлении субъектов англоязычного в отличие от субъектов русскоязычного академического дискурса в экономике может находиться в состоянии физической слабости или силы подобно реальному человеку. Однако в обоих дискурсах метафоры 'обеспечение', 'обеспечивать', 'sustain' являются вербализацией представления о необходимости поддерживать существование роста в экономике, например: *Правительства развитых стран в начале 1980-х гг. сделали все возможное, чтобы увеличить совокупное предложение, обеспечить рост ВВП и снижение уровня инфляции* [31. С. 160]; *Following the lead of Robert Lucas and Paul Romer, researchers have explored the possibility that the joint accumulation of physical capital and human capital might actually be enough to sustain growth* [32. Р. 244]. В данных контекстах фокус метафоры представлен следующими лексемами 'обеспечить' (базовое значение – «снабжать чем-л. в достаточном количестве, полностью удовлетворять какие-л. потребности, предоставлять кому-л. достаточные материальные средства к жизни» [35]),

‘sustain’ (базовое значение – «to make a person able to continue living or to make someone feel strong» [34]).

Область-источник РОСТ – Человек – социальный субъект, представленная в текстах русскоязычного и англоязычного АЭД, является самой детализированной сферой и включает четыре видовых таксона. Количественный анализ данной области метафорической репрезентации концепта РОСТ в русскоязычном и англоязычном АЭД показал, что количество метафор в англоязычном АЭД превышает количество метафор в русскоязычном АЭД (16 и 10% соответственно). Общими для обоих дискурсов являются видовые таксоны Поведение человека и Борьба. Если метафоры, составляющие таксон Борьба, представлены относительно в равных количественных отношениях в русскоязычном и англоязычном АЭД (3 и 4% соответственно), то частотность метафор, входящих в таксон Поведение человека, в англоязычном АЭД примерно в три раза выше, чем в русскоязычном АЭД (11 и 4% соответственно). Однако в русскоязычном АЭД были выявлены характерные только для данного дискурса метафоры Профессиональной деятельности, которые составили 3% от всех метафорических единиц, идентифицированных в текстах русскоязычного академического экономического дискурса. В англоязычном АЭД к метафорической модели концепта РОСТ добавилась концептуальная метафора РОСТ – ВЛАСТЬ, которая представлена 1% метафор и характерна только для данного дискурса.

Остановимся на описании данной области-источника более подробно. Анализ метафор Поведения дает возможность реконструировать модель концептуальной метафоры ПОВЕДЕНИЕ РОСТА – ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. Данная модель актуализируется в тексте русскоязычного и англоязычного АЭД следующими метафорами: *провоцировать, требовать, independent, depend, expectation, expect, increase happiness, favor, allow(growth) to do sth, ignore, require sb to do sth, stimulate, lead consumers to feel*. Данная концептуальная метафора позволяет провести аналогию между поведением человека с точки зрения черт его характера, поведения человека как члена общества и характером существования и развития роста в экономике во взаимодействии с другими экономическими факторами. Следующие контексты иллюстрируют данную аналогию: *Рост уровня цен провоцирует повышение заработной платы, а рост заработной платы служит основой для дальнейшего повышения уровня цен* [31. С. 295]; *The rate of output growth in steady state is independent of the saving rate* [32. P. 256]; *To return the unemployment rate to the natural rate in one year requires 5% more output growth. And 5% output growth requires the Fed to increase the supply of money by $5\% > 0.21 = 23.8\%$* [32. P. 477]. В данных контекстах фокус метафоры представлен следующими лексемами: ‘провоцировать’ (базовое значение – «провокационно, умышленно вызвать (вызывать), подстрекнуть (подстрекать) кого-, что-нибудь на какие-нибудь поступки или слова» [35]), ‘independent’ (базовое значение – «confident and able to do things by yourself in your own way, without needing help or advice

from other people» [34]), ‘require’ (базовое значение – «to demand that people do something, because of a law or rule» [Ibidem]).

Выявленные метафоры Борьбы позволяют установить аналогию между ростом в экономике и борьбой человека как действием против кого-либо или чего-либо (контрдействие), преодолением чего-либо и сопротивлением кому-либо или чему-либо, например: *Снижение налогов увеличивает совокупное предложение, стимулируя деловую активность, а их рост **сдерживает** производство* [31. С. 447]. В русскоязычном АЭД рост в экономике уподобляется человеку в профессиональной сфере, который использует свои возможности (*возможности экономического роста*), а в англоязычном АЭД метафора ‘dominate’ актуализирует концептуальную метафору РОСТ – ВЛАСТЬ и позволяет установить аналогию между ростом в экономике и властью, которую человек использует, чтобы доминировать: *Put another way, we turn from the study of the determination of output in the short and medium run—where fluctuations dominate—to the determination of output in the long run—where growth **dominates*** [32. С. 207].

Существенной отличительной особенностью метафорической репрезентации концепта РОСТ, как показывает анализ, является то, что метафоры Механизма были выявлены только в англоязычном АЭД (19%). Модель концептуальной метафоры РОСТ – МЕХАНИЗМ составили метафоры, выявляющие признаки, присущие механизму в целом, например его функционирование и производительность: *Low saving cannot explain the relative poor U.S. growth **performance** over the last 50 years* [Ibid. P. 241]. Любой механизм также отличает слаженная работа его частей, которые позволяют устройству функционировать устойчиво и сохранять внутреннюю стабильность. Эти свойства механизма дают возможность управлять им, ускоряя или замедляя его работу. Знания о механизмах позволяют провести аналогию с экономическим понятием роста, представленного в следующих контекстах метафор, например: *Because output, capital, and effective labor all grow at the same rate ($g_A + g_N$) in steady state, the steady state of this economy is also called a state of **balanced** growth* [Ibid. P. 254]; *A reduction in the deficit can be achieved by a combination of an increase in taxes and a decrease in spending. Either one, they argue, will decrease demand and **slow down** growth at a time when unemployment is still very high. Their recommendation is thus to reduce the deficit, but to do it slowly and steadily* [Ibid. P. 9].

Малорепрезентативные группы метафор Игры (3%) и Театра (2%) структурируют концептуальную модель РОСТА только в англоязычном АЭД. Концептуальная метафора РОСТ – ИГРА актуализируется в тексте метафорой ‘rule’, например: *When issues of time inconsistency are relevant, tight restraints on policy makers—like a fixed-money-growth **rule** in the case of monetary policy, or a balanced-budget rule in the case of fiscal policy—can provide a rough solution* [32. P. 482]. В анализируемом контексте метафорический фокус представлен лексемой ‘rule’ с базовым значением «an official instruction that says how things must be done or what is allowed, especially in a game, organization, or job» [34]. Допускаем, что данная метафора установ-

ливаает аналогию с правилами игры, поскольку лексема *'rule'* используется применительно к более узким, или конкретным, ситуациям («applies to more restricted or specific situations» [36]), что согласуется с принятым в когнитивной лингвистике подходом к анализу концептуальных метафор [33]. Концептуальная метафора РОСТ – ТЕАТР устанавливает аналогию между ростом в экономике и театром и актуализируется в тексте метафорами *'picture', 'scene'*, например: *Chinese economic growth is the outstanding feature of the world economic scene over the past two decades* [32. P. 16].

Таким образом, в результате сопоставительного анализа концептуальных метафор экономического концепта РОСТ в русскоязычном и англоязычном академическом экономическом дискурсе были выявлены общие и отличительные черты метафорической репрезентации экономического концепта в дискурсе. Полученные данные, на наш взгляд, позволяют расширить имеющиеся в когнитивной лингвистике представления о метафорической концептуализации знания, в том числе специального знания. Мы полагаем, что ограничение исследования рассмотрением метафорической репрезентации концепта РОСТ на материале учебных пособий экономического профиля позволило, во-первых, получить представления о когнитивных особенностях формирования специального знания в текстах, создаваемых профессионалами для полупрофессионалов, т. е. авторы и читатели которых имеют разный уровень профессиональной компетенции; во-вторых, учесть культурную специфику в качестве основного критерия анализа метафоризации экономического знания. В связи с этим перспективным можно определить изучение специфики метафорической репрезентации данного концепта в других типах текстов, образующих академический дискурс, в кросскультурной перспективе.

Литература

1. Новодранова В.Ф. Типы знания и их репрезентация в языке для специальных целей (LSP) // Когнитивная лингвистика: новые проблемы познания : сб. науч. тр. / под ред. Л.А. Манерко; Институт языкознания РАН; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. Рязань, 2007. Вып. 5. С. 136–140.
2. Biber D. A University Language. Corpus-Based Study of Spoken and Written Registers. Amsterdam, the Netherlands: Benjamins, 2006. 261 p.
3. Антонова Н.А. Педагогический дискурс: речевое поведение учителя на уроке : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 2007. 23 с.
4. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М. : Гнозис, 2004. 390 с.
5. Олешков М.Ю. Основные параметры модели профессиональной коммуникации (на примере дидактического дискурса) // Социокультурные проблемы в образовании: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А.А. Вербицкого, Н.В. Жуковой. М., 2006. С. 62–71.
6. Cross-linguistic and Cross-cultural perspectives on Academic Discourse / ed. by E. Suomela-Salmi, F. Dervin. John Benjamins Publishing, 2009. 229 p.
7. Gunnarsson B.-L. Professional discourse. Continuum Discourse Series. London, 2009. 275 p.
8. Махницкая Е.Ю. Современный экономический дискурс в когнитивной парадигме. Ростов н/Д, 2007. 232 с.

9. Иванова О. В. Ассоциативная структура термина и общеупотребительного слова : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 1987. 22 с.
10. Махницкая Е. Ю. Метафора в современном экономическом дискурсе и принципы ее лексикографического описания : дис. ... канд. филол. наук. Ростов н/Д, 2003. 191 с.: ил.
11. Шибанова Е. О. Метафорические концептуальные системы в сфере экономики и политики : дис. ... канд. филол. наук. М., 1999. 210 с.
12. Бохан Я. А. Репрезентация концепта «экономический кризис» в текстах китайских СМИ // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Филология. Искусствоведение. 2013. № 24 (315), вып. 82. С. 48–51.
13. Епифанов Д. А. Опыт составления когнитивной карты термина (на материале текстов по экономической тематике) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия: Лингвистика. 2008. Вып. 544. С. 85–96.
14. Charteris-Black J., Ennis T. A comparative study of metaphor in Spanish and English financial reporting // English for specific purposes. 2001. Vol. 20, iss. 3. P. 249–266.
15. White M. The Use of Metaphor in Reporting Financial Market Transactions // Cuadernos de Filología Inglesa. 1997. Vol. 6, iss. 2. Universidad de Murcia. P. 233–245.
16. Herrera H., White M. Cognitive linguistics and the language learning process: a case from economics // Estudios Ingleses de la Universidad Complutense. 2000. Vol. 8. P. 55–78.
17. Fauconnier G., Turner M. Conceptual Integration Networks // Cognitive Science. 1998. № 22 (2). P. 133–187.
18. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. Благовещенск, 1998. С. 126–173.
19. Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor // Metaphor and Thought. 2nd edition. Cambridge University Press, 1992. P. 1–50.
20. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления. М., 2002. С. 340–369.
21. Pragglejaz Group. MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse // Metaphor and Symbol. 2007. Vol. 22, iss. 1. P. 1–39.
22. Steen G. J. From linguistic form to conceptual structure in five steps: analyzing metaphor in poetry // Cognitive poetics: Goals, gains and gaps / eds. by G. Brône, J. Vandaele. Berlin; New York, 2009. P. 197–226.
23. Алексеева Л. М., Ивинских Н. П., Мишланова С. Л., Полякова С. В. Метафора в дискурсе: учеб. пособие / под ред. Л. М. Алексеевой. Пермь : Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2013. 244 с.
24. Krennmayr T. Metaphor in Newspapers. Amsterdam : LOT.VU University Amsterdam, 2011. 330 p.
25. Cameron L. Metaphor in educational discourse. London, 2003. 294 p.
26. Баранов А. Н., Караулов Ю. Н. Русская политическая метафора: материалы к словарю. М. : Институт русского языка АН СССР, 1991. 193 с.
27. Musolff A. Metaphor scenarios in public discourse // Metaphor and symbol. 2006. Vol. 22, iss. 1. P. 23–38.
28. Leezenberg M. Contexts of metaphor. Amsterdam : Elsevier, 2001. 321 p.
29. Мишланова С. Л. Метафора в медицинском дискурсе. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2002. 160 с.
30. Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации. Екатеринбург, 2003. 248 с.
31. Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику : учеб. пособие. 5-е изд., испр. М. : Изд. дом ГУВШЭ, 2007. 511 с.
32. Blanchard O., Johnson D. R. Macroeconomics. Pearson Education Inc., 2013. 553 p.
33. Kövecses Z. Metaphor: A Practical Introduction. Second Edition. Oxford : Oxford University Press, 2010. 375 p.

34. *Longman Dictionary of Contemporary English*. URL: <http://www.ldoceonline.com> (дата обращения: 18.02.2018).

35. *Русский язык – словари*. URL: <http://www.classes.ru> (дата обращения: 18.02.2018).

36. *Merriam-Webster Dictionary*. URL: <https://www.merriam-webster.com> (дата обращения: 02.03.2018).

Metaphorical Representation of the Concept GROWTH in Russian and English Academic Discourse in Economics

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2019. 58. 82–96. DOI: 10.17223/19986645/58/6

Tatiana I. Utkina, Higher School of Economics (Perm, Russian Federation). E-mail: tutkina@hse.ru / utkinatat30@gmail.com

Keywords: discourse, academic discourse, economic discourse, special knowledge, metaphor, conceptual metaphor, metaphor modeling.

The article presents a comparative study of the metaphorical representation of the concept GROWTH in Russian and English academic discourse in economics. Academic discourse in economics is defined as a variety of verbalized human actions, and includes written texts produced by professionals and intended for other professionals with the same or different expertise. There proves to be interdependence between conceptualization of special knowledge in discourse and metaphorization of discourse.

The present article aims to reveal the universal and divergent aspects of metaphor models of the concept GROWTH and to compare and contrast metaphor models of this concept in Russian and English academic texts on macroeconomics. To obtain a deeper insight into the cognitive mechanism of academic discourse in which professional communication may vary in the terms of professional competence, the author focuses only on the academic texts produced by professionals and intended for learners with a different expertise. Taking into account the specificity of economics as a field of knowledge and cultural differences, the author assumes that metaphor models of economic concepts reflect cultural premises of special knowledge conceptualization. The task is approached through a comprehensive analysis of conceptual metaphor models based on Metaphor Identification Procedure VU University Amsterdam (MIPVU).

Initially, the author explore metaphorical units in contexts which contain the lexeme ‘growth’ in Russian and English texts. In order to establish the contextual meaning, the author applies a practical and systematic method for identifying metaphorically used words in discourse that addresses the way that the two conceptual structures (Source Domain and Target Domain) correspond. Then, by using the method of metaphoric modeling based on taxonomic categorization, the author builds a metaphoric model. Finally, she compares the metaphorical representation of the concept GROWTH in Russian and English academic economic discourse.

Findings highlight the areas of commonality as well as divergence in the cultural terms represented in conceptual metaphors of the concept GROWTH in Russian and English academic economic discourse. The main differences in the scope of the source analysis are quantitative rather than qualitative. The most representative metaphor model in the Russian discourse is the Human Being metaphor followed by Human Activity, whereas in the English discourse this is Human Being followed by Mechanism. The most detailed metaphor model of Human Activity representing the concept GROWTH is comprised of two similar models in both discourses such as the metaphors of Behavior and Struggle. However, the concept GROWTH in the Russian discourse is also represented through the Professional Activity metaphor, whereas its representation in the English discourse is through the Power metaphor, the Game metaphor and the Theater metaphor.

References

1. Novodranova, V.F. (2007) Tipy znaniya i ikh reprezentatsiya v yazyke dlya spetsial'nykh tseley (LSP) [Types of knowledge and their representation in the language for special purposes (LSP)]. In: Manerko, L.A. (ed.) *Kognitivnaya lingvistika: novye problemy poznaniya* [Cognitive linguistics: new problems of knowledge]. Is. 5. Ryazan: Ryazan State University.
2. Biber, D. (2006) *A University Language. Corpus-Based Study of Spoken and Written Registers*. Amsterdam, the Netherlands: Benjamins.
3. Antonova, N.A. (2007) *Pedagogicheskiy diskurs: rechevoe povedenie uchitelya na uroke* [Pedagogical discourse: teacher's speech behavior at the lesson]. Abstract of Philology Cand. Diss. Saratov.
4. Karasik, V.I. (2004) *Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs* [Language circle: personality, concepts, discourse]. Moscow: Gnozis.
5. Oleshkov, M.Yu. (2006) Osnovnye parametry modeli professional'noy kommunikatsii (na primere didakticheskogo diskursa) [The main parameters of the model of professional communication (on the example of didactic discourse)]. In: Verbitskiy, A.A. & Zhukova, N.V. (eds) *Sotsiokul'turnye problemy v obrazovanii* [Socio-cultural problems in education]. Moscow: MSRP. pp. 62–71.
6. Suomela-Salmi, E. & Dervin, F. (eds) (2009) *Cross-linguistic and Cross-cultural perspectives on Academic Discourse*. John Benjamins Publishing.
7. Gunnarsson, B.-L. (2009) *Professional discourse*. London: Continuum.
8. Makhnitskaya, E.Yu. (2007) *Sovremennyy ekonomicheskyy diskurs v kognitivnoy paradigme* [Modern economic discourse in the cognitive paradigm]. Rostov-on-Don: RSEU.
9. Ivanova, O.V. (1987) *Assotsiativnaya struktura termina i obshcheupotrebitel'nogo slova* [Associative structure of the term and the common word]. Abstract of Philology Cand. Diss. Minsk.
10. Makhnitskaya, E.Yu. (2003) *Metafora v sovremennom ekonomicheskom diskurse i printsipy ee leksikograficheskogo opisaniya* [Metaphor in modern economic discourse and the principles of its lexicographical description]. Philology Cand. Diss. Rostov-on-Don.
11. Shibanova, E.O. (1999) *Metaforicheskie kontseptual'nye sistemy v sfere ekonomiki i politiki* [Metaphorical conceptual systems in the field of economics and politics]. Philology Cand. Diss. Moscow.
12. Bokhan, Ya.A. (2013) Reprezentatsiya kontsepta "ekonomicheskyy krizis" v tekstakh kitayskikh SMI [Representation of the concept "economic crisis" in the texts of the Chinese media]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Iskusstvovedenie – Chelyabinsk State University Bulletin. Series: Philology. Art Criticism*. 24 (315):82. pp. 48–51.
13. Epifanov, D.A. (2008) Opyt sostavleniya kognitivnoy karty termina (na materiale tekstov po ekonomicheskoy tematike) [The experience of compiling a cognitive term map (on the material of texts on economic topics)]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Seriya: Lingvistika*. 544. pp. 85–96.
14. Charteris-Black, J. & Ennis, T. (2001) A comparative study of metaphor in Spanish and English financial reporting. *English for Specific Purposes*. 20 (3). pp. 249–266.
15. White, M. (1997) The Use of Metaphor in Reporting Financial Market Transactions. *Cuadernos de Filologia Inglesa*. 6 (2). pp. 233–245.
16. Herrera, H. & White, M. (2000) Cognitive linguistics and the language learning process: a case from economics. *Estudios Ingleses de la Universidad Complutense*. 8. pp. 55–78.
17. Fauconnier, G. & Turner, M. (1998) Conceptual Integration Networks. *Cognitive Science*. 22 (2). pp. 133–187.
18. Lakoff, G. & Johnson, M. (1998) Metafori, kotorymi my zhivem [Metaphors we live by]. In: *Yazyk i modelirovanie sotsial'nogo vzaimodeystviya* [Language and social interaction modeling]. Blagoveshchensk: Blagoveshchenskiy gumanitarnyy fond im. I. A. Boduena de Kurtene.

19. Lakoff, G. (1992) The Contemporary Theory of Metaphor. In: Ortony, A. (ed.) *Metaphor and Thought*. 2nd ed. Cambridge University Press.
20. Cienki, A. (2002) Семантика в когнитивной лингвистике [Semantics in cognitive linguistics]. In: Kibrik, A.A., Kobozeva, I.M. & Sekerina, I.A. (eds) *Sovremennaya amerikanskaya lingvistika: Fundamental'nye napravleniya* [Modern American Linguistics: Fundamental Directions]. Moscow: URSS.
21. Pragglejaz Group. (2007) MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse. *Metaphor and Symbol*. 22 (1). pp. 1–39.
22. Steen, G.J. (2009) From linguistic form to conceptual structure in five steps: analyzing metaphor in poetry. In: Brône, G. & Vandaele, J. (eds) *Cognitive poetics: Goals, gains and gaps*. Berlin; New York: Mouton de Gruyter.
23. Alekseeva, L.M. et al. (2013) *Metafora v diskurse* [Metaphor in discourse]. Perm: Perm State University.
24. Krennmayr, T. (2011) *Metaphor in Newspapers*. Amsterdam: LOT.VU University Amsterdam.
25. Cameron, L. (2003) *Metaphor in educational discourse*. London: Continuum.
26. Baranov, A.N. & Karaulov, Yu.N. (1991) *Russkaya politicheskaya metafora: materialy k slovaryu* [Russian political metaphor: dictionary materials]. Moscow: Institute of Russian Language, USSR Academy of Sciences.
27. Musolff, A. (2006) Metaphor scenarios in public discourse. *Metaphor and Symbol*. 22 (1). pp. 23–38.
28. Leezenberg, M. (2001) *Contexts of metaphor*. Amsterdam: Elsevier.
29. Mishlanova, S.L. (2002) *Metafora v meditsinskom diskurse* [Metaphor in medical discourse]. Perm: Perm State University.
30. Chudinov, A.P. (2003) *Metaforicheskaya mozaika v sovremennoy politicheskoy kommunikatsii* [Metaphorical mosaic in modern political communication]. Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University.
31. Matveeva, T.Yu. (2007) *Vvedenie v makroekonomiku* [Introduction to macroeconomics]. 5th ed. Moscow: HSE.
32. Blanchard, O. & Johnson, D.R. (2013) *Macroeconomics*. Pearson Education Inc.
33. Kövecses, Z. (2010) *Metaphor: A Practical Introduction*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
34. *Longman Dictionary of Contemporary English*. [Online] Available from: <http://www.ldoceonline.com>. (Accessed: 18.02.2018).
35. *Russian dictionaries*. [Online] Available from: <http://www.classes.ru>. (Accessed: 18.02.2018). (In Russian).
36. *Merriam-Webster Dictionary*. [Online] Available from: <https://www.merriam-webster.com>. (Accessed: 02.03.2018).

УДК 81'13

DOI: 10.17223/19986645/58/7

В.Е. Чернявская

КОРПУСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 3.0

Показываются объяснительные возможности корпусного инструментария в дискурсивном анализе. Объектом являются новые функции и идентичность российского университета как проекция социально-политических и экономических условий на цели и модели должного в образовании и науке. Анализ осуществлен на материале текстов миссий российских университетов. Анализ ключевых слов и их контекстного употребления позволил сделать вывод о доминирующих ценностях и идеологических приоритетах, стоящих за использованием языка в текстах миссий.

Ключевые слова: дискурсивный анализ, корпусные методы исследования языка, университет 3.0, идентичность, миссия университета.

Постановка проблемы

В социогуманитарных исследованиях вообще и в языковедческих в особенности образ объекта и возможные выводы во многом зависят от избранного метода анализа, от исследовательского инструментария. Объективность методов достигается как необходимый баланс между интерпретативными и формализованными подходами к языку, ср.: [1, 2]. Доказательность связывается на современном этапе в том числе и с корпусно-ориентированной парадигмой (corpus-driven paradigm) [3. С. 48]. Соединение инструментария корпусной лингвистики и дискурсивно-ориентированных подходов [4–9] рассматривается как одна из возможностей доказательной лингвистики. В связи с развитием компьютерного инструментария в последнее десятилетие активно реализуются корпусно-ориентированные исследования дискурса (corpus-assisted discourse studies CADS, corpus-informed critical discourse studies CICDA).

Корпусный, корпусно-ориентированный' становятся своего рода зонтичными терминами для обозначения подходов в работе с текстовыми структурами, основанных на количественном анализе представительных массивов данных. Корпусные методы используются для преодоления тенденциозности исследовательских подходов, на которую все чаще в последние годы указывают специалисты, пересматривающие объяснительный потенциал критического анализа дискурса (CDA). Последний критикуется именно в связи с субъективностью, редукционизмом, предзаданностью поиска примет и определенных языковых проявлений в социальных практиках. Дискурсивный анализ объясняет, под влиянием каких внешних, со-

циально детерминированных факторов выбраны и использованы в текстах определенные языковые единицы. При этом эксплицитное анализируется вместе с имплицитным, со скрытыми смыслами. Дискурсивный анализ во многих концепциях имеет критическую интерпретативную направленность, продолжая методологические и целевые установки критической лингвистики (Critical Linguistics). Так, цель критического дискурс-анализа – сделать очевидным и явным идеологический контроль и социальное доминирование в анализе социально-коммуникативной практики. Этой концепции противостоит лингвистика дискурса и «некритически» ориентированный дискурсивный анализ текста в совокупности с его историческим, политическим, социокультурным контекстом и интертекстуальными связями. Оставляя детальный разбор этих подходов за рамками данной публикации (подробнее см.: [10, 11]), подчеркну аспекты, принципиально значимый для современных тенденций в лингвистике. Дискурсивный анализ интерпретативен, реализует контекстуальный подход к тексту. Анализируется прагматический уровень высказываний. Для дискурсивного анализа ключевым понятием является контекст. И именно в связи с операционализацией релевантных аспектов контекста специалисты обсуждают методологические преимущества инструментария корпусной лингвистики применительно к дискурсивному анализу. Критический взгляд на возможности дискурсивного анализа связан среди прочего с тем, что репрезентативность отобранных текстов и их фрагментов может быть сомнительна – объектом анализа часто становятся риторически броские, нарушающие однородный ряд высказывания и потому не репрезентативные для характеристики типичной практики в целом.

Не характеризуя здесь все возможности корпусной лингвистики, укажу, что в рамках дискурсивного анализа продуктивным является изучение контекста с привлечением методов количественного анализа текста. Наиболее подходящими будут составление списка ключевых слов на основе анализа частотного списка и возможность использования инструментов корпуса для исследования контекстов, в которых они встречаются в корпусе. Способность слова быть ключевым определяется через статистически значимую частотность в гомогенном корпусе. Выявление наиболее частотных знаменательных слов позволяет статистически достоверно указать центральные элементы в содержании текста или корпуса и определить их как ключевые по отношению к этому тексту. Корпусная лингвистика показывает главным образом лексический уровень в текстовых структурах, принимает во внимание непосредственное окружение единицы, в смысле – вербальный контекст. Дискурсивный анализ принимает во внимание и объясняет не только то, что выражено, но и то, что не выражено, опираясь на широкий экстралингвистический контекст.

Объектом заявленного исследования является новая идентичность российского университета как следствие меняющихся ценностных и организационных моделей национальной высшей школы, хронологически маркированная периодом с середины 2000-х гг. Изменения интересны как проек-

ция определенных социально-политических и экономических условий в современном российском обществе и доминирующей государственной идеологии на цели и модели должного в образовании и науке. Ключевой фактор, влияющий на характер и интенсивность связей университета и университетской науки с обществом, – усложнение связей между научным поиском, его результативностью и экономической востребованностью и «пользой». Дискуссии о трансформации традиционных функций и задач университета проходят в связи с его «третьей миссией» и университетом 3.0, пришедшем на смену традиционным образовательной и научно-исследовательской (университетам 1.0 и 2.0) миссиям. Обсуждается концепция «академического предпринимательства» и маркетизации университетов [12–15]. **Университет 3.0** должен участвовать в процессах, связанных с технологическим предпринимательством, развитием бизнеса, формированием новых рынков. Функции «третьего университета» находятся в точке пересечения двух различных идеологий и систем ценностей: рыночно ориентированных и традиционных академических.

В анализируемой ситуации трансформаций российских университетов существенным является еще один фактор, а именно отношения между университетом и государством. Главным субъектом мобилизационного форсированного развития общества всегда выступало российское государство. Это суждение применимо и к процессам образования и науки. Указанная выше оппозиция «экономически-ориентированные – академические ценности» может быть расширена для современного российского университета третьим компонентом: университет существует в тесных отношениях с государством. Несмотря на то, что контроль и регулирование осуществляются в рекомендательной форме, как мягкая сила по отношению к системам образования и науки, институциональные отношения с государством, практика менеджериализма, влияющая на функции и идентичность университета и университетской науки, являются важным фактором.

Цель и материал анализа

Цель анализа состоит в том, чтобы определить степень влияния маркетизации и менеджериализма на российские университеты, на их самопрезентацию и ценностные ориентиры. Ставится вопрос о том, как научная деятельность как необходимая составляющая инновационного университета инструментализируется в современном социальном контексте. Для решения этой задачи признается адекватным анализ текстов, вербализующих стратегические цели и миссии российских университетов, опубликованные на сайтах этих университетов. Такие тексты следует рассматривать как языковое выражение соответствующей социальной практики, см.: [16–18]. Миссия университета рассматривается как точка кристаллизации актуальной динамики, а тексты – как адекватное отражение конструируемой средстами языка идентичности. Тексты, выражающие миссии университетов, могут быть проанализированы как особая ценностная форма рефлексии

над наукой, задающая шкалу приоритетов и моделей должного. Они транслируют и воспроизводят в национально-культурном пространстве через научные школы и традиции образования актуальное понимание науки в системе высшего образования. Миссия как модель должного берется во внимание в процессах принятия решений. Чтобы сохранять свое назначение – определять стратегические направления развития и пути достижения цели, миссия должна динамично и гибко реагировать на происходящие в обществе изменения.

В результате анализа должно быть выявлено, как определенные темы и ценности могут выдвигаться в фокус внимания или же не актуализироваться, оставаться нерелевантными в текстах, отражающих стратегическое целеполагание университетов. Миссии университета анализируются не комплексно как речевой жанр, но как репрезентативная текстовая форма дискурсивной практики. Исходной посылкой для анализа является признание того, что идентичность университета и университетской науки конструируются социальной практикой. Интересно выявить, как задаваемая социальными и политическими приоритетами модель должного конструирует образ университета и университетской науки в современном обществе. Анализ также принципиально согласуется с современными тенденциями к изучению социального конструктивизма, когда идентичность рассматривается именно как процесс конструирования идентичности, но не как жесткая категория. Все большая роль в процессе конструирования идентичности отводится языковым средствам (см., например: [18, 19]).

Анализ избранного объекта осуществляется как дискурсивный анализ с опорой на корпусный инструментарий. Применение корпусного инструментария представляется адекватным и информативным исходя из специфики материала анализа – текстов миссий. Миссия как тип текста декларативна, во многом однозначна и эксплицитна. «Традиционные» методы стилистического и риторического анализа не вполне информативны из-за стандартизованности риторических средств, равно как и прагма-семантический анализ высказываний в смысле вывода импликатур, пресуппозиций не показателен в силу эксплицитности и четкости формулировок миссии. Применение корпусного инструментария позволяет установить ключевые слова, типичные для текстовой структуры, и сделать заключения о доминирующих приоритетах и ценностях, опираясь на устойчивые, часто встречающиеся сочетания слов и их контекстное употребление. Корпусный инструментарий в дискурсивном анализе расширяет его объяснительные возможности в той мере, в какой количественная подтверждаемость показывает достоверную эмпирическую основу для обобщений.

В статье, во-первых, рассматривается социополитический контекст, в который включены трансформации российских университетов с середины 2000-х гг. как необходимая основа дискурсивного анализа. Во-вторых, представляются результаты анализа текстового корпуса, включающего тексты миссий, опубликованные на сайтах российских национальных исследовательских и федеральных университетов.

Социальный контекст: университет и университетская наука в обществе

Университет, несмотря на то, что решает универсальные задачи, в значительной мере чувствителен к внешним трансформациям и национально-специфическому контексту. В XX–XXI вв. в мировом пространстве вообще и в советском, постсоветском, российском пространстве в частности университеты были арендой и генератором для многих социальных экспериментов и изменений (см., например: [20–22]). Формирование идентичности академической профессии связано с социальным позиционированием университета. Идентичность университета складывается как отражение определенной социальной практики и социальной группы, продвигающей и легитимирующей эту практику. Одновременно университет – коллективная институциональная форма социальной деятельности, он не только отражает и выражает существующую практику, но способен быть инструментом конструирования этой практики. Находясь в точке кристаллизации процессов, связанных с человеком, производством, потреблением, идеологией, университетская идентичность и его ценностная ориентация имеют воздействующий, социально-конструктивный эффект. Подход к образованию и науке как к деятельности в социальном контексте задает перспективу предпринятого анализа.

В России с середины 2000-х гг. проводятся реформы высшей школы, которые имеют цель стимулировать исследовательскую активность университетов, усилить их научный профиль и международную заметность. Произошло усиление и закрепление иерархии российских университетов. В современной России существуют ведущие привилегированные университеты: национальные исследовательские университеты, федеральные университеты и университеты с особым статусом – МГУ и СПбГУ. Государство инициировало целевую поддержку ведущих вузов, конкурс национальных исследовательских университетов, программу международной конкурентоспособности «5-100-2020», предусматривающую достижение рядом российских университетов наивысшего уровня международной заметности в ключевых рейтингах. Главным изменением стало внедрение управленческих практик организации, контроля, оценки (рейтинга) результативности и эффективности российской науки. К науке применяются критерии эффективности и измеряемости. Предполагается управление университетом методами, схожими с управлением коммерческой организацией и бизнес-проектами. Стала внедряться и активно практиковаться организационная модель, в которой основным понятием в определении должного является эффективность университетской науки.

Происходящие трансформации и новая управленческая идеология по-новому фокусируют тему автономии и ответственности университета перед обществом в контексте понятий «институциональная автономия» и «академическая автономия». Эти понятия не тождественны. Академическая автономия понимается в первую очередь как персональная, индивиду-

ализированная свобода мысли, как право выбора направлений исследований и публикаций, изучаемых курсов, траектории обучения и интеллектуального развития применительно к студентам и ученым без неоправданного вмешательства и цензуры со стороны внешних неакадемических инстанций. В таком смысле университеты понимаются как пространство интеллектуальной свободы, научного диалога.

Институциональная автономия измеряется как организационная, в том числе финансовая самостоятельность в выборе сотрудников, рабочих программ, направлений развития по отношению к государству. Принципиально значимо, что институциональная автономия не гарантирует сама по себе академических свобод исследователям внутри университетской корпорации. Существование и поддержка академической свободы в названном выше понимании не означает свободу реализации (всех и любых) дисциплинарных исследований в рамках университета. Институциональная автономия не означает свободу университета и находящихся внутри него от общества, наоборот, это подразумевает ответственность и отчетность перед обществом. Тема автономии или отчетности университета перед обществом дополнительно заостряется тем обстоятельством, что управленческий аппарат и административная элита могут быть в значительной мере настроены на маркетизацию и контроль, а не на традиционные академические традиции (ср.: [23]). Верным представляется в этом контексте утверждение, что борьба за автономию не ограничивается отношениями между университетом и государством, но переходит на отношения между теми, кто управляет университетами и академическим составом, что особенно заметно в эпоху менеджериализма и централизации власти. Управленческая элита высшей школы может ограничивать и ограничивает академические свободы через снижение финансирования отдельных преподавателей и исследователей, не разрешая отдельные дисциплины и области академического интереса и/или разрешая их многообразие («The higher education elite can and does limit academic freedom by under-resourcing subjects for teaching and research, disallowing particular disciplines and fields of scholarly engagement and/or sanctioning dissent») [24. P. 3].

Университеты, участвующие в государственных программах, например «5-100-2020», фактически заключили контракт с государством на выделение значительных ресурсов при условии выполнения новых обязательств и тем самым ограничили свои индивидуализированные академические свободы. Степень притяия регулирования и включенности в государственную политику может быть разной и является здесь объектом аналитического осмысления в связи с тем, что заявляется и фокусируется в текстах миссий. Собственно, миссия университета как особый тип текста оформилась именно в связи с закреплением нового статуса и рейтинга университетов к середине 2000-х гг. Сформулированность миссии является показателем участия университета в инновативных процессах.

Методы и процедура анализа

Для анализа отобраны тексты, опубликованные на сайтах 29 российских национальных исследовательских и 10 федеральных университетов. Дата обращения январь – март 2017 г. Объем выборки около 6000 словоупотреблений. Была применена следующая процедура анализа:

1. Отбор материала. Рассмотрены англоязычные разделы университетских сайтов, содержащие формулировки миссий, стратегического целеполагания университетов. В ряде случаев на сайте не представлен раздел с названием «Mission; Vision & Values», соответствующее содержание при этом дано в разделах «About the University»; «Education and Research». Англоязычные сайты частично отличаются от русскоязычной версии сайта по объему и содержательному наполнению. Англоязычные тексты миссий показательны в связи с политикой интернационализации российских университетов, позиционирующих себя в мировом научно-образовательном пространстве.

2. Инструменты анализа. Анализ осуществлялся с применением инструментов корпусного менеджера AntConc – Word List, Concordance и Collocates, что позволило анализировать состав частотного списка, ближайшее окружение и сочетаемость слов в корпусе. В таблице представлены 37 лексем (с рангом 1–37 после удаления стоп-словаря, абсолютная частота (Freq) в корпусе не менее 3), с опорой на которые можно назвать приоритетные темы в формулировках миссий. Интерпретация их ближайшего окружения и контекстного употребления в выборке позволила сделать вывод о доминирующих ценностях и идеологических приоритетах, стоящих за использованием языка в тестовых структурах. Анализ выделенных контекстов осуществлялся с опорой на прагма-семантические методы анализа.

3. Полученные результаты. Выявлены лингвистические средства, в том числе типичные, регулярно повторяющиеся, которыми конструируется университетская идентичность и понятие «университетская наука». Заключение, полученные в результате анализа, можно представить на двух уровнях обобщения: относительно самопрезентации российского университета в обществе; относительно роли науки в стратегическом целеполагании университета и основных характеристик университетской науки, конструирующих ее идентичность на современном этапе.

Интерпретация результатов

Университет определяет направление своего развития в меняющемся социальном контексте. Это маркирует одно из ключевых слов *development* (Rank 3, Freq 38), третий ранг в частотном списке после *university* (Rank 1, Freq 90) и *research* (Rank 2, Freq 78).

В десять самых частотных слов входят также существительные и прилагательные, семантика которых связана с образованием *education* (Rank 4, Freq 38), *educational* (Rank 7, Freq 35). Научные исследования представля-

ются как приоритетные в самопрезентации профиля университета: наряду со вторым по частотности словом *research* это маркируется частотностью прилагательного *scientific* (Rank 5, Freq 35) и существительного *science* (Rank 9, Freq 24).

Фрагмент частотного списка корпуса (после удаления стоп-словаря)

Rank	Freq	Word	Rank	Freq	Word
1	90	university	19	11	national
2	74	research	20	11	region
3	38	development	21	9	economy
4	38	education	22	8	projects
5	35	scientific	23	8	society
6	34	russian	24	7	applied
7	25	educational	25	6	achievements
8	24	international	26	6	business
9	24	science	27	6	leaders
10	21	russia	28	5	companies
11	19	new	29	5	competitive
12	18	economic	30	5	cultural
13	17	world	31	5	scientists
14	16	engineering	32	5	social
15	15	leading	33	4	culture
16	14	knowledge	34	4	markets
17	13	global	35	3	competitiveness
18	13	state	36	3	economics
			37	3	effective

Интерпретация контекстов в выборке миссий показывает, что в представлении институциональной идентичности российского университета на первый план выходят две основополагающие характеристики: университет – государственная институция; университет – инструмент влияния на все общество.

Государство вступает в отношения с университетом и университетской наукой в следующих основных формах: как гарант правовых основ функционирования общества и, следовательно, научной деятельности, как основной источник финансирования образования и науки, как основной потребитель научно-технической продукции, как координатор при определении приоритетных направлений научных исследований. Наконец, государство – это субъект политического и общественного влияния, способный направлять и определять отношение общества к образовательным и научно-исследовательским целям. В силу этого государственный университет и, значит, университетская наука являются объектом государственного регулирования и попечительства. В формулировках миссий университет представляет себя как активно действующего в интересах государства. В заявляемых миссиях университетская идентичность выражается как идентичность включения, а именно как идентичность включения в госу-

дарственную деятельность. Это выражается определенно и эксплицитно. При этом фокусируется совпадение ценностных ориентиров университета и интересов государства. В этой связи показательны коллокации и контексты (конкордансы) слов *mission*, а также *goals*, *objectives (of the university)* в аналогичном значении. Это, во-первых, глагольные и именные конструкции с семантикой осознаваемых обязательств по отношению к государству: *take responsibility*; *provide assistance to the state*; *serve (the interests of Russia)*; *contribute*; *contribution*. Во-вторых, это глаголы, существительные с семантикой активных действий: *actively participate*, *strive*, *promote*, *energize*, *strengthen*, *reinforce*, *enable*. В-третьих, обращают на себя внимание лексемы, эксплицитно указывающие на взаимодействие университета с политикой государства или его отдельного региона, которые обнаруживаются в непосредственных правых окружениях ключевого слова *mission*: *strengthen the Russian contribution to the economic development of the Asian-Pacific region*; *contribute to the growth of socio-economic potential of the regions*; *contribute to major national economic projects located in Eastern Siberia*; *integrate university research into Russian economic development*; *serve the basis for the economic development*; *an arena for economic development of the country*. Коллокаты слева от *mission*, такие как *overall*, *primary*, усиливают значение активности действий и их приоритетности для университета. Примеры широких контекстов с ключевыми словами в корпусе:

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University strives to take maximum responsibility for implementing the national policy for higher education... Polytechnic University sees its overall mission in ensuring its continued competitive advantage in... providing reliable assistance to the state in reinforcing the economic power and international presence of Russia (СПбПУ). Our overall mission is to energize and improve people's lives in Russia and globally (МИФИ). The priority objectives of the University are: to serve the interests of Russia, to promote the development of its intellectual potential through the production of new knowledge and advanced training of the scientific and pedagogical, managerial, and cultural leaders of the society... (ТГУ). Siberian Federal University as a response to regional development challenges was established in 2006... Its primary purpose is to enable leading industries in Russia and Siberia to compete internationally and to strengthen the Russian contribution to the economic development of the Asian-Pacific region (СФУ).

Согласно другой характеристике институциональной идентичности университет – это среда формирования всего общества, а не только отдельной профессиональной страты. В этой связи показательно семантическое окружение ключевого слова *development*. Его сочетаемость показывает, что миссия университета, его образовательная и научная деятельность становятся инструментом развития государства / региона, его экономического, культурного роста. Контексты в корпусе: *to participate in the development of the economy on the basis of*; *being of great importance to the development of the Russian society*; *promotion the development of a civil society based on*; *willing to propel Russia's economic development to the next level*; *our*

University has shaped the development of Kazan and the Volga region; to improve the development of local industry; serving the basis for the economic development; integrate university research into Russian economic development. При формулировании назначения университета в современном обществе типичны такие сочетания, как *maintain the Russian civil identity, development of civil society based on strong democratic traditions, an arena for intercultural dialogue, educate broad-minded cultural individuals*. Частота в корпусе таких языковых единиц, как *Russian* (Rank 6, Freq 34), *Russia* (Rank 10, Freq 21), *state* (Rank 18, Freq 13), *region* (Rank 20, Freq 9), усиливает образ университета как части национальной политики вообще.

Ключевым понятием в создании образа университета является лидерство. *Leading* (Rank 15, Freq 15) входит в 15 самых частотных слов, достаточно представлено в выборке и существительное *leaders* (Rank 27, Freq 6). Риторика лидерства создается за счет частотных сочетаний с лексемой *leading*, таких как *leading university* (Freq 4); *leading research* (Freq 3); *leading scientists* (Freq 2), и единичных: *leading force* (Freq 1); *leading arena* (Freq 1) при описании университета. Лидерство в формулировках миссии используется как характеристика выпускников и будущих специалистов, например, в таком контексте: *advanced training of specialists who are leadership-oriented in their fields* (ТГУ). Идея лидерства выражается через называние имен знаменитых выпускников, состоявших на государственной службе в современной России. Позитивный контекст и позитивные цели лидерства создаются связью с созидательными, культурно и экономически значимыми целями, повышающими качество жизни людей.

Основная характеристика российских университетов, прочитываемая в формулировках их миссий, связана не только с лидерством в национальном пространстве, но и с лидерством в мире. В миссиях обозначается цель лидерства для университета – мировой уровень. Частотность в корпусе языковых единиц *international* (Rank 8, Freq 24), *world* (Rank 32, Freq 17), *global* (Rank 17, Freq 13) выражает приоритетность этой темы для конструирования университетской идентичности. Типичные сочетания: *on the international academic market; to raise the university's international profile in terms of teaching and research; in reinforcing international presence of Russia; purpose is to enable leading industries in Russia and Siberia to compete internationally; in Russia and globally, compete globally, compete internationally, across the world, among the world, in the world, join the world rankings, ranking among the world*.

Примеры широких контекстов: *Ural Federal University was established... as one of the global leaders in the sphere of education, innovation and research* (УрФУ). *The strategic goal of MEFPhI is to become a global leader in education, science and innovation... providing a significant contribution to the innovation-driven growth and the competitiveness of leading Russian high-tech companies in global markets.* (МИФИ). *Siberian Federal University is dedicated to establish itself as a world-class, competitive university that undertakes to make a research and contribution to the international distinction for Siberia's benefit* (СФУ).

Анализируя далее контексты, выражающие характеристики и цели научной деятельности внутри университета, можно констатировать неразрывную связь обучения, науки и инновационной деятельности. Содержательное единство этих понятий выражается семантически и риторически как регулярно повторяющаяся, устойчивая триада «образование – наука – инновации / research, education and innovation». При этом наука инструментализируется как основа лидерства университета в российском обществе и в мире. Слова *science*, *research* сочетаются с языковыми единицами, указывающими на качество, приоритет, превосходство: *high-quality*, *best*, *excellence*, *top level*, *world-class*, *world' best*, *world level*.

Позиционирование университетской науки, как и позиционирование университета, связано с ключевым понятием лидерства. Мировой уровень университетской науки и производимого ею знания называется фактором конкурентоспособности и лидерства университета в России и в мировом пространстве, с одной стороны, что обеспечивает мировое лидерство России как государства – с другой.

Целью университетской науки заявляется производство и распространение нового знания. *Knowledge* является одним из частотных слов (Rank 16 Freq 14) корпуса. Обновление, развитие, приращение знания фокусируется как главная задача университетской науки. Это подтверждает сочетаемость ключевых слов *knowledge*, *research*, *scientific* и *new*, одного из самых частотных слов в корпусе (Rank 11 Freq 19) в формулировках *new research areas*, *new scientific areas*, а также сочетаемость лексем *production*, *generation*, *generate* и *knowledge* в формулировках *production of new knowledge*, *knowledge intensive production*, *generate new knowledge generation of new knowledge*. Фокусируется прорывной инновативный характер научной деятельности как ее обязательная характеристика в новых условиях, что подтверждается сочетаемостью *breakthrough*, *cutting-edge*, *innovative*, *newer*, *advanced*, *pioneering research/knowledge*.

Обращает на себя внимание, что университетская наука идентифицируется как преимущественно целевая и прикладная. В этой связи показательны коллокации справа от *research*, а именно языковые единицы *applied research* (Freq 5), *fundamental and applied research* (Freq 4) и коллокации слева от *science – technology* (Freq 4), *high technology* (Freq 3), *engineering* (Freq 3), подчеркивающие результативный, технологичный характер науки как ее желаемой характеристики.

Примечательно, что научная деятельность оказывается в контексте с понятиями «экономическая целесообразность» и «состязательность». При формулировании научного профиля университета используются лексика, типичная для маркетингового дискурса. Частотны прилагательное *economic* (Rank 11, Freq 17), существительные *project* (Rank 22, Freq 8), *economy* (Rank 21, Freq 8), *business* (Rank 26, Freq 6), *companies* (Rank 28, Freq 5), *market* (Rank 34, Freq 4); прилагательное *effective* (Rank 37, Freq 3). Для формулировок, конструирующих образ науки и научных исследований, характерны следующие сочетания с ключевыми существительными *sci-*

ence, research: by completing projects; development projects; disciplinary projects; economic development projects; implementation of major projects; implemented national projects; major national economic projects; many projects; multi-disciplinary projects; scientific and innovation projects; projects commissioned. Также показательна сочетаемость *research* с языковыми единицами *economic output, economic benefits*, за счет чего конструируется имидж научных исследований как экономически востребованных и целесообразных. В этой связи показательна также частая сочетаемость справа от *research: competitive research* (Freq 4), *globally competitive research* (Freq 3), а также сочетаемость *intensification of research, lead research*. Появление таких языковых единиц, как *competitive* (Rank 30, Freq 5), *competitiveness* (Rank 36, Freq 3), показывает, что университет существует в условиях состязательности и осознает эту состязательность. Контекст состязательности поддерживают и усиливают низкочастотные языковые единицы *priority, advantage* при описании научного профиля и результатов деятельности. Например: *Many projects by our staff found commercial application (ИТМО). By commercializing research innovations and forecasts, and by completing projects commissioned by state institutions, state-owned companies and private business, the HSE has become one of the largest research and innovation centres in the country... (ВШЭ). National Research nuclear University MPhI is a research and educational center... where world's best tech experts excel in creating applicable science, boost economic output in various fields (МИФИ).*

Возможно наблюдать перенос критериев экономической целесообразности, конкурентоспособности на академическую науку. Качество научного исследования определяется критериями его приоритета, применимости в экономике, причем желаемая результативность определяется внешним заказчиком: государством, регионом. Современная наука – это те исследования, которые пересекаются с определенным государством перечнем перспективных и критических направлений. В конструируемом образе науки фокусируется не поисковый характер, но ее технологичность как определенность результата.

Интерпретируя результаты анализа, нужно принять во внимание следующее. Для миссии университета характерна декларативность заявляемого содержания и эксплицитность текстовых значений. При этом эксплицитность заявляемых понятий и связей между ними не сводит анализ только к дескрипции и механической фиксации некоего содержания. Анализ дает возможность наблюдать и оценить объективированное в текстах содержание. Невыраженность определенных понятий, аспектов содержания может быть интерпретирована как неактуальность, нерелевантность таких понятий и аспектов в доминирующей дискурсивной практике. Анализ показывает, что тексты миссий однородны и стандартизированны. Это отражается в однородности тематических компонентов и типичности ключевых слов. Отметим в этой связи языковые единицы, которые нечастотны в выборке и создают некоторую оппозицию для тематических приоритетов, выраженных наиболее частотными словами. Это, во-первых, существи-

тельное *reputation* (2 употребления) и причастия *reputed* (1 употребление) и, во-вторых, прилагательное *independent* (1 употребление). Соответственно, контексты употребления: ...the advantages of studying at SFedU...: a leading position in the area of innovations and research; integration of research into education; a winning combination of fundamental and applied research; highly *reputed schools of thought*... SFedU history dates back to 1915, and since then the university has gained a strong *reputation* for the achievements of its faculty and researchers, as well as students and graduates... The global strength of our *reputation* and qualifications... (ЮФУ). The highest priority of the University is to educate broad-minded, cultured individuals capable of *independent scientific* and philosophical accomplishments (ТГУ).

Эти слова апеллируют скорее к академическим ценностям в духе императивов научного этоса, нежели к риторике маркетизации и менеджериализма. Их нечастотность в выборке создает определенный риторический контраст с прочими формулировками и может рассматриваться как свидетельство в пользу дискурсивного единообразия миссий. Императивы научного этоса, как известно, неcodифицируемы и эмпирически не фиксируются, но имеют значение как теоретический конструкт, задающий идеальные регулятивы честной научной деятельности и ее ценностные и мотивационные предпочтения, которым человек науки следует добровольно. Динамика представлений о предписанном бескорыстии, личной незаинтересованности, независимости исследователя, организованном скептицизме при выборе направлений исследований является предметом анализа в социологии науки (см., например, [25], там же обзор специальной литературы). Зафиксированы показательные точки осмысления трансформаций сложившихся «ментальностей» и «образов науки». Например, социологический мониторинг (1994–2004 гг.) профессиональной деятельности ученых в ведущих российских академических институтах естественно-научного профиля выявил очень высокую долю ученых с устойчивой ориентацией на образец социального поведения ученого в духе научных императивов, ср. вывод по результатам мониторинга: «Поразительно, но... все еще существует бескорыстное стремление к открытию нового знания... Независимо на катастрофическое снижение социального престижа избранной ими сферы деятельности, они неизменно сохраняли преданность науке и научным ценностям в их мертоновском понимании» [Там же. С. 25]. Исследованные тексты миссий демонстрируют дискурсивное единообразие в том, что выдвигают в прагматический фокус социально конструируемые и социально контролируемые модели должного человека науки.

Выводы

Проанализированные миссии университета – один из типов текстов, репрезентирующих происходящие трансформации идеологических и ценностных подходов к роли университетов в обществе. Разумеется, академические процессы и образ науки несводимы к тому, что зафиксировано в миссиях университета. Отмеченные характеристики в способах осмысле-

ния университетской науки отчасти идут от типологической специфики текста – миссия декларативна, коллективна, выражает «корпоративный дух». Одновременно с этим представляется возможным говорить о миссии как показательном отражении динамики общественных процессов и точке фиксации произошедших трансформаций. В проекции включенности университета во властные отношения на стороне государства миссия приобретает роль «входного фильтра» по отношению к тем ценностям, которыми руководствуется университет. Миссия – это модель должного и одновременно сценарий тех действий, которые приведут к реализации должного развития университета. В дискурсивно-аналитическом аспекте следует говорить не только и не столько о риторических эффектах использования языка, сколько о формировании и воспроизводстве определенных социально задаваемых представлений. Языковые структуры действуют как социально конструктивные в том смысле, что создают своего рода рамочное пространство вокруг однородных идей и смыслов.

Выявление ключевых слов с опорой на корпусную методику позволяет связать лингвистический уровень анализа и явления на макроуровне социальных процессов. Можно констатировать включенность университета в практику маркетизации, взаимовыгодных отношений с бизнес-структурами. Очевидно, что основной декларируемой характеристикой университета является то, что университет – партнер на стороне государства. Выражается настроенность на общие с государством ценности и приоритеты. Современный российский университет позиционирует себя как лидер в национальном пространстве и лидер на мировой арене. Университетская наука инструментализируется – становится инструментом легитимации государственной амбиции и права на лидерство в мире. Позиционирование университета в национальном и интернациональном пространстве сопровождается риторикой превосходства, поддерживающей политическую и экономическую стратегии государства. В системе ориентиров университета «государство – рыночные отношения – академические ценности» последние уходят из прагматического фокуса. Вузовская наука позиционируется не как пространство индивидуализированной академической свободы, самобытных, единичных идей и «любопытных одиночек», но как кузница востребованных исследований. Из прагматического фокуса исключаются идеи индивидуализированного поиска, бескорыстия при выборе направлений исследований в соответствии с императивами научного этоса. Они практически не артикулируются как составляющая имиджа науки и университета. Образ университета и университетской науки конструируется как основанный на взаимовыгодных отношениях с государством и бизнесом, на экономических трендах и финансовой успешности.

Литература

1. Беляева Л.Н., Чернявская В.Е. Доказательная лингвистика: метод в когнитивной парадигме // Вопросы когнитивной лингвистики. 2016. № 3. С. 77–84. DOI: 10.20916/1812-3228-2016-3-77-84

2. Чернявская В.Е. Методологические возможности дискурсивного анализа в корпусной лингвистике // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 50. С. 135–148. DOI: 10.17223/19986645/50/9
3. Tognini-Bonelli E. *Corpus Linguistics at work*. Amsterdam et al. : Benjamins, 2001.
4. Baker P., Gabrielatos C., Khosravini M., Krzyzanowski M., McEnery T., Wodak R. A useful methodological synergy? Combining critical discourse analysis and corpus linguistics to examine discourse of refugees and asylum seekers in the UK press // *Discourse and Society*. 2008. Vol. 19 (3). P. 273–306.
5. Baker P. Acceptable bias? Using corpus linguistics methods with critical discourse analysis // *Critical Discourse Studies*. 2012. Vol. 9. P. 247–256. DOI: 10.1080/17405904.2012.688297
6. Brindle A. A corpus analysis of discursive constructions of the Sunflower Student Movement in the English-language Taiwanese press // *Discourse and Society*. 2016. Vol. 27 (1). P. 3–19. DOI: 10.1177/0957926515605957
7. Kyung Hye Kim. Examining US news media discourses about North Korea: A corpus-based critical discourse analysis // *Discourse and Society*. 2014. Vol. 25 (2). P. 221–244. DOI: 10.1177/0957926513516043
8. Samaie M., Malmir B. US news media portrayal of Islam and Muslims: a corpus-assisted Critical Discourse Analysis // *Educational Philosophy and Theory*. 2017. Vol. 1. P. 1–16. DOI: 10.1080/00131857.2017.1281789
9. Камшилова О.Н. LC-технологии в исследованиях освоения языка // Известия Российского государственного педагогического университета им. Герцена. 2014. № 168. С. 103–110.
10. Чернявская В.Е. Дискурсивный анализ и корпусные методы: необходимое доказательное звено? Объяснительные возможности качественного и количественного подходов // Вопросы когнитивной лингвистики. 2018. № 2. С. 34–37. DOI: 10.20916/1812-3228-2018-2-31-37
11. Warnke I., Spitzmüller J. (Hgg.) *Methoden der Diskurslinguistik*. Berlin; New York : Walter de Gruyter, 2008.
12. Clarc B.R. *Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of transformation*. Oxford : Pergamon, 1998.
13. Deem R. «New Managerialism» and Higher Education: The Management of Performances and Cultures in Universities in the United Kingdom // *International Studies in Sociology of Education*. 1998. Vol. 8, № 1. P. 47–70.
14. Kerr C. *The Uses of the University*. Cambridge, Mass. : Harvard University Press. 2001.
15. Schulte P. The entrepreneurial university: a strategy for institutional development // *Higher Education in Europe* 2004. Vol. 29, № 2. P. 187–191.
16. Kirk C.M. Nexus: Mission critical—higher education for the 21st century // *Planning for Higher Education*. 2000. Vol. 29. P. 14–22.
17. Morphey C., Hartley M. Mission statements: A thematic analysis of rhetoric across institutional type // *The Journal of Higher Education*. 2006. Vol. 77 (3).
18. Молодыхенко Е.Н. Идентичность и дискурс: от социальной теории к практике лингвистического анализа // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2017. Т. 8, № 3. С. 122–133. DOI: 10.18721/JHSS.8312
19. Молодыхенко Е.Н. Аксиология дискурса консьюмеризма: о роли языковой оценки в жанре лайфстайл // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. № 6 (38). С. 55–66. DOI: 10.17223/19986645/38/5
20. Дмитриев А.Н. Статусы знания (о социальных маркерах эволюции российского университета первой трети XX века // *Новое литературное обозрение*. 2013. № 4 (122). С. 108–133.
21. Дмитриев А.Н. Переизобретение советского университета // *Логос*. 2013. № 1 (91). С. 41–64.

22. Абрамов Р., Груздев И., Терентьев Е. Тревога и энтузиазм в дискурсах об академическом мире: международный и российский контексты // Новое литературное обозрение. 2016. № 2 (138). С. 16–32.

23. Henkel M. Academic Identity and Autonomy in a Changing Policy Environment // Higher Education. 2005. Vol. 49, № 1/2. P. 155–176.

24. Lynch K., Ivancheva M. Academic freedom and the commercialisation of universities: a critical ethical analysis // Ethics in Science and Environmental Politics. 2015. Vol. 15. P. 1–6. DOI: 10.3354/esep00160

25. Мирская Е.З. Р.К. Мертон и этос классической науки // Вопросы философии. 2005. № 1 (11). С. 11–28.

Сокращения

ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ИТМО – Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

МИФИ – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

СПбПУ – Национальный исследовательский Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

СФУ – Сибирский федеральный университет

СКФУ – Северо-Кавказский федеральный университет

ТГУ – Национальный исследовательский Томский государственный университет

УрФУ – Уральский федеральный университет

ЮФУ – Южный федеральный университет

Corpus-Assisted Discourse Analysis of Russian University 3.0 Identity

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2019. 58. 97–114. DOI: 10.17223/19986645/58/7

Valeria E. Chernyavskaya, Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: tchernyavskaia@rambler.ru

Keywords: discourse analysis, corpus-based language studies, identity, university 3.0, university mission statement.

This article explores a trend in the modern Russian higher education system where universities are collaborating with state, industry and civil society to advance sustainable transformations. With empirical evidence, the author argues that this could be interpreted as a new mission for the university. The study seeks to add to the international debate on the third University mission.

The analysis is conducted in a methodological framework combining corpus linguistics methods and approaches of discourse analysis. The study is twofold. First, this article will follow the question how corpus techniques contribute to discourse linguistics and discourse analysis and in a broader dimension to evidence-based interpretation of linguistic facts. The analysis undertaken is within a methodological framework that is interested in using discourse analysis to uncover the socio-cultural, political, ideological loads upon text structures. The framework itself is in line with recent trends towards corpus-assisted discourse analysis. The corpus linguistic techniques can identify discursive devices that are repeatedly used. From this perspective, the transformation of the university and its mission in modern Russian society are discussed. Second, the article reflects contemporary changes of institutional models of higher education towards 3.0 and 4.0. Based on the mission statements of leading Russian universities, the author discusses how certain values can be foregrounded or backgrounded in texts representing self vision and strategic goals of contemporary universities.

The study showed that the discourse analysis in combination with corpus-based methods was an appropriate method to identify new significant features of the Russian university as a

reflection of social changes and transformation moving towards model 3.0. We can see the growing orientation of Russian universities towards an international scale and a leading role on the global arena. The rhetoric of the free market, leadership and international excellence is established in academic discourse and is a part of higher education research. The basic functions are connected with implementing the national policy for economic development, social constructive role, innovative research, breakthroughs, commercial application of research. The university mission statements reflect a tendency to discursive uniformity and standardization. Within its mission statements, the Russian university discursively constructs its identity as a significant part of the state system, as business-facing and business-friendly, competitive, leading globally. Results could be tied to further social and cognitive research of identities and their construction in and through discourse.

References

1. Belyaeva, L.N. & Chernyavskaya, V.E. (2016) Evidence-based linguistics: Methods in cognitive paradigm. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki*. 3. pp. 77–84. (In Russian). DOI: 10.20916/1812-3228-2016-3-77-84
2. Chernyavskaya, V.E. (2017) Towards methodological application of discourse analysis in corpus-driven linguistics. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 50. pp. 135–148. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/50/9
3. Tognini-Bonelli, E. (2001) *Corpus Linguistics at work*. Amsterdam et al.: Benjamins.
4. Baker, P. et al. (2008) A useful methodological synergy? Combining critical discourse analysis and corpus linguistics to examine discourse of refugees and asylum seekers in the UK press. *Discourse and Society*. 19 (3). pp. 273–306. DOI: 10.1177/0957926508088962
5. Baker, P. (2012) Acceptable bias? Using corpus linguistics methods with critical discourse analysis. *Critical Discourse Studies*. 9. pp. 247–256. DOI: 10.1080/17405904.2012.688297
6. Brindle, A. (2016) A corpus analysis of discursive constructions of the Sunflower Student Movement in the English-language Taiwanese press. *Discourse and Society*. 27 (1). pp. 3–19. DOI: 10.1177/0957926515605957
7. Kyung Hye Kim. (2014) Examining US news media discourses about North Korea: A corpus-based critical discourse analysis. *Discourse and Society*. 25 (2). pp. 221–244. DOI: 10.1177/0957926513516043
8. Samaie, M. & Malmir, B. (2017) US news media portrayal of Islam and Muslims: a corpus-assisted Critical Discourse Analysis. *Educational Philosophy and Theory*. 1. pp. 1–16. DOI: 10.1080/00131857.2017.1281789
9. Kamshilova, O.N. (2014) LC-Technologies in Language Acquisition Studies. *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. Gertsena – Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Science*. 168. pp. 103–110. (In Russian).
10. Chernyavskaya, V.E. (2018) Discourse analysis and corpus approaches: a missing evidence-based link? Towards qualitative and quantitative approaches in language studies. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki*. 2. pp. 34–37. (In Russian). DOI: 10.20916/1812-3228-2018-2-31-37
11. Warnke, I. & Spitzmüller, J. (2008) *Methoden der Diskurslinguistik*. Berlin; New York: Walter de Gruyter.
12. Clarc, B.R. (1998) *Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of transformation*. Oxford: Pergamon.
13. Deem, R. (1998) “New Managerialism” and Higher Education: The Management of Performances and Cultures in Universities in the United Kingdom. *International Studies in Sociology of Education*. 8 (1). pp. 47–70.
14. Kerr, C. (2001) *The Uses of the University*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

15. Schulte, P. (2004) The entrepreneurial university: a strategy for institutional development. *Higher Education in Europe*. 29 (2). pp. 187–191.
16. Kirk, C.M. (2000) Nexus: Mission critical—higher education for the 21st century. *Planning for Higher Education*. 29. pp. 14–22.
17. Morphew, C. & Hartley, M. (2006) Mission statements: A thematic analysis of rhetoric across institutional type. *The Journal of Higher Education*. 77 (3).
18. Molodychenko, E.N. (2017) Identity and discourse: from social theory to practice of discourse analysis. *Nauchno-tehnicheskie vedomosti SPbGPU. Gumanitarnye i obshchestvennye nauki – St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences*. 8 (3). pp. 122–133. (In Russian). DOI: 10.18721/JHSS.8312
19. Molodychenko, E.N. (2015) Axiological dimension in the discourse of consumerism: the role of evaluative language in the lifestyle genre. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 6 (38). pp. 55–66. DOI: 10.17223/19986645/38/5
20. Dmitriev, A.N. (2013) Statusy znaniya (o sotsial'nykh markerakh evolyutsii rossiyskogo universiteta pervoy treti XX veka) [Statuses of knowledge (on social markers of the evolution of a Russian university in the first third of the 20th century)]. *Novoe literaturnoe obozrenie – New Literary Observer*. 4 (122). pp. 108–133.
21. Dmitriev, A.N. (2013) Pereizobretenie sovetskogo universiteta [Reinventing the Soviet University]. *Logos*. 1 (91). pp. 41–64.
22. Abramov, R., Gruzdev, I. & Terent'ev, E. (2016) Trevoga i entuziazm v diskursakh ob akademicheskom mire: mezhdunarodnyy i rossiyskiy konteksty [Anxiety and enthusiasm in discourses about the academic world: international and Russian contexts]. *Novoe literaturnoe obozrenie – New Literary Observer*. 2 (138). pp. 16–32.
23. Henkel, M. (2005) Academic Identity and Autonomy in a Changing Policy Environment. *Higher Education*. 49 (1/2). pp. 155–176.
24. Lynch, K. & Ivancheva, M. (2015) Academic freedom and the commercialisation of universities: a critical ethical analysis. *Ethics in Science and Enviromental Politics*. 15. pp. 1–6. DOI: 10.3354/esep00160
25. Mirskaya, E.Z. (2005) R.K. Merton i etos klassicheskoy nauki [R.K. Merton and the ethos of classical science]. *Voprosy filosofii – Problems of Philosophy*. 1 (11). pp. 11–28.

УДК 81.1

DOI: 10.17223/19986645/58/8

И.А. Якоба

ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ КОМПЛЕКС МЕХАНИЗМОВ, УСИЛИВАЮЩИХ ПЕНЕТРАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ ПАТТЕРНОВ ДИСКУРСА

Рассматривается речь М.Л. Кинга «У меня есть мечта» сквозь призму технологии «Умная настройка» дискурса, что позволяет уточнить лингвокогнитивные механизмы эффективной коммуникации. Показано действие механизмов смысловоритмической модуляции, имажинеринга, инспирации и единения для лучшей пенетрации паттернов в дискурсе. Выявлено, что дискурсивные паттерны активируются посредством умной силы, что дает возможность управлять дискурсом и вести адресата к заданной цели.

Ключевые слова: пенетрация паттернов, технология «Умная настройка», М.Л. Кинг.

Целью статьи является обоснование значимости паттернизации дискурса, зависимости пенетрационной способности дискурсивных паттернов от эмоционально-образного оформления высказывания, смысловоритмических модуляций, насыщенности речи риторическими приемами, в том числе метафорическими конструкциями и интертекстуальными отсылками к религиозным источникам. Гипотезой послужила идея настраиваемости дискурса посредством дискурсивных сил (умной, мягкой и жесткой) и лингвокогнитивных механизмов для достижения заданного результата и усиления эффективности (подробнее о силах и механизмах см. [1. С. 229–241]). При этом *сила дискурса* понимается как качество дискурса, определяющее возможности и средства воздействия и/или взаимодействия с адресатом, которые имеют значимость для контроля общественного сознания. Сила дискурса выдвигается ключевым параметром настройки и управления дискурсом для достижения его эффективности. Сила дискурса основана на действии механизмов, которые понимаются как принцип, интегрирующий дискурс, обуславливающий его развитие; как дискурсивно-когнитивная операция конструирования образов адресата коммуникации. Действие сил выявляется посредством интерпретации актуализации механизмов мышления в речи, вербализация которых складывается из комплекса разнообразных техник, стратегий, риторических фигур, композиционных, стилистических и других средств. Результатом исследования является объяснение действия лингвокогнитивных механизмов и дискурсивных стратегий, регулирующих пенетрацию паттернов, уточнение технологичного способа конструирования и управления дискурсом на основе технологии «Умная настройка» дискурса [Там же. С. 158–203].

Паттернизацию дискурса представляем как деление высказывания на легко распознаваемые (отличаемые) ассоциативные структуры-фрагменты, удобные для последующего внедрения смысла – создания паттернов¹. Под *дискурсивным паттерном* понимаем когнитивные шаблоны, стереотипизирующие мышление, имеющие выражение в дискурсе. Например, когнитивный шаблон попытки достижения своей цели посредством стимулирования других людей к действию или другой ответной реакции может выражаться директивами, которые объединяют просьбы, советы, приказы, требования и другие побудительные речевые акты. Однако директивы могут быть завуалированы другими конструкциями, чтобы не встретить сопротивления адресата, как в паттернах 12–15 речи М.Л. Кинга (см. ниже). При этом *пенетрационную способность* паттернов дискурса рассматриваем как способность проникновения, закрепления и замещения в когнитивном пространстве адресата заданных смыслов. Пенетрационная способность паттернов регулируема и может меняться – ослабляться или усиливаться по ходу высказывания для обеспечения лучшей встраиваемости дискурса в сознание адресата посредством смыслоритмической модуляции дискурса. Эти когнитивно-дискурсивные процессы взаимосвязаны: адресант может наделить паттерн определенной способностью проникать в сознание адресата посредством его определенного конструирования и насыщения языковыми и дискурсивными конструкциями или, наоборот, использовать нейтральную лексику и стандартные простые конструкции, чтобы паттерн не вызывал интереса и казался обычным, известным, не вызывающим сомнения фактом.

Такое чередование «сильных» и «слабых» паттернов может быть объединено в *смыслоритмическую модуляцию*, что позволяет создать более благоприятные когнитивно-психологические условия для пенетрации смысла сообщения. При этом смыслоритмическая модуляция понимается как целенаправленное комбинирование спадов и подъемов (периодов) интенсивности смысловых фрагментов через аттрактивизацию или вуализацию паттернов для управления технологичным дискурсом. С одной стороны, конструирование *смыслоритмического «подъема»* позволяет привлечь внимание к сообщению, креативно оформленному, воздействуя на эмоционально-образную сферу. С другой стороны, конструирование *смысло-*

¹ Слово «паттерн» (англ. pattern «шаблон», «модель», «система», «структура») применяется в различных научных дисциплинах и сферах деятельности. В психологии паттерн обозначает определенный набор, шаблон поведенческих реакций или последовательностей стереотипических действий, поэтому относительно любой области, где человек применяет шаблоны (а это почти все сферы), можно говорить о паттернах. Например, гипнотический паттерн – это текст, который использует гипнолог, чтобы ввести человека в транс. Словесные паттерны – это речевые приемы, которые сознательно или бессознательно применяются в речи. Паттерны мышления – мыслительные шаблоны, в частности обобщения и т.д. [2]. Такая стереотипизация поведения, свойственная человеку, позволяет использовать выявленные шаблоны как дискурсивные паттерны для управления коммуникацией.

ритмического «спада» может использоваться намеренно, чтобы на сознательном уровне адресат пропустил какую-то информацию мимо ушей, не заметил ее и не обратил на нее внимания. Для этого могут использоваться пресуппозиции, которые позволяют беспрепятственно проникать сквозь когнитивные фильтры мышления адресата и незаметно встраивать нужную информацию, как будто она предполагалась уже известной, в его мыслительную деятельность, смещая смысл сообщений.

В качестве репрезентативного материала для анализа пенетрационной способности дискурсивных паттернов была выбрана речь М.Л. Kinga «У меня есть мечта», произнесенная 28 августа 1963 г. на Марше на Вашингтон за рабочие места и свободу (англ. *March on Washington for Jobs and Freedom*) [3]. Это обусловлено тем, что в ней отчетливо проявляется деление речи на смысловые паттерны, воздействие которых усилено многократными конструкциями лексико-стилистических повторов, риторическими и стилистическими приемами, дискурсивными стратегиями и лингвокогнитивными механизмами. Данная речь рассматривается в поликодовом представлении, поскольку исследовательская практика лингвиста наталкивается на необходимость расширения объекта исследования за счет неречевого взаимодействия коммуникантов, что требует анализа производства и восприятия речи, исследуемых в психолингвистике [4. С. 21].

Речь Мартина Лютера Kinga, лидера движения за гражданские права чернокожих в США, похожа на проповедь, возможно, потому, что он начинал свою карьеру как баптистский священник. Это не была проповедь в чистом виде, но выступление было сконструировано в религиозном формате, на тот момент столь близком для 300 тысяч американцев, стоявших у подножья монумента Линкольну (рис. 1).



Рис. 1. Выступление М.Л. Kinga на мирной акции протеста 28 августа 1963 г.

Стилистика выступления в первую очередь продиктована отказом автора от стандартных политических лозунгов и обращением к личному рассказу о своей мечте [5]. М.Л. Кинг не заявляет директивно, что считает необходимым делать, а завуалированно представляет политическую программу своих действий, говоря о том, о чем мечтает. Такая форма изложения интенсифицирует силу воздействия его речи на аудиторию, так как Кинг призывает не к разуму, а к чувствам и эмоциям слушателей и вселяет в них надежду на лучшее будущее, описывая свою мечту [5]. Посредством *умной силы* эта мечта может быть внедрена в сознание адресата; усиливается вероятность того, что идеи равенства и братства станут общими и распространенными и народ начнет воспринимать их как собственные.

Рассматривая речь М.Л. Кинга в поликодовом представлении, следует учесть особую атмосферу события, активирующую механизм позиционирования: единение. На портале YouTube есть видеозапись речи в черно-белом формате, продолжительностью 16 мин 21 с [6]. Речь предваряют кадры шествия участников политического марша на Вашингтон, которые пели негритянский спиричуэл «Все преодолеем»¹ [7], что способствует созданию эффекта единства Кинга с афроамериканским народом.

Размер дискурса составляет 1 666 слов в оригинале на английском языке, который можно разделить на 15 дискурсивных паттернов. Перечислим паттерны, условно названные следующим образом:

первая часть – вводная, объяснение своей позиции и цели: 1) приветствие, адъективация демонстрации как великой; 2) усиление своей позиции путем ссылки на авторитетный источник, в данном случае на Линкольна как борца против рабства; 3) констатация отсутствия позитивных изменений в жизни негров; 4) постановка интенции вернуть свои права; 5) прямой призыв к действию; 6) констатация угрозы бездействия по отношению к уравниванию прав негров и белых, выдвижение условия для справедливости; 7) прямое обращение к неграм посредством призыва к действию; 8) нарратив осознания общей судьбы рас; 9) констатация негативного отношения к неграм и высказывание недовольства к положению дел, выдвижение шести условий для достижения удовлетворительной жизни; 10) описание трудностей и убеждение в необходимости веры; 11) директивы возвращаться назад домой, чтобы изменить ситуацию;

вторая часть – кульминация, стимулирование адресата к действиям: 12) представление плана действий, завуалированных в мечту; 13) акцентуация веры и надежды как опоры для будущих действий; 14) акцентуация свободы как условия для величия страны; 15) акцентуация равенства как условия для будущей свободной жизни.

М.Л. Кинг был представлен на митинге как моральный лидер нации (англ. *the moral leader of our nation*) своим соратником А.Ф. Рандолфом (A. Philip Randolph), что послужило дополнительным фактором для усиления

¹ Песня «Все преодолеем» стала полуофициальным гимном борцов за гражданские права и в США, и во всем мире.

ния авторитетности оратора. Обширная вступительная часть (две трети речи – 1 074 слова, 11 паттернов) носит характер социально-политического обращения к собравшимся на ралли. Вторая часть речи (одна треть от общего объема – 584 слова, 4 паттерна) посвящена непосредственно изложению мечты М.Л. Кинга [8. С. 83].

Концепт *мечта* дает название всей его речи, прочно закрепившееся в истории. В жанровом отношении эта часть содержит целый ряд признаков дискурса проповеди, как ее понимают в баптистской деноминации¹ [9]. В имеющихся оригинальных видеозаписях [6] его речи видно, что первая часть выступления произносится с опорой на печатный текст. Она служит экспозицией, предваряющей кульминационную часть выступления Кинга «*I Have a Dream*», которая позволяет практически исключить возможную двусмысленность толкования концептуального содержания дискурса [8. С. 83].

В процессе анализа выявлено 19 повторяющихся лексико-грамматических конструкций и отдельных слов, в частности конструкций с предлогами, наречиями, союзами и вопросительными словами, которые актуализируются с помощью стилистических приемов, с общим количеством 113 лексико-синтаксических повторов: *one hundred years later* (4 раза), *we've come* (4 раза), *we refuse to believe* (2 раза), *now is the time* (5 раз), *I (we) must* (6 раз), *we cannot be satisfied* (9 раз), *some of you have come* (3 раза), *go back to* (6 раз), *I have a dream* (9 раз), *that one day* (6 раз), *with this faith* (5 раз), *will be able* (5 раз), *let freedom ring from* (9 раз), *free at last!* (3 раза), *together* (4 раза), *until* (3 раза), *as long as* (5 раз), *with* (16), *when* (9). Например, *I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of "interposition" and "nullification" -- one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.*

Такая композиционная структура создает специфический гипнотический эффект, усиленный чередованием ритмических подъемов и спадов. Постоянно повторяющиеся слова и словосочетания не только способствуют лучшему запоминанию, но и являются некими психологическими якорями, за которые цепляется сознание, воспринимая такие конструкции как наиболее значимые смысловые фрагменты. В семантическом ядре выделены самые значимые ключевые слова – существительные: *freedom* (20 раз), *negro* (15 раз), *day* (12 раз), *dream* (11 раз), *nation* (11 раз), *today* (9 раз), *justice* (8 раз); среди ключевых предикатов выделим *let* (13 раз), *ring* (12 раз), *come* (10 раз)². Отметим, что вспомогательный глагол *will* повторяется

¹ Проповедь – выражение или распространение каких-либо идей, знаний, истин, учений или верований, которое осуществляет их убежденный сторонник. Здесь проповедь произносится перед незнакомой аудиторией и имеет профетическую форму, поэтому может быть названа как проповедь – миссия или конструктивная пропаганда.

² Для данного семантического анализа текста и seo-анализа текста использовались интернет-сайты <https://advego.com/text/seo/> и <http://www.seotxt.com/service/optimizer/>

29 раз, что указывает на предпочтение оратора акцентировать внимание на потенциальном желаемом будущем.

Заслуживает внимания факт множественного употребления модальных операторов. Ими изобилует его выступление, это, например, особое нестандартное, ситуативное интонационное оформление высказываний (повышения и понижения голоса и изменение интонационных структур внутри предложений), эмоциональное и психологическое паузирование (длительностью до 15 секунд); экспрессивная оценка посредством лексических повторов (*I have a dream*); временная (*nineteen sixty-three, today*), пространственная локализация (*here, in Mississippi, in New York*); использование разнообразных модальных глаголов: *must* (5 раз), *can* (4 раза), *cannot* (6 раз), *will be able* (8 раз); формы сослагательного наклонения: *It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment*.

Акцент, который делает Кинг на возможности осуществления действий, актуализирует механизм инспирации. Кинг вдохновляет слушателей на борьбу за свои права, изменение их жизни к лучшему в 13-м паттерне «Акцентуация веры и надежды как опоры для будущих действий». Он создает представление о реальности достижения мечты, что основано на использовании персуазивных конструкций посредством внушения веры и надежды как опоры для будущих совместных действий. Он многократно использует персональную дейктичность: личное местоимение 1-го лица множественного числа *we*, чтобы показать свою личную заинтересованность и намерение действовать в интересах черного населения. Если сравнить частотность использования местоимений 1-го лица в единственном и множественном числе, то бросается в глаза предпочтение Кинга говорить от лица всего черного населения США: 49 случаев употребления местоимения *we*, тогда как местоимение *I* он использовал в 3,5 раза реже – 14 раз.

Чтобы выявить смысловитмический рисунок выступления Кинга, данная речь была разделена на 15 дискурсивных паттернов по принципу смыслового наполнения (рис. 2). Каждый паттерн несет отдельный смысл или идею, которая отличается от других как интенционально, так и композиционно и семантически. Объем также различается и зависит от цели адресанта.

Как видно на диаграмме, самый короткий паттерн – первый «Объяснение своей позиции и цели», он состоит из 27 слов и выполняет функцию ритмического подъема. Он настраивает адресата на тему последующей речи, модализируя отношение автора к теме выступления и слушателям. С первой строки оратор присоединяет себя к аудитории, что позволяет усилить взаимодействие с адресатом посредством актуализации механизма позиционирования: единение, указывая на свое позитивное состояние, адресант передает ощущение счастья адресату, связывая себя и его общим событием, которое к тому же он позиционирует как самое великое, чем создается впечатление о значимости события для целой нации. Использование эпитета, выраженного прилагательным в превосходной степени сравнения, активизирует механизм имажинеринга: гиперболизация, чтобы придать значимость событию для целой нации. Это вступление обладает

огромным потенциалом для привлечения внимания адресата посредством присоединения к аудитории и конструирования эмоционально значимого образа, основанного на концептах свободы и равенства: *I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.*

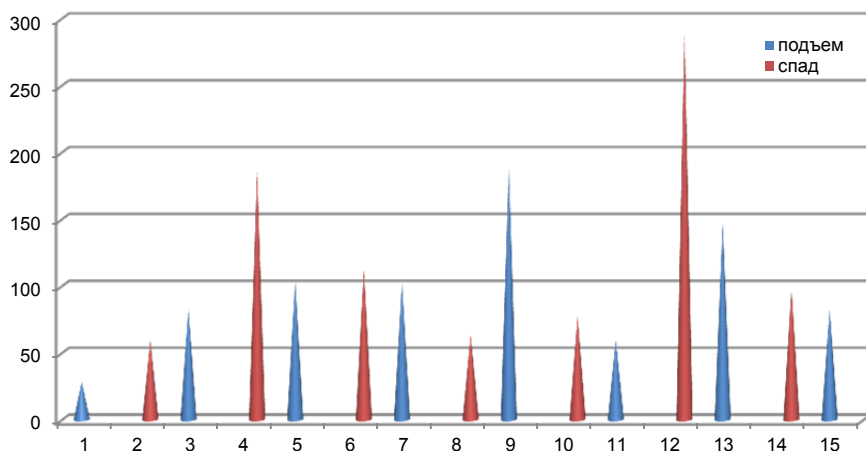


Рис. 2. Соотношение ритмических модуляций в смысловом ритмическом рисунке выступления Кинга

Самый длинный 12-й паттерн «Представление плана действий, завуалированных в мечту» состоит из 289 слов и находится в зоне золотого сечения (в 5/8 части выступления). Он выполняет функцию ритмического спада, так как не требует от адресата сосредоточения, не содержит призывов, вопросов или директивных указаний, не стимулирует к действиям. Он демонстрирует мечтания оратора, который, описывая свою мечту, инкорпорирует свое отношение к расовой проблеме и идеологически модализирует паттерн как желаемое будущее посредством стратегии моделирования потенциального будущего. Считается, что это начало второй части речи и кульминация всего выступления Кинга. Деконструкция этого паттерна, описывающего «мечту Кинга», выявляет цепь запланированных желаемых действий, завуалированных внешне в форму мечты, чтобы смягчить его политические требования. Помимо 9-кратного рефрена *I have a dream*, аллюзий на Конституцию США – *all men are created equal*, аллюзий на Ветхий и Новый Заветы – *sisters and brothers; every valley shall be engulfed, every hill shall be exalted and every mountain shall be made low, the rough places will be made plains and the crooked places will be made straight and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together* (Исаия 40, 3–5; Мф. 3, 3; Мк. 1, 3; Лк. 3, 4–6) [10], этот паттерн насыщен многочисленными эпитетами, метафорами, метонимией, сравнениями: *the American dream; the table of brotherhood; an oasis of freedom and justice; with its vi-*

cious racists; ...with its governor having his lips dripping with the words of "interposition" and "nullification"; little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.

Все эти риторические приемы актуализируют механизм имажинеринга и воздействуют на эмоциональное состояние адресата, чтобы дальнейшие завуалированные модализацией возможности пламенные призывы, опять четырежды повторенные, оказали необходимое действие и нашли отклик у адресата: *With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. And this will be the day -- this will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning...*

Выявленные конструкции с повторяющимися лексико-стилистическими элементами распределяются неравномерно: есть паттерны без повторов, а есть очень насыщенные паттернами высказывания, когда повтор одной лексико-синтаксической конструкции параллельно / последовательно / по спирали / с чередованием усиливается другой или несколькими конструкциями (рис. 3). Необходимо заметить, что только в первом паттерне наблюдается отсутствие композиционно-стилистических повторов. Это может быть объяснено тем, что в 1-й паттерн заложен другой, не менее значимый прием – пресуппозиция, смещающая смысл предложения на чувство счастья, которое ощущал оратор, по его словам, при этом величие демонстрации, которая только начиналась, как будто уже естественно под-разумевалось. Длинная пауза, сделанная после первого предложения, возможно специально предназначенная для бурных оваций, дала необходимое время для пенетрации пресуппозиции.

Использование интонационно-синтаксических и эмоциональных пауз не только между предложениями, но и внутри, после параллельных конструкций и лексических повторов, дает возможность оратору расставить смысловые акценты и подготовить слушателя к важным идеям. Кроме того, эмоциональные паузы отражают сильную вовлеченность, заинтересованность Кинга в достижении результатов и вызывают ответную реакцию эмоциональной поддержки и психологического раппорта у его адресата. После каждой паузы в видеозаписи слышны возгласы одобрения и аплодисменты. Отметим, что в выступлении наблюдается насыщенность первой части риторическими приемами и средствами интеллектуальной экспрессивности, а второй – стилистическими повторами. Возможно, Кинг это сделал намеренно, чтобы сначала подготовить адресата эмоционально, добиться более глубинного воздействия, вовлечь его в свое выступление, установить раппорт с адресатом, придав сказанному экспрессивности, образности и выразительности.

Кинг широко использует интонационные средства выразительности речи, воздействующие на чувства адресата, выражающие эмоциональное со-

стояние говорящего, усиливающие смысловое и экспрессивное отношение к предмету речи, значение звучащей речи в целом: мелодический, ритмический контур речи, интенсивность движения тона, степень громкости, паузы, логические ударения. Наибольший интерес, по нашему мнению, представляет мелодичность его речи. Он говорит очень выразительно, отчетливо произносит каждое слово, при этом как бы растягивая все звуки таким образом, что кажется, будто он пропевает свою речь. Он нестандартно регулирует степень громкости голоса внутри предложений и составляет паузы особым способом, руководствуясь не логикой, а эмоциями: *And this will be the day* / пауза / *this will be the day when all of God's children* / пауза, возгласы одобрения / *will be able to sing with new meaning: My country 'tis of thee,* / пауза / *sweet land of liberty, of thee I sing* / пауза. Иногда паузы внутри предложений длиннее, чем между предложениями. Его речь приобретает особое звучание и своеобразие, что можно наблюдать и в других его выступлениях (см., например, речь *I Have Been to the Mountaintop* [11]).

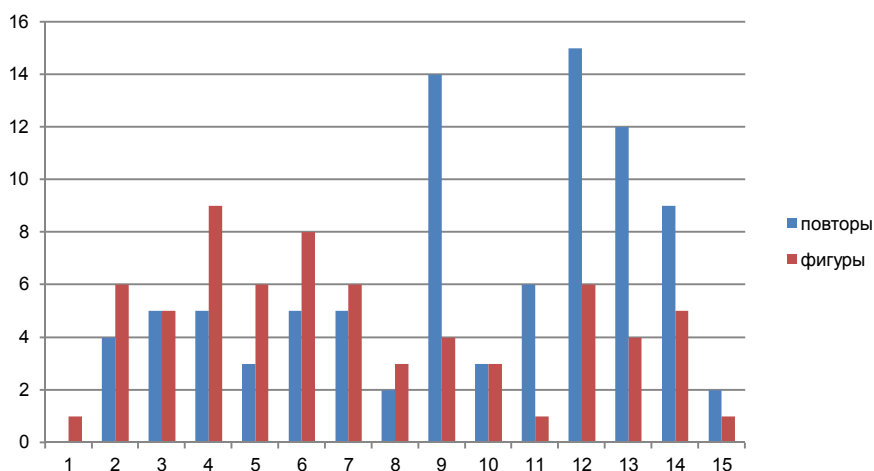


Рис. 3. Соотношение композиционно-стилистических повторов и риторических фигур

Представим наиболее значимые и действенные, на наш взгляд, риторические и стилистические приемы, дискурсивные стратегии и лингвокогнитивные механизмы, которые способствуют усилению эмоционально-образного воздействия на адресата, так как дискурсивные и стилистические импликации проявляются посредством целого комплекса образно-выразительных ресурсов [12. С. 351].

Кольцевой композиционный прием, соединяющий логически первый абзац и последнее предложение выступления посредством повтора глагола присоединения *to join*, позволяет адресанту привлечь внимание и связать вместе концепты единства и братства: *I am happy to join with you today in*

what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. <...> ...when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands.

Метафорические сравнения (*justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream; this momentous decree came as a great beacon light of hope*), метафоры (*an oasis of freedom and justice; a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity; the cup of bitterness and hatred; the heat of injustice; satisfy our thirst for freedom; the bank of justice is bankrupt*); эпитеты (*a lonely island, a vast ocean; symbolic shadow*), метонимия (*America has defaulted on this promissory note; to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood*), повторы (*a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression*), аллитерация (*dignity and discipline; physical force*), консонантное созвучие (*to cash a check; the sons of former slaves and the sons of former slave owners; with this faith, we will be able*), которых огромное множество в выступлении Кинга, сделали его речь яснее, образнее, выразительнее и смогли придать его мыслям эмоциональные оттенки настоящей мечты, донести их до самых глубин сознания и сердец слушателей.

Рамочные конструкции, эпанафетисис (1. *I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today! I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today!*; 2. *Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children*) и анадиплосис синтаксических повторов (*America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked "insufficient funds"*), с одной стороны, придают речи ритмичности и динамичности, а с другой – служат созданию эффекта фона и способствуют лучшему пониманию заложенной информации, так как внимание привлекается новой информацией, а уже известное выступает фоном. Полисиндетон, выполняя функцию объединения, в то же время способствует ритмической организации речи: *...with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of «interposition» and «nullification»...*

В 4-м паттерне «Постановка интенции вернуть свои права», рассказывая о нищете, бесправии и социальной несправедливости в отношении афроамериканского населения страны, Кинг использует «удивительную по красоте и типично американскую по духу развернутую концептуальную метафору, уподобляя борьбу против расового угнетения, свободу и демократию обналичиванию чека и предъявлению векселя – долгосрочного обязательства перед каждым американцем – на основе знаменательных слов «зодчих» Конституции и Декларации независимости» [8. С. 83]: *In a sense we've come to our nation's capital to cash a check. <...> Instead of honor-*

ing this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked «insufficient funds». But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt...

Остановимся подробнее на интонационных особенностях речи Кинга, потому что он специфически интонирует предложения, руководствуясь больше ритмической организацией речи, чем структурной и смыслологической. Расставляя паузы через примерно одинаковые промежутки времени, он, возможно, старался сделать свою речь более доступной для понимания массового адресата, так как говорил в микрофон для огромной аудитории на открытом пространстве. В то же время четкий ритм способствует лучшей пенетрации информации, а размеренный темп вызывает гипнотический эффект. Если в начале речи темп был весьма размеренный, а мелодический строй спокойный и уверенный, то к концу речи Кинг постепенно повышал голос, насыщая речь различными эмоциями, от позитивных до негативных и обратно. Повышение громкости и напряженности голоса указывает на значимые моменты в зонах смыслового давления. Установив раппорт с адресатом посредством подстройки под дыхание благодаря четкой ритмизации речи, он почувствовал ответную реакцию в виде аплодисментов и возгласов одобрения и наладил обратную связь.

Обратная связь с адресатом является важным элементом дискурсивного взаимодействия посредством *умной силы*. Так, если в первой части его речи (паттерны 1–11) превалируют аплодисменты (зарегистрировано 16 случаев, из них самые длинные в 4-м паттерне, где он представляет свою цель – вернуть права черному населению – посредством метафоричных конструкций по обналичиванию чека, длительностью 15 секунд), то во второй, кульминационной части (паттерны 12–15), где он представляет свою предвыборную кампанию, завуалированную в мечту, посредством веры и надежды как опоры для будущих действий, завуалированного условия для величия страны и завуалированного условия для равенства, выраженного пресуппозицией и стратегией моделирования желаемого будущего, практически все паузы сопровождаются аплодисментами и возгласами одобрения. Наличие длительных пауз (долготой более 10 секунд в 4-, 6-, 7-, 8-, 9-, 12- (дважды), 15-м паттернах) обосновано когнитивной необходимостью конструирования перерывов между подачей информации для ее усвоения и обдумывания. Хотя Кинг строит длинные предложения, но профессиональная ритмичная паузация внутри предложений позволяет ему превратить этот недостаток в достоинство. Например, самое первое предложение 1-го паттерна состоит из 27 слов, а последний паттерн состоит из трех предложений, первое из которых состоит из 71 слова, что не мешало Кингу стать одним из самых эффективных ораторов XX в.

В результате исследования сделан вывод о значимости лингвокогнитивных механизмов смыслоритмической модуляции, имажинеринга, инспирации и единения для лучшей пенетрации паттернов в дискурсе М.Л. Кинга при поликодовом рассмотрении. Наряду с использованием Кингом *умной силы*, которая ведет адресата к заданной цели (здесь пропа-

ганда борьбы за права негров и призывы к открытым действиям), ясно прослеживается субъективная идеологическая модализация дискурса, которая заключается в выражении отношения адресанта к содержанию его высказывания, целевой установки речи, отношения содержания высказывания к действительности. В ряду частотных дискурсивных и языковых явлений, которые усиливают пенетрационную способность паттернов в рассматриваемой речи Кинга, отметим стратегию моделирования потенциального будущего, пресуппозиции, риторические приемы и средства интеллектуальной экспрессивности: эпитеты, метафоры, метонимию, сравнения, композиционно-стилистические повторы, интонационно-синтаксические и эмоциональные паузы, кольцевой композиционный прием и т.д.

Выделение паттернов в дискурсе при его деконструкции способствует более точному структурированию успешных коммуникативных моделей. В речи Кинга выявлено 15 дискурсивных паттернов, логическая последовательность которых стимулирует обратную связь с адресатом и активирует взаимодействие посредством *умной силы*, что дает возможность управлять дискурсом и вести адресата к заданной цели. Среди частотных паттернов речи Кинга отметим констатацию фактов, модализованный нарратив, призывы к действиям, прямые директивы, предложение конкретных действий для достижения свободы и равенства черного населения США. Итак, технология «Умная настройка» дискурса позволяет не только выявить лингвокогнитивные механизмы, дискурсивные силы и стратегии, риторические и стилистические приемы, стимулирующие достижение успешного результата коммуникации, но и раскрыть потенциал взаимодействия адресанта с адресатом, сконструировать технологичный дискурс с заданными параметрами.

Литература

1. Якоба И.А. Власть дискурса: моделирование дискурсивного взаимодействия. Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2016. 242 с.
2. Минакова М.А. Паттерн. URL: <https://www.psych.ru/glossary/view/88/>
3. Martin Luther King, Jr. I Have a Dream. URL: <http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm>
4. Тарасов Е.Ф. Проблемы теории речевого общения // Вопросы психолингвистики. 2010. № 12. С. 20–26.
5. Буянов Е., Буянова К. Речь Мартина Лютера Кинга «I have a dream» («У меня есть мечта»). URL: https://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/_i-have-a-dream-rech-kinga.php
6. King Martin Luther, Jr. I have a dream (video). URL: https://www.youtube.com/watch?v=HRIF4_WzU1w
7. Песни для политических действий. URL: <http://www.agitclub.ru/singout/songbook/classics/weshallovercome.htm>
8. Шпетный К.И. Лингвостилистические особенности ораторской речи Мартина Лютера Кинга «I Have A Dream» // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2014. Вып. № 17 (703). С. 80–94.
9. Феодосий, епископ Полоцкий и Глубокский. Гомилетика. Теория церковной проповеди. Москва ; Сергиев Посад : Московская духовная академия, 1999. 324 с.
10. Исаия 40, 3–5; Мф. 3, 3; Мк. 1, 3; Лк. 3, 4–6.

11. *I Have Been to the Mountaintop* Full Speech. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ixfwGLxRJU8>

12. Роговская С.Е., Башмакова И.С. Стилистические приемы и выразительные средства в языке // Язык, культура и научно-технические инновации в странах изучаемых языков : материалы Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. 2016. С. 349–354.

A Linguocognitive Complex of Mechanisms Intensifying Discourse Pattern Penetrative Ability

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2019. 58. 115–128. DOI: 10.17223/19986645/58/8

Irina A. Yakoba, Irkutsk National Research Technical University (Irkutsk, Russian Federation). E-mail: irina_yakoba@mail.ru

Keywords: patternization, pattern penetration, discourse deconstruction, “Smart Tuning” technology, M.L. King.

The author considers Martin Luther King’s speech “I Have a Dream” through the prism of the “Smart Tuning” discourse technology that helps to clarify its interaction potential with the addressee – an average American of the mid-1960s. The choice is determined by the fact that it is clearly divided into sense patterns; their impact is intensified by multiple constructions of lexical and stylistic iterations, rhetorical and stylistic devices, discourse strategies and linguocognitive mechanisms.

The aim of the article is the objectivation of discourse patternization importance, the relation of discourse pattern penetration ability and narrative emotive imaginative filing, sense-rhythmic modulations, speech saturation of rhetorical devices. Among them are metaphoric constructions and intertextual references to religious sources. The idea of discourse tuning by means of discourse powers and linguocognitive mechanisms for planned result destination and effect intensification served as a hypothesis.

In the course of the research, the following procedures were carried out through discursive and critical analysis, the method of deconstruction, content analysis: the speech division into discursive patterns, the modeling of the sense-rhythmic structure, the revealing of nuclear concepts, rhetorical, stylistic, compositional techniques, discursive strategies for recognition of linguocognitive mechanisms lying in their basis, the grounding for the smart power action for controlling discourse.

The special roles of the compositional and the sense-rhythm speech structures and means of expression are identified. The penetration capacity of discourse patterns depends on the emotionally-shaped expression decoration, intellectual expressivity, sense-rhythmic modulations, speech saturation of metaphoric and parallel lexical and stylistical constructions, expressive, emotional and psychological pauses and intertextual references to religious sources and documents fundamental to the nation. The study concluded the significance of sense-rhythmic modulation mechanisms, imagineering, inspiration and unity for a better penetration of patterns in King’s discourse under a mix code consideration. Pattern extraction in the discourse during its deconstruction facilitates a more precise structuring of successful communication models. In King’s speech 15 discourse patterns were revealed. Their logical sequence encourages feedback from the addressee and enables interaction by means of *smart power*, which makes it possible to control the discourse and lead the addressee to the specified destination. Each pattern contains a certain sense or an idea that is different from others on compositional and semantic levels. The pattern length is also different and depends on the addresser’s aim.

In conclusion, the author resumes that the “Smart Tuning” discourse technology allows us not only to identify linguocognitive mechanisms, discursive strategies, rhetorical and stylistic

devices that promote the achievement of a successful result of communication, but also to reveal the potential of the addresser's contact with the addressee, to construct a technological discourse with specified parameters.

References

1. Yakoba, I.A. (2016) *Vlast' diskursa: modelirovanie diskursivnogo vzaimodeystviya* [The power of discourse: discursive interaction modeling]. Irkutsk: Irkutsk State Technical University.
2. Minakova, M.A. (2018) *Pattern*. [Online] Available from: <https://www.psyh.ru/glossary/view/88/>. (In Russian).
3. King, M.L. (1968) *I have a dream*. [Online] Available from: <http://www.american-rhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm>.
4. Tarasov, E.F. (2010) The problems of the theory of speech communication. *Voprosy psikholingvistiki*. 12. pp. 20–26. (In Russian).
5. Buyanov, E. & Buyanova, K. (2015) *Rech' Martina Lyutera Kinga "I have a dream" ("U menya est' mechta")* [Martin Luther King's "I have a dream"]. [Online] Available from: https://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/_i-have-a-dream-rech-kinga.php.
6. King, M.L. (1968) *I have a dream*. Video. [Online] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=HRIF4_WzU1w.
7. Agitclub.ru. (n.d.) *Pesni dlya politicheskikh deystviy* [Songs for political action]. [Online] Available from: <http://www.agitclub.ru/singout/songbook/classics/weshallovercome.htm>.
8. Shpetnyy, K.I. (2014) Linguostylistic features of Martin Luther King's oratory I Have a Dream. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. 17 (703). pp. 80–94. (In Russian).
9. Theodosy, Archishop of Polotsk and Glubokoe. (1999) *Gomiletika. Teoriya tserkovnoy propovedi* [Homiletics. Theory of church preaching]. Moscow; Sergiev Posad: Moscow Theological Academy.
10. Isaiah 40:3–5; Matthew 3:3; Mark 1:3; Luke 3:4–6. (In Russian).
11. King, M.L. (1968) *I Have Been to the Mountaintop Full Speech*. [Online] Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=ixfwGLxRJU8>.
12. Rogovskaya, S.E. & Bashmakova, I.S. (2016) Language stylistic techniques and expressive means. *Yazyk, kul'tura i nauchno-tehnicheskie innovatsii v stranakh izuchaemykh yazykov* [Language, culture, and scientific and technical innovations in the countries of the languages under study]. Proceedings of the International Conference. Irkutsk: Irkutsk State Technical University. pp. 349–354. (In Russian).

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 82.091

DOI: 10.17223/19986645/58/9

А.В. Антюхов, А.В. Шаравин

БОГАТЫРСТВО КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ДОХРИСТИАНСКОЙ РУСИ В ТВОРЧЕСТВЕ А.К. ТОЛСТОГО¹

Проанализирован архетип богатырства в произведениях А.К. Толстого, отразивших мифы и историю Киевской Руси, Иоанна Грозного, XIX в. Богатырство рассматривается в контексте концепции развития русской государственности. Прослежено воздействие фольклора, жанров былины и баллады на осмысление архетипа богатырства, выявлена его кульминация и угасание в творчестве писателя. Отмечено, что богатырство рассматривается А.К. Толстым как творческое начало, проявление особого таланта нации.

Ключевые слова: А.К. Толстой, архетип, богатырство, мифологизация, былины, баллады, змееборчество.

Мотив богатырства получил художественное воплощение наиболее последовательно в русском фольклоре. В былинах, повествующих о подвигах Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича и др., «в центре творческого напряжения находится герой-богатырь, а в нем его ратные доблесть и сила» [1. С. 95]. Мотив богатырства в эпических жанрах фольклора признан исследователями центральным, ведущим. «...Композиционный иерархический примат остается за мотивом богатырства», – пишет А.П. Скафтымов в работе «Поэтика и генезис былин», – ибо оценочное отношение к герою направляется... лишь к его подвигу... так что сама идеологическая ценность (национальная, классовая и др.) получает здесь ореол и очарование лишь от подвига, и таким образом по отношению к нему архитектурно занимает вторичное, произвольное место» [Там же. С. 94–95]. В былинах мотив богатырства художественно реализуется как воплощение ратных подвигов, доблести, силы, удали, удачи, служения Отечеству.

В произведениях русской художественной литературы мотив богатырства перестает быть иерархическим центром текстов. Может, это одна из причин, почему в работах, вышедших после 2000 г., исследователи уже отходят от трактовки богатырства как мотива. Появились публикации, в которых богатырство рассматривается как феномен: «ценностная» уста-

¹ Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-14-32001.

новка «индивидуально-авторских смыслов» [2. С. 234]. Литературоведы, анализируя феномен богатырства в прозе и стихах Г.Р. Державина, В.Т. Нарезного, Н.А. Львова, Н.М. Языкова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского и др., отмечали не только традиционный подход, характерный для фольклора, но и его специфическое, творческое истолкование. Так, исследователи выделяли идею богатырства в свете Православной традиции («...феномен богатырства в контексте христианской идеи “сила в немощи”; образы идеальных “святых воинов” – образцы богатырского подвижничества (Александр Пересвет, Андрей Ослябя, христианский богатырь Илья Муромец); акцентирование мотива внутреннего богатырства людей “каждого званья и места”, “непрерывно ведущих битву с различными проявлениями беспорядка как в мире, так и в собственной душе”, “мотив богатырского сна”» России и постепенного угасания богатырского духа на Руси» [Там же. С. 233–235]; а также искаженное богатырство – «богатырство приземленное... вырождение, связанное исключительно с физическим проявлением, лишенным какой бы то ни было доли духовности» [3. С. 278].

В работах литературоведов обозначился еще один подход к богатырству и образу богатыря. Д.Л. Кулагин утверждает, что «в лице богатырей русской былины представлен архетипический образ Героя, персонифицированный образ сверхъестественной силы, решающей национальные и государственные вопросы» [4. С. 112]. Исследователи выделяют архетип «мифологического Героя», защищающего грядущее, и архетип «былинно-го Героя», защищающего сущее [Там же. С. 113].

Богатырство как проявление архетипического элемента мифологического искусства в творчестве А.К. Толстого не привлекло внимание ученых. Богатырство и образы богатырей рассматривались литературоведами как фольклорная составляющая отдельных произведений. Между тем без анализа архетипа богатырства в наследии А.К. Толстого невозможно охарактеризовать целостность художественного мира писателя, поэтику его творчества. Архетип богатырства оценивается через тексты писателя (баллады «Змей Тугарин», «Илья Муромец», «Песнь о походе Владимира на Корсунь», «Алеша Попович», «Сватовство», «Курган», «Чужое горе», сатира «Поток-богатырь», стихотворения «Укушуйник», «Богатырь», эпизоды из романа «Князь Серебряный»), формирующие единый «богатырский текст» как тенденцию развития его творчества, целостное эстетическое явление с кульминацией в произведениях о «киевском периоде» русской истории и его дальнейшим угасанием. Он рассматривается в связи с концепцией развития российской государственности А.К. Толстого и анализируется на стыке взаимодействия жанров былины и баллады.

Богатырство как национальное проявление дохристианской Руси привлекло внимание писателя в 60-е гг. XIX в. Это было связано с интересом А.К. Толстого к русской истории. К концу 1865 г. у писателя сформировалась концепция двух этапов развития российской государственности: норманский (европейский) и московский (монгольский) [5. Т. 4. С. 433]. Для

А.К. Толстого несомненным представлялось нравственное содержание этих периодов. Первый – норманский – отличается «свободой», «меньшим деспотизмом», красотой, честью, гармонией, ладом, песенностью, богатырством, воинской славой, высотой русского духа, гуманностью, «бескорыстным служением родине», «религией честного слова» и т.д. Второй период – московский – начался монголо-татарским игом и определил, по мнению А.К. Толстого, многое в состоянии современного ему общества и России XIX в. В этот период превалирует «татарщина», выразившаяся в господстве деспотизма; неволе; утрате человеческого достоинства; чести; неограниченной царской власти; излишней кровавости и жестокости государства («Мною овладевает злость и ярость, когда я сравниваю городскую и княжескую Россию с московской, новгородские и киевские нравы с московскими... Не в Москве надо искать Россию, а в Новгороде и в Киеве» [5. Т. 4. С. 491]. Характеристики «киевского» и «московского» этапов вслед за А.К. Толстым позднее повторил русский философ Николай Бердяев в работе «Русская идея»: «Московский период был самым плохим периодом в русской истории, самым душным, наиболее азиатско-татарским по своему типу... Лучше был киевский период... Киевская Россия не была замкнута от Запада, была восприимчивее и свободнее, чем Московское царство, в удушливой атмосфере которого угасла даже святость (менее всего святых было в этот период)» [6. С. 377–378]. Взгляды А.К. Толстого и Н. Бердяева восходят к летописи Повесть временных лет (XI – начала XII в.) монаха Киево-Печерского монастыря Нестора: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, да и пойдите княжить и володеть нами». Приведенная цитата становится краеугольным камнем концепции о приглашении варягов для княжения на Руси. А.К. Толстой приводит несколько измененную строчку из летописи в сатире «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» («Земля у нас богата,/ Порядка только нет» [5. Т. 1. С. 256]), а Н.А. Бердяев в работе «Судьба России» («В основе русской истории лежит знаменательная легенда о призвании варягиностранцев для управления русской землей, так как “земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет»» [6. С. 16]). Однако А.К. Толстой делает вывод о связях Древней Руси и Европы, о славянстве как «западном» «элементе» [5. Т. 4. С. 476], а Н.А. Бердяев о «женственной, пассивной природе» русского народа, который «хочет не столько свободного государства, свободы в государстве, сколько свободы от государства, свободы от забот о земном устройстве» [6. С. 16].

Рассуждая об истории русского народа, Н.А. Бердяев сравнивал «богатырство» и «рыцарство». Первое – исконное и почвенное порождение Древней Руси («С Киевской Россией, с Владимиром Святым связаны былины и богатыри», а «рыцарство не развивалось на духовной почве православия» [Там же. С. 379]). В работе «Судьба России» он продолжит свои размышления о несостоятельности и невоплощенности идеи русского рыцарства: «Очень характерно, что в русской истории не было рыцарства, этого мужественного начала. С этим связано недостаточное развитие лич-

ного начала в русской жизни... Рыцарство кует чувство личного достоинства и чести, создает закал личности. Этого личного закала не создавала русская история» [6. С. 17].

Для А.К. Толстого варяги-норманны и русские богатыри – элементы разного порядка, проявление славянского и западного национально-этнических сообществ, цивилизаций. Писатель богатырство и былины связывал с киевским периодом русской истории. Былины и песни, собранные П.Н. Рыбниковым (Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. 1861–1867), А.К. Толстой считал искажением оригинальных русских былин. Для него это переделки из «поздней московщины», «испытавшей воздействие татарского ига». Особенно А.К. Толстого раздражает описание «Владимировых богатырей», которые «окарачь ползут, в норы прячутся». Для писателя это унижение и уничтожение истинного русско-славянского духа и поэзии. («Самый язык рыбниковских песен, не говоря уже о выражениях, как, например, ружье, козак Илья Муромец, новгородские мужики и т.д., не говоря о нравах, очевидно взятых из самой поздней московщины, указывает на их лакейскую или гостинодворскую переделку... Заметили ли Вы в этих позднейших произведениях и переделках одну общую черту? Это, рядом с московщинскою подлостью, совершенную нелепость, полный absurdum психологии и вообще связи причин и действий? Былины и сказки всех народов вообще не строги в мотивированье, но такой уродливости, как в наших позднейших великорусских былинах, я нигде не встречал. Это полное разложение всех нравственных и разумных понятий; и тем с большею любовью обращаюсь я к нашей домосковской старине. Россия, современная песни о полку Игоря, и Россия, сочинившая былины, в которых Владимирова богатыри окарачь ползут, в норы прячутся, – это две разные России» [5. Т. 4. С. 476]). Сущность русского богатырства, в том числе и по А.К. Толстому, – предельная концентрация героического, независимости, верности Киевской Руси, свободы, физической и духовной мощи, готовность к отпору самым могущественным врагам и противникам. Писатель не мог принять изображение трусости и слабости духа тех, кого народ не один век считал защитником и спасителем земли Русской.

В письме к М.М. Стасюлевичу от 26 декабря 1869 г. А.К. Толстой обратился к вопросу о происхождении былин. Поводом послужили статьи В. Стасова об их восточном происхождении. А.К. Толстой прежде всего отмечает в каждой былине национальное своеобразие, для него именно территориальное, этническое определяет сущность былин: «Но все эти былины, наследованные европейскими племенами, приняли в каждом племени свое местное развитие и свой оригинальный, местный колорит, и поэтому те, кто говорят, например, что Садко выражает нравы Новгорода, совершенно правы, а сближение Стасова этой легенды с разными легендами Востока... это курам на смех» [Там же. С. 473]. Очевидно, что писатель тщательно изучал русские былины, во всяком случае афористично-иронично советуя громить теорию В. Стасова, он цитирует строчки не из хрестоматийных фольклорных образцов: «Счастье Стасова, что противни-

ки... атакуют его не с той стороны. Я бы сказал им, как Илья Муромец Добрыне, когда тот борется с Поляницей и не может победить ее, считая ее богатырем: "А хватай ее за т..., а пырай его во ж..., а пинай ее во то, чем женский пол бывает пухол!"» [5. Т. 4. С. 473]. Так, в известной былине «Илья ездил с Добрынею» этот совет Илья Муромец дает Добрыне Никитичу, когда тот сражается с бабой Горынинкой. В эпическом фольклорном произведении «Бой Добрыни с удалой поляницей» в наиболее распространенном варианте богатырь сражается один на один с девой-воительницей. А.К. Толстой знал и другие варианты сюжетов данного произведения с участием Ильи Муромца, что свидетельствует о глубоком изучении и понимании былин киевского цикла писателем. Для писателя былины служили источником поэтического вдохновения, в письмах он не раз отмечал, что после их чтения у него возникают творческие замыслы по разработке сюжетов русского фольклора.

Для А.К. Толстого было аксиомой, что высшее проявление архетипа богатырства реализовано в «киевский», «норманский» период русской истории, поэтому его воплощение связано у писателя прежде всего с традиционными фольклорными образами защитников земли Русской – Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем и князем Владимиром. Кроме того, в балладе «Сватовство», сатире «Поток-богатырь» писатель воплотил образы Потока, Дюка Степановича, Чурилы Пленковича, также обозначенных в былинах как богатыри. Таким образом, произведения А.К. Толстого, в которых реализован архетип богатырства, – это баллады «Змей Тугарин», «Илья Муромец», «Алеша Попович», «Сватовство», сатира «Поток-богатырь». Следует выделить поэтические произведения, в которых нет фольклорных традиционных образов, но воссоздан образ русского витязя – богатыря. Это баллады «Курган», «Чужое горе», «Укушуйник». Особое место среди произведений, воплотивших архетип богатырства, принадлежит стихотворению «Богатырь». Этим произведением А.К. Толстой фиксирует угасание богатырского начала на Руси, это панихида по богатырскому духу и богатырской силе. В особом контексте – профанное богатырство – прочитывается и образ холопа Митьки из романа «Князь Серебряный». Также следует выделить и балладу «Песнь о походе Владимира на Корсунь», в которой мета «богатырское», хотя и употреблена всего один раз, организует новое звучание концепции богатырства. Таким образом, в произведениях А.К. Толстого, воплотивших архетип богатырства, можно выделить стихотворения, в которых воспроизведены его кульминация, дальнейшее угасание, начиная с мифологических сигналов-посылов и завершая профанным богатырством и символическим образом антибогатырства. Сатира «Поток-богатырь» подводит итог концепции богатырства: писатель верит, что Русь в европейском облике не может существовать без богатырства, без него страна утратит национальное своеобразие и могущество. Неславянских героев баллад «норманского» цикла («Песня о Гаральде и Ярославне», «Три побоища», «Гакон Слепой», «Канут» и др.) А.К. Толстой никогда не именует богатырями.

Архетип богатырства в творчестве писателя имеет четко выраженную логику и последовательность развития: от кульминации в балладах «киевского периода» к угасанию в последующих произведениях и кромешному образу-символу антибогатырства, богатырства, вывернутого наизнанку, в стихотворении «Богатырь» и надежде на обретение богатырской энергии Россией будущего в сатире «Поток-богатырь». Специфика воссоздания архетипа богатырства, безусловно, реализуется установкой на авторское мифотворчество. Обращение А.К. Толстого к истории Киевской Руси, образам защитников родной земли восходит как к мифологическим первоисточникам, так и к авторской мифологизации русской истории.

Б.Г. Реизов отмечал: «Можно подумать, что уже в первой половине 60-х годов он (А.К. Толстой) создал свою философию эпохи и рассматривал три царствования и следовавшее за ними Смутное время как цикл событий, тесно связанных не только сцеплением обстоятельств, но также исторической и нравственной неизбежностью их» [7. С. 91]. Эту же мысль развивают и современные исследователи творчества писателя, констатирующие, что «исторические произведения А.К. Толстого... различных жанров... различных родов литературы... подчинены единой цели: формированию большого исторического полотна и анализу причин, побуждений, действий, направивших Историю по ее реальному пути... Действительно вполне самостоятельные, баллады, роман, трагедия А.К. Толстого приобретают новое звучание и новое значение, будучи объединенными в общее эпическое целое» [8. С. 35].

Богатырство является важной составляющей мифологизации истории России, восточного славянства. Особые законы организации русских былин реанимируют механизм мифопорождения новых культурно-исторических представлений о судьбе России на образном, сюжетно-композиционном, языковом уровнях произведений А.К. Толстого.

Опираясь на материал русских былин, писатель придает художественной картине мира в своих балладах концептуальную целостность, где отдельные элементы взаимообусловлены и определены глубинными связями и взаимодействиями. Мифотворчество писателя разрушает привычные причинно-следственные и пространственно-временные связи, оперируя бинарно-оппозиционными элементами, моделирующими русскую историю в русскую историософию от А.К. Толстого. Обращение писателя к фольклорным источникам, былинам приводит к тому, что созданный устным народным творчеством «громadный свод сюжетов и мотивов» удерживает и транслирует «миф в культуру постмифических эпох» [9. С. 5].

Большинство произведений А.К. Толстого, отмеченных литературоведами как жанр баллады, находятся в «поле притяжения» фольклорного жанра былины. Это взаимодействие (баллады и былины) осознавал сам писатель. Так, баллада «Змей Тугарин» печаталась в журнале «Вестник Европы» под названием «Былина». Часто свои баллады А.К. Толстой публиковал под названием «Песня» или давал такое заглавие первому изданному варианту («Поток-богатырь» – «Песня о Потоке-богатыре», «Песня о

Гаральде и Ярославне», «Три побоища» – «Песня о трех побоищах», «Песня о походе Владимира на Корсунь» и т.д.). Литературоведы начиная с XIX в. определяют былины как «древнерусские песни-сказания» или «героические песни», «фольклорные героические песни». В подобном ключе, используя термины «песни» и «былины» как синонимы, пишет в своем исследовании «Южно-русские былины» и А.Н. Веселовский: «Сообщенная здѣсь впервые сказка-побывальщина, сохранившая во всемъ своемъ складѣ слѣды былиннаго изложенія и нерѣдко цѣлыя стихи, интересна не столько подробностями языка и указаніями на другихъ богатырей и пѣсни кievскаго цикла, сколько своими отношеніями къ разсмотрѣннымъ выше былинамъ о Михаилѣ Даниловичѣ» [10. С. 27–28]. Стихотворения писателя, воплотившие архетип богатырства, безусловно, несут воздействие героического жанра фольклора в мифологической (в русле былинной традиции) обработке образов главных героев, композиционной, стилевой и концептуальной сфер.

А.К. Толстой одной из лучших своих баллад считал балладу «Змей Тугарин». В произведении воплотились идеалы писателя о золотом веке древнерусской государственности, о золотом веке русского богатырства. В балладе отражен пик, кульминация могущества и славы князя Владимира и Киевской Руси. Хронотоп, изображенный писателем, конечно, не конкретно-историчен, это идеализированное, субъективное представление автора стихотворного произведения «Змей Тугарин» о сакральном периоде истории Киевской Руси времен князя Владимира Красное Солнышко, оппозиционно противопоставленном «несчастливому», «позорному» периоду – «московскому».

Такая «бинарность» (золотой век: в балладе он позиционируется как настоящее – предсказанный «упадок» будущего) – индивидуальная мифологическая проекция истории, в которой разрушаются причинно-следственные, хронологические связи.

Исследователи, обращавшиеся к этому произведению, единодушно: славная Киевская Русь «с ее вольным вечем, веками сложившимися обычаями, культурой» в предсказании незнакомого певца с монгольским лицом трансформируется в страну «раболепия и покорности», «с жестокими правителями-самодержцами» [11. С. 142–143]. Изгнанный Добрыней прорицатель «превращается в змея Тугарина и бежит из Руси», а киевский князь Владимир произносит «здравницу в честь «русской Руси» и «выражает уверенность, что нас ничто не сломит» [Там же. С. 143].

Между тем баллада «Змей Тугарин» – явление более сложное, и сделанный исследователем Г.Н. Стафеевым анализ не раскрывает скрытых элементов «конструкции» произведения.

Обращает на себя внимание то, что в балладе А.К. Толстого не происходит боя-битвы русских богатырей (Алеши Поповича, Ильи Муромца, Добрыни Никитича) со змеем Тугариным, что являлось важнейшим элементом русских былин: «Обязательность богатырского подвига» прежде всего и воплощалась в схватке со страшным и сильным врагом [12. С. 183].

В случае уклонения от боя богатырь «утратил бы свое основное качество, свою принадлежность к богатырству» [12. С. 183]. В балладе «Змей Тугарин» все ограничивается угрозами Алеши Поповича, Ильи Муромца, Добрыни Никитича, после чего враг, принявший облик «незнакомого» певца, превращается в свою «змеиную» ипостась и спасается бегством.

Поединок в произведении А.К. Толстого происходит, но это не традиционный бой с холодным оружием. Кульминация баллады «Змей Тугарин» – магическое, колдовское сражение. Лирическое произведение А.К. Толстого начинается с описания всенародного пира: «Над светлым Днепром, средь могучих бояр, / Близ стольного Киева-града, / Пирует Владимир, с ним молод и стар, / И слышен далеко звон кованых чар- / Ой, ладо, ой ладушки-ладо!» [5. Т. 1. С. 158]. Так же построены и многие былины, в том числе и киевского цикла, однако и в произведениях героического эпоса пир не только с приближенными, но и со всем народом – исключительное явление, обусловленное и отмеченное особым сакральным значением.

По мнению В.Я. Проппа, слово «пир» не всегда может пониматься буквально. «Пир – часто не что иное, как своеобразная форма совещания Владимира со своими приближенными, носящего иногда военный характер» [13. С. 137].

Пир в балладе А.К. Толстого – особое сакральное пространство – метафора богатого и сильного царства, спаянного единением народа и власти (бояр, богатырей, князя), воинским могуществом, славными традициями. В этот священный хронотоп лада, доминирования русскости-славянства вторгается чужеродная, иноземная сила с враждебной Киевской Руси песней – предсказанием-заговором.

«Незнакомый певец» «со страшной рожей» начинает свое выступление с «ритмического нападения». «Неведомый лад» его песни сначала словно проникает в привычную и счастливую картину мира древних славян, разрушая ее организацию на энерго-природном уровне (не случайно А.К. Толстой считал, что «музыка совершеннее слова»): «И начал он петь на неведомый лад: / «Владычество смелым награда! / Ты, княже, могуч и казною богат, / И помнят лады твои дальний Царьград – / Ой, ладо, ой ладушки-ладо!» [5. Т. 1. С. 159].

«Незнакомый певец» использует древний славянский припев един-единственный раз в зачине, в том числе и как отличительную примету русичей. В монографии М. Элиаде «Оккультизм, колдовство и люди в культуре» приводится теория Маргарет Мюррей, разработанная ею в книге «Культ ведьм в Западной Европе», согласно которой «черная магия (в понимании церковных авторов) представляет собой архаическую религию плодородия» [14. С. 96–97]. В этом случае обращение иноземца к богине весны, весенней пахоты и сева, покровительнице брака и любви (точка зрения исследователей А.С. Фамицына, Б.А. Рыбакова и его последователей) – это обращение к ритуалам сельскохозяйственного цикла. Для «неведомого певца» Лада – универсальная покровительница плодородия, которую можно просить об уничтожении богатств и достатка соседних племен.

Следует отметить, что змеи (а в балладе это змеем Тугарин) – «хтонические существа, открывающие и запирающие землю», что обуславливает их связь с сельскохозяйственным циклом, земледельческой культурой [15. С. 108]. Очевидно, этим объясняется обращение «неведомого певца» змеи Тугарина к богине плодородия, принадлежащей славянскому пантеону. Для русичей и князя Владимира припев («Ой, ладо, ой ладушки-ладо!») – сконцентрированная словесная формула славянского мира, выражающая его единство, лад и нерушимость.

На наш взгляд, для А.К. Толстого Лада – божество в славянской мифологии. Во всяком случае, употребляя имена Леля (бог любви и брака, сын Лады) и Дида (бог супружеской любви, сын Лады), он пишет их с большой буквы (письмо М.М. Стасюлевичу от 7 января 1868 г.). Одна из первых работ «Объяснение малорусских и сродных народных песен» А.А. Потебни, в которой существование в славянском пантеоне богини Лады было подвергнуто сомнению, вышла в 1883 г. после смерти А.К. Толстого. Первые семь десятилетий XIX в. вопрос о дискуссионности Лады как славянского божества еще не стал предметом серьезного научного обсуждения.

Следующее пятистишие «неведомого певца» явно восходит к ритуальному колдовскому «темному свету» или «погашенному свету», по Мирчо Элиаде. Колдовское действие начиналось и происходило при «погашенном свете», что обеспечивало «магически-религиозную поддержку какому-либо благоприятному событию» [14. С. 140–141]. Так, «неведомый певец» предрекает: «Обнимут твой Киев и пламя и дым, / И внуки твои будут внукам моим / Держать золоченое стремя!» [5. Т. 1. С. 159]. Пламя костров-пожаров в песне замещает истинный солнечный свет (одна из первостихий славян), а дым, застилающий белый свет, выполняет функцию «погашенного света».

В первых двух пятистишиях активизируется колдовской ритуал, враждебный славянам. Киевский князь принимает магический вызов имплицитно, однако «светоносность», исходящая от Владимира Красное Солнышко, ориентирована на разрушение колдовства «погашенного света» («И вспыхнул Владимир при слове таком, / В очах загорелась досада – / Но вдруг засмеялся – и хохот кругом / В рядах прокатился, как по небу гром, – / Ой ладо, ой ладушки-ладо!» [Там же]). Безусловно, описанная реакция киевского князя – психологическая – гнев, досада на дерзкие слова пришельца, однако она полностью соотносится с магической составляющей происходящего.

Происходящее обесмысливает необходимость традиционного воинского сражения, бой начинается в области магического соперничества.

«Незнакомый певец» неплохо владеет русским языком, созданные им образы зрительны, объёмны, легко откладываются в сознании слушателей. В продолжение песни он подвергает сомнению правдивость и честность русского слова, отвергая исконную славянскую клятву, обычно скреплявшую заключение договоров («Если я не сдержу моего слова, да будет мне стыдно!») / «Певец продолжает: “Смешна моя весть / И вашему уху обид-

на? / Кто мог бы из вас оскорбление снести? / Бесценное русским сокровище честь, / Их клятва: “Да будет мне стыдно!”» [5. Т. 1. С. 159]). Магический разрыв связи прошлого и настоящего, отрицание силы русского слова – вот на что направлен «неведомый лад» песни змея Тугарина. Колдовской запрет на создание образа славянского слова и на вход его в мир должен лишить мощи ответный «вербальный удар» представителей славянского этноса.

Битва окончательно превращается в магический поединок, полный скрытых смыслов, затемненных значений, предсказаний – заговоров. В балладе А.К. Толстого вызов принимают богатыри, а не князь Владимир. Защитники родной земли готовы сражаться в совершенно новой для них битве – магической.

Богатыри пытаются разгадать истинную сущность «незнакомо певца», скрытую человеческим обликом, чтобы нейтрализовать его пророчество. Первым начинает самый старший и самый сильный – Илья Муромец. Он предполагает орнитологическую сущность инородца «со страшной рожей: «Стой! – молвит Илья, – твой хоть голос и чист, / Да песня твоя не пригожа! / Был вор Соловей, как и ты, голосист, / Да я пятерней приглушил его свист – / С тобой не случилось бы то же!» [Там же. С. 160]. Илья Муромец также сравнивает песни пришельца и свист Соловья-разбойника – традиционная этимологическая магия, характерная для фольклора, когда при сопоставлении двух явлений черты одного переносятся на другое. Так и Илья Муромец, актуализируя и акцентируя смысловое значение «свист», пытается лишить песню-заговор-предсказание вербальной силы, образности и осмысленности слова. Однако ответ богатыря не пугает чужеземца и не прерывает предсказаний о трагической судьбе русичей. Следующим пытается остановить «незнакомо певца» Алеша Попович. Он предполагает его зооморфную природу: «Стой! – молвит Попович, – хоть дюжий твой рост, / Но слушай, поганая рожа: / Зашла раз корова к отцу на погост, / Махнул я ее через крышу за хвост – Тебе не было бы того же!» [Там же]. Однако и его попытка угадать сущность иноземца ошибочна, и предложенная возможность изгнания пришельца – богатырский бросок инородца «со страшной рожей» за пределы Руси – также оказывается недейственной.

Дальнейшая песнь змея Тугарина по-прежнему основана на заклятиях-заговорах («И с честной поссоритесь вы стариной, / И, предкам великим на сором, / Не слушая голоса крови родной, / Вы скажете: «Станем к варягам спиной, / Лицом повернемся к обдорам!» [Там же. С. 161]). Слова чужестранца восходят к фольклорной и сказочной формуле (она известна Бабе-Яге, потом ее подслушивает добрый молодец: «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу – задом»), открывающей дверь в избушку на курьих ножках – проход или в мир земной, или в мир потусторонний.

Последним пытается остановить «неведомо певца» Добрыня Никитич, который предполагает и угадывает хтоническую, змеиную природу чужестранца («Стой! – молвит, поднявшись, Добрыня. – не смей / Проро-

читать такого нам горя! Тебя я узнал из негодных речей: / Ты старый Тугарин, поганый тот змей, / Приплывший от Черного моря! / На крыльях бумажных, ночью порой, / Ты часто вокруг Киева-града / Летал и шипел, но тебя не впервой / Попотчую я каленою стрелой – / Ой ладо, ой ладушки-ладо!» [5. Т. 1. С. 161]). С момента как определена сущность «неведомого певца», магическое средство борьбы с ним найдено и применено: речь богатыря выдержана по аналогии с южнославянскими весенними заклинательными формулами изгнания «гадов». В статье А.А. Плотниковой «Весенние заклинательные формулы изгнания «гадов» у южных славян» отмечается, что «формулы – одна из разновидностей обрядовых текстов». Она «сопровождает» в «определенные календарные праздники те или иные ритуально-магические действия, направленные на защиту людей, дома, хозяйства от воздействия нежелательных природных явлений, от нападения диких зверей, появления вредных насекомых и пр.» [16. С. 319]. Данные «формулы» могут рассматриваться «как жанровые разновидности фольклорных текстов, обладающие устойчивой структурой, традиционным набором варьирующих сюжетов, семантическим единством персонажного и предметного рядов» [Там же. С. 319–320]. «Заклинательные формулы» против гадов приурочены «у южных славян к самым разным весенним праздникам: началу весны (1.03/14.03), первым трем (девяти) дням марта, празднику Сорока мучеников (9.03/22.03), Благовещению (25.03/07.04), Лазаревой субботе (за неделю до Пасхи) и др.» [Там же. С. 320].

По поверьям южных славян, в день Благовещения вылезают змеи, и если они заползли в дом или во двор, то это «плохое предвестие» [17. С. 387].

Пир Владимира «среди могучих бояр» происходит не в княжеских палатах, а «над светлым Днепром», «близ стольного Киева-града». Природная составляющая пира, вне города, вне дворцов и теремов, позволяет предположить, что действие происходит в один из обозначенных праздников (так как их частотность в мартовские, апрельские, майские дни довольно высока). Пир Владимира «над Днепром» со всем народом, дружиной, боярами явно сакрализован и должен проводиться в значимые, ритуальные, праздничные дни.

Особая роль в славянских формулах изгнания «гадов» отводилась устрашителям змей, это были святые (св. Иеремия, св. Николай, св. Лазарь), персонифицированные образы праздников (Баба Марта, Лазарница, Благовещ), иногда разбойники, татары и т.д. [16. С. 321–322]. В балладе А.К. Толстого эта роль отводится Добрыне Никитичу. Возникает вопрос: почему не сильнейшему богатырю Илье Муромцу или хитрейшему Алеше Поповичу? Во-первых, и это обозначено большинством исследователей, Добрыня – змееборец, что отмечено также и в тексте А.К. Толстого («... но тебя не впервой / Попотчую я каленою стрелой ...» [5. Т. 1. С. 161]). «Подвиг уничтожения змея – один из основных подвигов его», – считает В.Я. Пропп в работе «Русский героический эпос» [13. С. 182]. Во-вторых, как отмечает ученый в той же работе, «он обучен чтению и письму», «прекрасный певец и играет на гусях», «владеет искусством... разумной речи,

беседы: «Умение владеть внешними формами жизни вытекает у Добрыни из самой сущности его характера. Это умение делает его особенно пригодным для дипломатических поручений... Добрыня – великолепный образец того, что русские осознавали себя высококультурным народом и этой культурой гордились» – такую характеристику Добрыне Никитичу дает В.Я. Пропп [13. С. 185]. Эти качества героя закрепляют за ним роль главного «оппонента» змею Тугарину (особо отметим владение словом, пение и «змееборчество»). Конечно, указанные характеристики в балладе А.К. Толстого не обозначены, они больше угадываются из былинных составляющих образа богатыря. Однако, и это естественно, писатель, давая в первой редакции название своему произведению «Былина», учитывал и включал в образ своего героя заложенное героическим эпосом (тем более что писатель избегает прежде всего былинной гиперболизации и героизации, что не связано с отмеченными качествами Добрыни Никитича).

Сюжет заклинаний изгнания «гадов» содержит и картину расправы над змеями: их рубят, режут, колют, наматывают на мотовило и т.д. Во всех описанных случаях используется режуще-колющее оружие: сабля, железное мотовило и т.д.). Добрыня угрожает змею Тугарину также похожим оружием – «каленою стрелой», что выдержано в духе славянских формул изгнания «гадов». Кстати, именно так обернувшегося «неведомого певца» называет и князь Владимир («Тьфу гадина! – молвил Владимир и нос / зажал от несносного смрада. – Чего уж он в скаредной песне не нес, / Но, благо, удрал от Добрынюшки пес, – / Ой ладо, ой ладушки-ладо!» [5. Т. 1. С. 161]).

Еще одной отличительной чертой весенних заклинательных формул изгнания «гадов» у южных славян является заключительная финальная часть, в которой змеи оказываются в водной стихии («Убегайте, змеи, ящерицы, вот разбойники, будут вам резать головы, будут бросать вас в воду»; «Иеремия у село, змия у море»; «Иеремия в поле, гонит змей в море»; «Наше поле широкое, ваше море глубокое; все змеи убежали, только одна осталась, и та сдохла» [16. С. 319, 332, 337, 362]). Особенно часто повторяется такое направление «гадов» в водную субстанцию при обращении к святому Иеремии. Отметим, что есть и другие варианты наказания змеи – огнем, с помощью сабли, палицы и т.д. Известны подобные отгонные заклинания и у восточных славян, которые, по мнению А.А. Плотниковой, «направлены преимущественно на домашних насекомых-паразитов» [Там же. С. 341].

В балладе А.К. Толстого змей Тугарин приплывает от Черного моря и изгоняется в Днепр («И начал Добрыня натягивать лук, / И вот на потеху народу, / Струны богатырской послышавши звук, / Во змея певец перекинулся вдруг / И с шипом бросается в воду» [5. Т. 1. С. 161]). Впервые в стихотворном произведении появляется и мета «богатырский», давая оценку подвигу Добрыни. Струне А.К. Толстой уподобляет тетиву лука, «скаредной песне» змея Тугарина отвечает боевая песня русского оружия. «Изгнание гада» сопровождается улюлюканьем и смехом русского народа, наблюдающего, как «змей, по Днепру расстилаясь, плывет» [Там же. С. 163]. Завершающая часть баллады – слово Владимира, однако главное

не только в вере князя, что «годину невзгод» «Русь победно пройдет» [5. Т. 1. С. 163]. Главное, отмечены коренные основы русской ментальности, без которых распадется славянская общность и государство: вольность, единство княжьего и народного слова, древнее русское вече как основа русской державности, сила духа и сила мощи, соединившиеся в союзе русских и варягов, честь и русское честное слово. Именно поэтому в авторском восприятии и князь Владимир ассоциируется с богатырем («Пирует Владимир со светлым лицом, / В груди богатырской отрада...» [Там же]).

Таким образом, в балладе «Змей Тугарин» воссозданы коренные основы славянского этноса и охранительные родовые формулы-обереги, магически скрепляющие единство русской, славянской державности. Богатыри же выступают носителями не только боевого духа, но и тайных знаний «волшбы-оберега», восходящих к мудрости предков.

Утверждать, что А.К. Толстой знал весенние закликательные формулы и с точностью воплотил их в стихотворном произведении, было бы большим преувеличением. Однако мифологизация материала привела к тому, что оказались возможны идентификация и опознание основных устойчивых структур, традиционного набора обрядовых текстов в балладе «Змей Тугарин».

В произведениях А.К. Толстого, воплотившие архетип богатырства, входят и баллады о сватовстве – «Алеша Попович» и «Сватовство». Былины о сватовстве, выборе невесты – одни из наиболее древних в фольклоре. Очевидно, А.К. Толстой выстраивал индивидуальную мифологию в соответствии с некоторыми тенденциями развития героического эпоса.

Характеризуя былины о сватовстве, литературоведы делают выводы: «Богатырь, побежденный любовным порывом, в эпосе не может изображаться как герой в собственном смысле этого слова» [12. С. 123]. Очевидно, поэтому большинство былин о сватовстве завершаются несчастливо. Богатыри нарушают предначертанность своей судьбы: они – воплощение надличностной государственной энергии, и любая попытка найти себя в интимно-личностной сфере обречена на провал. Так, и для Дуная, и Михайло Потыка, и для других героев брак и женитьба приводят к смерти самих богатырей (некоторых, правда, спасают «крестовые братья»), их невест или жен. Именно это дало возможность В.Я. Проппу сделать обобщение: «Герои русского эпоса жен себе не ищут, но они их находят, встречаются; эти встречи представляют собой «рок» таких героев и кончаются глубоко трагично»; «Из борьбы за невесту сватовство и женитьба в русском эпосе превращаются в борьбу против невесты» [13. С. 114, 117]. Богатыри понимают свое предназначение, когда в некоторых вариантах былин на придорожном камне они (как Добрыня) читают надпись: «Кто налево пойдет – тому женату быть», то обычно их рассуждения выдержаны в духе: «Не богатырская это доля – женатым быть!» Даже двух защитников русской земли – Добрыню Никитича и Илью Муромца, которые, казалось бы, избежали несчастливой доли, связанной с женитьбой, все же «рок» сватовства настигает (так, жена Добрыни Никитича, обманутая Алешей Поповичем, едва не выходит за него замуж, это приводит к ссоре богатырей и с трудом удается избе-

жать смертельного поединка между ними; Илья Муромец вступает в бой со своим сыном Сокольников). То, что А.К. Толстой в своих балладах учитывал былинную «табуированность» сватовства, женитьбы, любовных походов богатырей, подтверждает и его стихотворение «Илья Муромец». Главный герой произведения «дедушка Илья» бросает упрек молодым богатырям князя Владимира в чрезмерном увлечении интимными чувствами: «Без меня других довольно: / Сядут – полон стол! / Только лакомы уж больно, / Любят женский пол! Все твои богатыри-то, / Значит, молодежь, / Вот без старого Ильи-то/Как ты проживешь! / Тем-то я их боле стою, / Что забыл уж баб, / А как тресну булавою, / Так еще не слаб!» [5. Т. 1. С. 203].

В балладах «Сватовство» и «Алеша Попович» А.К. Толстого любовное взаимное чувство органично сочетается с майским пробуждением природы в первом произведении и буйством летних запахов и цветений во втором.

Балладное, психологическое, выразившееся во всеохватывающем чувственном начале, превалирует. И все же богатырское также воплощено в произведениях. Однако для писателя героическое – скорее потенциальная возможность, а не реализовавшееся качество.

В балладе «Сватовство» главные герои Чурило Пленкович и Дюк Степаныч известны и по киевскому циклу былин. Хотя в произведении А.К. Толстого они именуются богатырями (первый раз в представлении ведущих песенный напев сказителей («Тут с них лохмотья спали, / И, светлы как заря, / Два главные предстали / Пред ним богатыря»), а второй раз в самохарактеристике персонажей («Зане твоих издавна / Мы любим дочерей! / Отдай же их, державный, / За нас, богатырей!» [Там же. С. 216, 218]), но в былинах они героических деяний не совершают, а скорее выделяются богатством, нарядностью, пригожестью. Да и в балладе А.К. Толстого главный подвиг в их трактовке – любовный («Армянских двух царевен / Отвергли мы любовь» [Там же. С. 218]). Произведение А.К. Толстого построено на игре со свадебными старинными обрядами, проникнуто весенними любовными чувствами, описанием элегантности интерьера, щегольских одежд персонажей. Все отмеченное настолько превалирует в балладе, что полностью вытесняет богатырское как деяние, подвиг, борьбу с врагом. Поступок героев произведения А.К. Толстого совершенно противоположен и выбору, сделанному былинным Добрыней Никитичем (он отказывается жениться на племяннице князя Владимира Забаве Путятишне после спасения ее от змея, а балладные Чурило Пленкович и Дюк Степанович, наоборот, сватаются к дочерям киевского правителя).

В подобном ключе построена и баллада «Алеша Попович» А.К. Толстого. В произведении описывается зарождение и развитие любовного чувства героя и похищенной им царевны. Рост интимного начала в балладе сопровождается летним пейзажным обрамлением и дивным пением Алеши Поповича под аккомпанемент «звонких гуслей». Главный герой три раза именуется богатырем (два раза автором, один раз в самохарактеристике). Даже в балладном развитии такая оценка мотивирована: песней и игрой на гуслях побеждена природа («Погремок, пестрец и шильник, /

И болотная заря / К лодке с берега нагнулись / Слушать песнь богатыря» [5. Т. 1. С. 223]). Однако собственно богатырские атрибуты отходят на «второй план» – оружие брошено под ноги, а за плечами, где воины носят лук, – гусли: «За плечами видны гусли, / А в ногах червлёный щит, / Супротив его царевна/ Полоненная сидит» [Там же. С. 220].

Баллады «Сватовство» и «Алеша Попович» настолько исполнены интимной атмосферы безмятежности, спокойствия и умиротворенности, что параллельно вдруг возникает ощущение тревоги и предчувствие зарождающихся катаклизмов. Так, упоминание стрекоз в балладе «Алеша Попович» явно отсылает к стрекозам из стихотворения «Где гнутся над омутом лозы», заманивающим ребенка в смертельную глубину омута («Он же к ней: Смотри, царевна / Видишь там, где тот откос, / Как на солнце быстро блещут / Стаи легкие стрекозы? / На лозу когда бы сели, / Не погнули бы лозы; / Ты же в лодке не тяжеле / Легкокрылой стрекозы» [Там же. С. 221]). В этот же контекст «включается» и память былинного жанра о несчастливой судьбе богатырей, вовлеченных в интимно-личностную сферу любовных переживаний.

Если в балладах «Сватовство» и «Алеша Попович» концепция угасания богатырства на Руси получила подтекстное, косвенное воплощение, то в произведениях «Чужое горе», «Илья Муромец» А.К. Толстой уже тенденциозно обозначил причины, из-за которых «перевелись» богатыри на родной земле.

Необходимо отметить, что подобный финал отражен и в былинной «Отче-го перевелись богатыри на святой Руси», имеющей несколько вариантов. Не акцентируя внимание на различиях, отметим, что причина «окаменения» богатырей, уничтоживших иноземное войско, в их вызове-похвальбе, которую они бросают «силе нездешней». Далее следует наказание: или христианские святые, или ожившие мертвые татары оттесняют богатырей в горы, где они и превращаются в каменные изваяния.

Подобную похвальбу позволяет себе и безымянный богатырь в балладе «Чужое горе» А.К. Толстого («В лесную чащу богатырь при луне / Въезжает в блестящем уборе; / Он в остром шеломе, в кольчатой броне / И свистнул беспечно, бочась на коне: / Какое мне дается горе!» [Там же. С. 156]). Уже после хвастовства-похвальбы герой именуется не богатырем, а «витязем». А в ответ на похвальбу персонажа, отрицающего возможность воздействия горя на его судьбу, тут же сзади у него за спиной и усиживаются поочередно три горя («горе Ярослава», «татарское горе», «Ивана Васильевича горе»). По мнению исследователя С.В. Козловского, «похвальба, рассматриваемая вне пира, происходит вне общества, она не легитимна потому, что не поддерживается обществом, и вследствие этого ставит хвастающего вне закона, считается направленной против сил природы, а потому является недопустимой» [18. С. 128]. Очевидно, традиция героического эпоса в изображении похвальбы богатыря оказалась востребована и включена в авторскую мифологию, транслируясь через культурные коды и в его баллады, воплотившие образы былинных богатырей и архетип бога-

тырства. Литературоведы, обращавшиеся к этому стихотворению, отмечают грехи русской истории в понимании А.К.Толстого: княжеские междоусобицы; татарское иго; самовластие Иоанна Грозного. Именно эти три горя и преодолевают богатыря, мотивируя его превращение в витязя («И как я без боя попался в полон? / Чужое, вишь, горе тащить осужден, / Чужое прошедшее горе!» [5. Т. 1. С. 157]). Однако значимы не только переломные для истории России события, а реакция на них богатыря-героя. Он не борется с персонализированными воплощениями русского национального горя, а подчиняется, везет чуждую, несчастливую для Руси силу, поступая не по-богатырски. Важным, акцентирующим сильную позицию выступает и поэтика названия. Для витязя русское горе представляется «чужим». Богатырь, равнодушный к бедам родной земли, богатырь, пасующий перед враждебными для Руси силами, пусть и сверхъестественного происхождения, неспособный на подвиг, лишается звания защитника Отечества, силы и духа богатырства, по концепции А.К. Толстого. В балладе «Илья Муромец» автор фиксирует ослабление идеальной киевской государственности. Дух неволи, несвободы, появления поколения молодых богатырей, отринувших верность державе и заменивших ее на вассальную верность князю Владимиру, изгнание старых русских богатырей, воплощением которых является Илья Муромец, – причины, разрушившие золотой век Древней Руси.

Если баллады «Сватовство», «Алеша Попович», «Илья Муромец», «Чужое горе» А.К. Толстого фиксируют угасание богатырства на Руси, то стихотворение «Богатырь» воссоздает образ антибогатыря, полную противоположность тому, что воплощали Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Сюжет этого произведения аллегоричен: по «русскому славному царству на кляче разбитой» разъезжает богатырь, угощающий всех «даровым вином». И хотя выглядит он не по-богатырски («Покрит он дырявой рогожей, / Мочалы вокруг сапогов, / На брови надвинута шапка, / За пазухой пеннику штофф»), автор два раза, в начале и в конце произведения, называет его богатырем. Очевидно, это мотивировано той любовью, с которой его встречает русский народ («Встречает его с хлебом-солью, / Честит его русский народ» [Там же. С. 146]). В стихотворении описывается победоносное шествие этого богатыря по Руси, он нигде не встречает сопротивления, завоевывая и подчиняя мужиков и баб, солдат, живописцев, хлебопашцев, повытчиков, оккупируя русское пространство («Где кляча ударит копытом, / Там тотчас стоит и кабак» [Там же. С. 149]). В стихотворении создается символический образ пьяной Руси, затопленной винной рекой («Рекою бушует вино, / Уносит деревни и села / И Русь затопляет оно» [Там же. С. 140]). И в общем пьяном угаре лжебогатырь не боится быть опознан, открывая свой лик – лик смерти, обрушившейся на Россию: «И гордо на кляче гарцует / Теперь богатырь удалой; / Уж сбросил с себя он рогожу, / Он шапку сымает долой: / Гарцует оглоданный остов, / Венец на плешивом челе, / Венец из разбитых бутылок / Блестит и сверкает во мгле. / И череп безглазый смеется: Призвание мое свершено! / Недаром же им достается / Мое даровое вино» [Там же. С. 150].

Богатырство – одна из энергий, составляющих ценность и целостность России, и его исчезновение из русской жизни приводит к пустоте, заполняемой лжебогатырством, богатырем-самозванцем. Обратной, противоположной стороной русского богатырства оказывается водочный дурман и образ смерти, впечатавшийся в русскую ментальность. И только возвращение духа и силы истинного богатырства способно изжить эту эмблему-знак мертвенности из народной жизни.

Следует отметить, что на образ из стихотворения «Богатырь» могла оказать воздействие поздняя былина «московского периода» «Василий Пьяница и Батыга» («Василий Игнатьевич и Батыга»). Соотнесенность пьянства и богатырства должна была показаться А.К. Толстому, ненавидевшему «московский этап» развития истории, «уродливой», характерной для «позднейших великорусских былин» [Там же. Т. 4. С. 476]. Авторская индивидуальная мифология и преобразовала образ богатыря-пьяницы в образ раздающего «даровое вино» русским людям скелета верхом на кляче, сопровождаемого текстуальной пометой-обозначением «богатырь». Если обратиться ко времени создания баллад и стихотворений, воплотивших архетип богатырства, то наиболее плодотворным для А.К. Толстого является период с 1866 по 1871 г. Именно тогда были написаны «Чужое горе» (1866), «Змей Тугарин» (1867), «Песня о походе Владимира на Корсунь» (1869), «Укушуйник» (1870), «Поток-богатырь» (1870), «Илья Муромец» (1871), «Сватовство» (1871), «Алеша Попович» (1871). В 1840-е гг. было создано стихотворение «Курган», в 1849 г. – «Богатырь». В более ранних по дате публикации произведениях реальность, описанная А.К. Толстым, приближена к XIX в.

А вот в стихотворениях и балладах, создававшихся с 1866 по 1871 г., охват событий более многопланов: действие происходит то во времена Киевской Руси правления князя Владимира, то в средневековый период новгородской вольницы, то в современном для писателя XIX в. В ряде лирических произведений летоисчисление трудно определить. Так, в балладе «Алеша Попович» нет отсылок к правлению князя Владимира, и хронотоп может быть определен весьма широко – «времена былинных богатырей». В лирическом произведении «Чужое горе» события приурочены к летоисчислению «после Ивана Васильевича». Сатирическое стихотворение «Поток-богатырь» – сопряжение трех временных пластов: древней Киевской Руси правления князя Владимира, московской государственности XVI в. и современного писателю XIX в. Исходя из даты написания лирических произведений, можно сделать вывод, что концепция богатырства сложилась и оформилась у А.К. Толстого в период с 1866 по 1871 г. Писатель воссоздает события из истории России, определившие развитие государственности и неразрывно связанные с русским богатырством.

Времена Киевской Руси правления князя Владимира не только период расцвета богатырства, как в балладе «Змей Тугарин», но и начало угасания этого феномена. В основу сюжета «Песня о походе Владимира на Корсунь» положены данные летописных источников о крещении князя Влади-

мира, изложенные Н.М. Карамзиным в «Истории государства Российского». А.К. Толстой в этой балладе воссоздает конкретно-историческое событие, тогда как в «Змее Тугарине», «Сватовстве», «Илье Муромце», «Алеше Поповиче» события мифологизированы, что во многом мотивировано образами былинных богатырей, хотя автор и стремится избегать воплощения чудесного. А.К. Толстой от мифа, моделированного в произведениях о Киевской Руси, переходит к истории в «Песне о походе Владимира на Корсунь».

Замещение мифологического времени на историческое связано с крещением князя Владимира и Киевской Руси в указанной балладе. И теперь для А.К. Толстого богатырский хронотоп оказывается «былинным», т. е. из далекого прошлого («Запев начинают дружины, / И с разных кругом раздаются сторон / Заветные песни минувших времен / И дней богатырских былины» [5. Т. 1. С. 181]). Богатырское начало в «Песне о походе Владимира на Корсунь» вдруг лишается укорененности в настоящем фабульного времени. Уход богатырства как явления мифологического порядка и мироустройства и появление исторического, христианского времени и летоисчисления и провозглашает князь Владимир («И пал на дружину Владимира взор: / Вам, други, доселе со мною / Стяжали победы лишь меч да топор, / Но время настало, и мы с этих пор / Сильны еще силой иною! / Что смутно в душе мне сказалось моей, / То ясно вы ныне познайте: / Дни правды дороже воинственных дней!» [Там же. С. 182]). Завершается баллада провозглашением «новой державы» и нового закона для Руси – закона «милосердия». Утвержденные Владимиром принципы наметили расхождение с древнерусским богатырским «уставом» и подготавливали почву, с одной стороны, для исчезновения киевского богатырства, а с другой – для слияния – обретения богатырской идеи в свете православия (впрочем, это направление в творчестве А.К. Толстого своего развития не получило, поэтому правомерно ставить вопрос об угасании богатырского архетипа в текстах писателя).

В стихотворении «Укушуйник» богатырская сила уже представлена как глубинная древняя сила, проснувшаяся в молодце и властно требующая своего выхода. («Одолела сила – удаль меня молодца, / Не чужая, своя удаль богатырская! / А и в сердце тая удаль-то не вместится, / А и сердце-то от удали разорвется» [Там же. С. 194]). В этом произведении герой напоминает Василия Буслаева, их обоих словно мучит богатырский дух, внезапно проснувшийся. Добрый молодец из стихотворения А.К. Толстого по всем былинным законам обращается к батюшке и матушке с просьбой отпустить «обозы бить низовые, купецкие», «багрить на море кораблики урманские», «на Волге жечь остроги басурманские». Богатырское в этом произведении представлено в привычном, традиционном, героическом, воинственном облике. Отметим, что добрый молодец стихотворения- новгородец, и богатырство находит свой «последний приют» в еще одном любимом, идеальном хронотопе А.К. Толстого – вечном, древнем Новгороде.

Баллада «Курган» – о временах, когда о богатырях и богатырстве уже забыли на Русской земле. В произведении А.К. Толстой впервые использует свой, ставший в дальнейшем отличительным, прием: в начальных строках герой из прошлого называется «богатырь знаменитый», затем – «витязь», «наездник державный». В балладе метафорически изображен последний, посмертный бой богатыря со временем. И «витязь могучий» его проигрывает: забыто его имя («А витязя славное имя / До наших времен не дошло...»), забыты его царствование, его враги, его победы («Кто был он? венцами какими / Свое он украсил чело? / Чью кровь проливал он рекою? / Какие он жег города? / И смертью погиб он какою? / И в землю опущен когда?» [Там же. С. 135–136]). Напоминанием о богатырстве остается лишь древний курган («Курган же с высокой главою, / Где витязь могучий зарыл, / Еще не сровнялся с землею, / По-прежнему гордо стоит» [Там же. С. 135]). Последнее пристанище «наездника державного» словно пропитано его богатырской энергией. Стихия земли сохраняет-конденсирует древнюю, могучую силу. Мотив обретения героем богатырской энергии от русской земли для былин характерен, хотя и не частотен. В произведении А.К. Толстого богатырство – национальное проявление дохристианской Руси, архетип славяно-русского менталитета. Богатырство в балладе «Курган» вытеснено из физического плана бытия и переходит на метафизические, трансцендентные уровни существования мира.

В сатирическом стихотворении «Поток-богатырь» А.К. Толстой воссоздает образ древнего русского богатыря, известного по былинам о Потоке (Потыке). Однако герой выполняет необычную функцию: он перемещается во времени, переносясь из Киевской Руси князя Владимира в Московское царство XV в. Иоанна Грозного и в Российскую империю XIX столетия. А.К. Толстой использует фантастический прием – Потока после длительной пляски сморил богатырский сон, и первый раз он очнулся через «полтысячи лет» в правление Иоанна Грозного [Там же. С. 197]. От московских порядков у героя «голова заходила кругом, / Он на землю как сноп упадет, / Лет на триста еще засыпает» [Там же. С. 198]. От реальности XIX в. с присяжными судами, материалистами-нигилистами, эмансипированными красавицами Потоку снова сделалось «гадко и пошло», и он «лет на двести еще засыпает» [Там же. С. 201]. А.К. Толстому необходим богатырский взгляд на реальность. Присутствие Потока в новой прогрессивной цивилизации открывает ее бескрылость, приземленность, искусственность, несвободу. Современная реальность не проходит проверки богатырским целеполаганием. В стихотворении указаны временные отрезки продолжительности богатырского сна – 500, 300 и 200 лет. Уменьшение срока пребывания героя в состоянии *oneiros* для автора симптоматично: приближается век, когда русская действительность готова выдержать богатырский оценивающий взгляд. И еще одна важная деталь: Поток оказывается нестареющим, вечным героем как свидетельство вечности и важности для России архетипа богатырства.

Необходимо еще раз подчеркнуть: богатыри в произведениях А.К. Толстого не сражаются с врагом, в текстах нет батальных сцен. Единственная

баллада, в которой почти происходит битва, – «Змей Тугарин», однако противник русских витязей спасается бегством до боя. А.К. Толстой актуализирует в произведениях неожиданные характеристики героев-богатырей. В балладе «Змей Тугарин» Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич владеют искусством слова, тайными знаниями, в балладе «Сватовство» Чурило Пленкович и Дюк Степаныч проявляют артистический дар перевоплощения, в балладе «Алеша Попович» одноименный герой мастерски играет на гуслях, его песнями заслушивается природа, в сатирическом стихотворении «Поток-богатырь» витязь князя Владимира – лучший плясун. Можно сделать вывод, что архетип богатыря в творчестве А.К. Толстого порожден не только мифологическим и былинным потенциалом, но и более поздними историко-культурными представлениями. Архетип богатыря художественно утверждается писателем через творческое начало как проявление особого дара-таланта нации.

Очарование языческой, дохристианской эпохой, когда «богатырство было исходным началом», А.К. Толстой пронес через всю свою жизнь. Негероичность современной ему действительности удручала писателя и диктовала обращение к древним идеалам. Потребность окружающего мира в мужественности, ладе, патриотизме, поэтичности, творческом начале и обусловила значение архетипа богатырства для А.К. Толстого.

Литература

1. Скафтымов А.П. Поэтика и генезис былин. Москва ; Саратов, 1924.
2. Капустина С.В. Феномен богатырства в трактовке Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск, 2014. С. 233–242.
3. Еремина В.И. Н.В. Гоголь // Русская литература и фольклор (первая половина XIX века). Л., 1976. С. 249–291.
4. Кулагин Д.Л. Мифологема в смысловом контексте культуры (на материале русских сказок и былин) : дис. ... канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2017.
5. Толстой А.К. Собрание сочинений : в 4 т. М. : Правда, 1980.
6. Бердяев Н. Судьба России. М., 2007.
7. Реизов Б.Г. Драматическая трилогия А.К. Толстого // Из истории европейских литератур. Л., 1970. С. 94–120.
8. Сазонова З.Н. Жанр и тематический аспект в произведениях А.К. Толстого об эпохе Ивана Грозного: баллады, роман, трагедия : дис. ... канд. филол. наук. Владимир, 2006.
9. Киченок А.С. Творчество как мифотворчество: мифологические составляющие художественного текста. Горловка, 2009.
10. Веселовский А.Н. Южно-русские былины. СПб., 1881.
11. Стафеев Г.И. Сердце полно вдохновенья: жизнь и творчество А.К. Толстого. Тула, 1973.
12. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб., 1994.
13. Протт В.П. Русский героический эпос. М., 1958.
14. Элиаде М. Оккультизм, колдовство и моды в культуре. Киев ; Москва, 2002.
15. Толстой Н.И. Очерки славянского язычества. М., 2003.
16. Плотникова А.А. Весенние заклинательные формулы изгнания «гадов» у южных славян // Славянский и балканский фольклор: Семантика и прагматика текста / отв. ред. С.М. Толстая. М., 2006. С. 319–372.

17. Маринов Д. Народна вяра и религиозни народни обичаи. София, 1981. Т. 1.
18. Козловский С.В. Отражение социальной практики домонгольской Руси в восточнославянском эпосе : дис. ... канд. ист. наук. Ижевск, 2006.

Heroism as a National Manifestation of the Pre-Christian Russia in the Works of A.K. Tolstoy

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2019. 58. 129–150. DOI: 10.17223/19986645/58/9

Andrey V. Antyukhov, Andrey V. Sharavin, Bryansk State University (Bryansk, Russian Federation). E-mail: bgu-bryansk@bk.ru / ek11ier@mail.ru

Keywords: A.K. Tolstoy, archetype, heroism, confabulation, bylina, ballad, fighting snakes.

The aim of the article is to consider the archetype of heroism in A.K. Tolstoy's works as part of a Slavic microimage. This aim is solved on the material of ballads ("Dragon Tugarin", "Ilya Muromets", "Alyosha Popovich", "Courtship", "Others' Grief", "Mound"), poems ("Hero", "Stream-Hero"), and letters the analysis of which has allowed to find out the mythological, national, philosophical, esthetic constants of heroism in the writer's works. The article is based on a compound approach to Tolstoy's creative work combining comparative and typological, mythopoetic, historical and genetic, historical-literary methods.

In the course of the research, the center of the "heroic text" of the writer has been specified – the ballad "Dragon Tugarin". In the work embodying the Golden Age of the Kiev statehood, Tolstoy recreates the "eternal" components of the Russian great power statehood and Russian ethnos: love of freedom, the unity of the prince, heroes and people, the Slavic veche, the union of Russians and Varangians, honor. These are the components of the Slavic image of the world that the heroes of Prince Vladimir protect by force and wisdom. In the poems "Ilya Muromets", "Alyosha Popovich", "Courtship", the first signs of the fading of the heroic spirit connected with the conflict of "young" and "old" combatants, the prevalence of the intimate and personal sphere over the heroic one are traced. The ballad "Others' Grief" represents a hero for whom misfortunes of the home land are "others'" misfortunes, and therefore he is unworthy of being called a hero (the author designates him as a "knight"). The poem "Hero" fixes the disappearance of the true spirit of heroism from the Russian life, creates the image of antiheroism. In the ballad "Hill", the satire "Stream-Hero" heroism, according to Tolstoy's concept, appears to be an eternal, non-extermineable energy which is condensed and kept by the elements of the earth.

The main conclusions of the authors of the article can be designated as follows. The heroism archetype is inseparably linked with Tolstoy's concept of the Russian statehood. The writer allocated two stages: "Kiev" and "Moscow". For Tolstoy, it is the Golden Age of the Russian statehood and the time of its decline. The peak and the decline of heroism, according to the writer's concept, predetermine the historical development of the country. Heroism for Tolstoy is a deep ancient force connected with the mythologeme of the earth. The writer affirms the heroism archetype as a creative beginning, the manifestation of the gift-talent of the Russian people (the characters of ballads dance, sing, play the gusli, are skillful masters of words, have secret knowledge), at the same time the military features of the characters act as elements of a second order.

References

1. Skaftymov, A.P. (1924) *Poetika i genesis bylin* [Poetics and genesis of epics]. Moscow; Saratov: [s.n.].
2. Kapustina, S.V. (2014) Fenomen bogatyrstva v traktovke N.V. Gogolya i F.M. Dostoevskogo [The phenomenon of heroism in the interpretation of N.V. Gogol and F.M. Dostoevsky]. *Problemy istoricheskoy poetiki*. 12. pp. 233–242.

3. Eremina, V.I. (1976) N.V. Gogol' [N.V. Gogol]. In: Priyma, F.Ya. (ed.) *Russkaya literatura i fol'klor (pervaya polovina XIX veka)* [Russian literature and folklore (first half of the nineteenth century)]. Leningrad: Nauka.
4. Kulagin, D.L. (2017) *Mifologema v smyslovom kontekste kul'tury (na materiale russkikh skazok i bylin)* [Mythologem in the semantic context of culture (on the material of Russian fairy tales and epics)]. Philosophy Cand. Diss. Rostov-on-Don.
5. Tolstoy, A.K. (1980) *Sobranie sochineniy: v 4 t.* [Collected Works: in 4 vols]. Moscow: Pravda.
6. Berdyaev, N. (2007) *Sud'ba Rossii* [The fate of Russia]. Moscow: Eksmo.
7. Reizov, B.G. (1970) *Iz istorii evropeyskikh literatur* [From the history of European literatures]. Leningrad: [s.n.]. pp. 94–120.
8. Sazonova, Z.N. (2006) *Zhanr i tematicheskiy aspekt v proizvedeniyakh A.K. Tolstogo ob epokhe Ivana Groznogo: ballady, roman, tragediya* [Genre and thematic aspect in the works of A.K. Tolstoy on the era of Ivan the Terrible: ballads, novel, tragedy]. Philology Cand. Diss. Vladimir.
9. Kichenok, A.S. (2009) *Tvorchestvo kak mifotvorchestvo: mifologicheskie sostavlyayushchie khudozhestvennogo teksta* [Creativity as myth-making: the mythological components of a literary text]. Gorlovka: GGPIIYa.
10. Veselovskiy, A.N. (1881) *Yuzhno-russkiya byliny* [South Russian epics]. St. Petersburg: [s.n.].
11. Stafeyev, G.I. (1973) *Serdtshe polno vdokhnoven'ya: zhizn' i tvorchestvo A.K. Tolstogo* [The heart is full of inspiration: the life and work of A.K. Tolstoy]. Tula: Priokskoe knizhnoe izdatel'stvo.
12. Putilov, B.N. (1994) *Fol'klor i narodnaya kul'tura* [Folklore and folk culture]. St. Petersburg: Nauka.
13. Propp, V.P. (1958) *Russkiy geroicheskiy epos* [Russian heroic epic]. Moscow: Labirint.
14. Eliade, M. (2002) *Okkul'tizm, koldovstvo i mody v kul'ture* [Occultism, witchcraft and fashion in culture]. Translated from English. Kiev: Sofiya; Moscow: Gelios.
15. Tolstoy, N.I. (2003) *Ocherki slavyanskogo yazychestva* [Essays of Slavic paganism]. Moscow: Indrik.
16. Plotnikova, A.A. (2006) Vesennie zaklinatel'nye formuly izgnaniya "gadov" u yuzhnykh slavyan [Spring spell formulas for the expulsion of "vermins" among the southern Slavs]. In: Tolstaya, S.M. (ed.) *Slavyanskiy i balkanskiy fol'klor: Semantika i pragmatika teksta* [Slavic and Balkan folklore: Semantics and pragmatics of the text]. Moscow: Nauka.
17. Marinov, D. (1981) *Narodna vyara i religiozni narodni obichai* [People's faith and religious folk customs]. Vol. 1. Sofia: Nauka i izkustvo.
18. Kozlovskiy, S.V. (2006) *Otazhenie sotsial'noy praktiki domongol'skoy Rusi v vostochnoslavyanskom epose* [Reflection of the social practice of pre-Mongol Russia in the Eastern Slavic epos]. History Cand. Diss. Izhevsk.

УДК 091(571.1)

DOI: 10.17223/19986645/58/10

В.А. Есипова, Д.А. Огнев

**ЛИЧНОСТЬ-ПОСРЕДНИК В ПРОЦЕССЕ КУЛЬТУРНОГО
ТРАНСФЕРА (НА ПРИМЕРЕ СБОРНИКА КРУГА
ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)¹**

Рассматривается вопрос о личности-посреднике в процессе культурного трансфера. Исследуется рукописный сборник XVIII в., принадлежавший представителю западнорусского духовенства А.Ю. Бодаковскому. Установлено, что в составе сборника читаются труды иезуитов, полемические тексты русских авторов и собственные тексты Бодаковского. В результате анализа текстов сборника удалось реконструировать некоторые черты личности владельца: билингвизм, выполнение функций переводчика и др.

Ключевые слова: рукописи, палеография, Сибирь, культурный трансфер.

Постановка проблемы

В процессе установления и функционирования межкультурной коммуникации важная роль принадлежит посредникам – людям или группам, которые непосредственно это взаимодействие осуществляют. К таким группам могут быть отнесены многочисленные представители православного духовенства, получившие образование в Киево-Могилянской академии и отправленные служить в Сибирь в конце XVII–XVIII в. (см. [1] и др.).

Известно, что церковная реформа Петра I подразумевала целый ряд мероприятий, в число которых кроме реформы церковного управления (создание Синода, утверждение Духовного регламента и т.д.) входила также реформа образования для духовного сословия. Она предполагала создание ряда учебных заведений, программа которых имела образцом программу Киево-Могилянской духовной академии; не получившие духовного образования исключались из соответствующего сословия. Таким образом, процесс петровской церковной реформы можно рассматривать как ситуацию культурного трансфера, организованного извне – в данном случае на государственном уровне.

В силу местных условий и отдаленности от центра в Сибири всегда ощущался недостаток образованных священников. Именно в период прав-

¹ Статья подготовлена при **частичной** финансовой поддержке гранта РФФИ и Администрации Томской области № 17-14-70006 ОГН ОГН СИБ-А, а также гранта фонда им. Д.И. Менделеева (Национальный исследовательский Томский государственный университет. № 8.1.17.2018).

ления Петра I сюда массово стали прибывать представители западнорусского духовенства. В первой половине XVIII в. архиерейскую кафедру в Тобольске последовательно занимали Филофей Лещинский (1702–1711, 1715–1721 гг.), Иоанн Максимович (1712–1715 гг.), Антоний Стаховский (1721–1740 гг.), Арсений Мацеевич (1741–1742 гг.), Антоний Нарожницкий (1742–1748 гг.), Сильвестр Гловацкий (1749–1748 гг.), Павел Конюсевич (1758–1768). Все они обучались в Киево-Могилянской академии и привлекали к службе близких им по духу и уровню образования людей. Процесс широкого вовлечения в российскую и сибирскую церковную жизнь представителей западнорусского духовенства получил в историографии название «украинизация» Русской православной церкви.

В данной статье рассматривается рукописный сборник, принадлежавший одному из представителей западнорусского духовенства, ныне хранящийся в отделе рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета (ОРКП НБ ТГУ). Этот источник не позволяет реконструировать процесс культурного трансфера и его результаты, но дает возможность сделать некоторые выводы о личности одного из его участников. На основе анализа состава сборника предполагается выявить круг чтения и интересов владельца, а также по возможности описать его личностные характеристики.

Краткий обзор историографии вопроса

Концепт культурного трансфера в последнее время все больше используется не только филологами и культурологами, но и представителями других областей гуманитарного знания. Понятие культурного трансфера было впервые введено в 1980-е гг. М. Эспанем и М. Вернером [2]. Основная идея заключалась в том, чтобы выявить специфику взаимосвязей и взаимопроникновений национальных культурных пространств и механизмы, с помощью которых это происходит ([3–5] и др.). В отличие от компаративистики использование теории культурного трансфера предполагает не изучение рецепции культурных элементов исходной культуры в целевой культуре, а «их встраивание в новую культурную систему с учетом возможной трансформации в процессе реализации трансфера» [3. С. 24].

Одной из важнейших составляющих теории культурного трансфера является исследование роли посредника, в роли которого может выступать как отдельная личность, так и группа людей или организация. Как отмечают исследователи, «теорию межкультурных инстанций-посредников еще только предстоит выработать» [Там же]. Применительно к ситуации, рассматриваемой в данной статье, необходимо выявить специфику группы людей, осуществлявших культурный трансфер («украинизацию» Русской православной церкви).

Работ по истории западнорусского духовенства и его пребывании в Сибири довольно много; одним из фундаментальных исследований на эту тему до сих пор остается труд К.В. Харламповича [6]. Им были установле-

ны личности основных деятелей западнорусского духовенства, занимавших видные посты в Москве, Петербурге и епархиальных центрах в рассматриваемый период, охарактеризованы области их деятельности (руководящие лица в церковной иерархии, главы епархий, монастырей и семинарий, царские духовники, певчие, преподаватели и мн. др.) [6. С. 457–878]. Отметим также цикл работ Н.А. Абрамова, в которых изложены основные факты биографий высших церковных иерархов Сибири; в данном случае наибольший интерес представляет статья об Антонии Стаховском [7]. Поскольку ранее была установлена принадлежность исследуемого сборника к кругу Дмитрия Ростовского, также важны работы о Дмитрии, его книжном собрании и его окружении; отметим среди них труд И.А. Шляпкина [1], содержащий не только подробный биографический очерк, но и реконструкцию круга знакомств и эволюции взглядов Дмитрия. В целом Д. Ростовскому посвящена довольно обширная литература, из последних публикаций существенной для данной темы является публикация его писем с комментарием, осуществленная М.А. Федотовой [8]. В числе прочего ею опубликованы и письма Дмитрия к владельцу рассматриваемого сборника. Таким образом, «портрет» западнорусского духовенства, оказавшегося на службе, в том числе и в Сибири, описан достаточно детально: начиная от его численности и мест служения до уровня образования и взглядов.

Кроме того, рассматриваемый сборник также подвергался исследованию, некоторые итоги уже были опубликованы. Так, в научный оборот введено полное палеографическое описание [9. С. 165–169], рассмотрен состав сборника в целом, идентифицированы основные работы, переписанные в его составе, по возможности реконструирована биография владельца и доказана принадлежность к кругу Дмитрия Ростовского как рассматриваемого сборника, так и еще одной рукописи, хранящейся в ОРКП НБ ТГУ [10, 11].

Таким образом, уже рассмотрен историко-культурный контекст создания и бытования интересующей нас рукописи и проведено ее палеографическое описание и исследование. Однако детальное рассмотрение произведений европейских авторов в составе сборника не проводилось. Незнанием остались возможности реконструкции личностных особенностей владельца сборника на основе тех данных, которые из него можно извлечь. Именно это и предопределило цель настоящей статьи.

Характеристика источников и методов исследования

Одним из представителей западнорусского духовенства в Сибири XVIII в. являлся Андрей Юрьев Бодаковский, писарь и, возможно, ученик Дмитрия Ростовского. То, что в это время Бодаковский был у него писарем мы узнаем из расходной грамоты Дмитрия за 1 января 1708 г. [1. С. 319, 339]. Вероятно, он тот же самый Андрей Юрьев, о котором говорит Дмитрий в одном из своих наставлений ученикам Ростовской школы:

«...поставлю над вами сеньора, господина Андрея Юрьева...» [Там же. С. 350]. В 1709 г. Бодаковский уже находился в Москве и, по всей вероятности, обучался в Славяно-греко-латинской академии. Сохранилось его письмо, адресованное ростовскому обывателю (священнику?) Леонтию Благовещенскому, где, в частности, говорится о том, что о. Богомодлевский преподает у них риторику [1. С. 339]. В 1719 г. вместе с другими выпускниками академии Бодаковский был направлен в одну из петербургских церквей. В том же году он попал в Преображенский приказ, где был поднят вопрос «об обнажении его священства». В 1727 г. он был священником у кравчего (обер-шенка) графа Василия Федоровича Салтыкова, брата царицы Прасковьи Федоровны. В дальнейшем следы его теряются. В Тобольском древлехранилище хранился, вероятно, какой-то архив Бодаковского; на него ссылается в своем капитальном труде К.В. Харлампович [6. С. 705], цитируя письмо Дмитрия Ростовского к Бодаковскому, опубликованное в первом выпуске сборника «Тобольское церковное древлехранилище» [12. С. 32–33].

В ОРКП НБ ТГУ хранится «Сборник полемического содержания на славянском, польском и латинском языках» [13]. Он представляет собой рукопись in quarto, в кожаном переплете, написан на бумаге с филигранями: «I VILLEDARY» [14. № 1195], герб Амстердама с контрамарками «AG» [Там же. № 885], «AC» [Там же. № 879], «AT» [Там же. № 177, 178, 873] и Seven Province с контрамаркой «IV» [Там же. № 1177]. Он попал в НБ ТГУ в составе коллекции Тобольского церковного древлехранилища [9. С. 165–169]. На корешке рукописи наклеен ярлык Тобольского церковного древлехранилища, номер утрачен. На с. 141 одним из почерков основной рукописи написано: «Сия тетради преосвященный Дмитрий, митрополит Ростовский и Ярославский, пожаловал мне, Андрею Юрьеву сыну Бодаковскому, прислал к Москве из Ростова 23 7bris (сентября. – В.Е., Д.О.) 1709 Å на благословение».

В рукописи прослеживается несколько почерков; это украинская скоропись начала XVIII в. В целом сборник производит впечатление конволюта, куда в течение некоторого времени по мере необходимости на свободных местах вносились записи – и эти записи выполнены почерком Бодаковского, включая пометы на форзацах. Доказательством того, что это именно конволют, служит прежде всего тот факт, что начало рукописи было переписано однозначно писцом, находившимся на службе у Дмитрия Ростовского – об этом свидетельствует собственноручная запись Бодаковского по окончании фрагмента текста из «Розыска», приведенная выше. Фрагмент текста «Розыска» переписан аккуратной, красивой скорописью, которая далее в рукописи не встречается. Отметим, что именно эта часть текста переписана на бумаге с филигранью «Seven Province / IV». Помет Бодаковского в этой части сборника практически нет, они появляются лишь на последних страницах (с. 139–141). В пользу того, что перед нами именно конволют, заполнявшийся владельцем по мере необходимости, говорит также наличие довольно больших массивов пустых листов: с. 145–200, 214–224, 248–252, 256, 272, 295–296, 352, 371–381, 397 (тр. паг.).

Кроме того, между страниц В-877 вложена записка, написанная чернилами, скорописью XVIII в., в которой в числе прочего говорится: «Пречестнейший... отче Андрей Бодаковский, а мой премилостивый благодетель, прошу честности твоея. Пожалуй, напиши три вирши на картину Воскресения Христова, а образец картине послал с учеником своим, просить честности твоей. Недостойный старец Антоний».

Таким образом, перед нами книга, сопровождавшая владельца на протяжении ряда лет его жизни. Владелец неоднократно пополнял имеющиеся в составе сборника тексты и делал записи на свободных листах.

Основными методами исследования явились палеографический метод и комплекс библиографических методов. Была произведена полная поста-тейная роспись сборника, после чего каждая статья была идентифицирована, по возможности выявлены издания или рукописные тексты, которые могли послужить основой для составления текста в сборнике. Были собраны биографические сведения об авторах текстов и установлена их принадлежность к той или иной культурной и религиозной общности.

Результаты и их обсуждение

А. Тексты европейских авторов в составе В-877.

Целый ряд текстов В-877 так или иначе связан с деятельностью иезуитов, что весьма характерно для круга интересов представителей западно-русской образованной церковной элиты. Так, представлен на страницах рукописи трактат Гаспара Дружбицкого «*Notata ex fasciculo exercitoirum et concideratonum de Pracipuis veritatibus, christianae Fideis... a Gaspere Druzbigki*» (с. 1–64 тр. паг.), впервые опубликованный издателем и печатником Цезарием Францишеком в Кракове в 1662 г.

Дружбицкий (Друйбицки) Гаспар (Каспер) Антоний (1589–1662) родился в дер. Друзиц (Белхатовский повет, Лодзинское воеводство). Он происходил из шляхетской семьи, получил образование в Люблине, занимался преподаванием в Кракове, был ректором иезуитских колледжей в ряде городов, в том числе в Познани. Занимал высокие должности в ордене иезуитов (был провинциалом польских иезуитов в 1590–1662 гг.); считался одним из ведущих богословов и мистиков своего времени, основателем польской духовной школы. Являлся автором целого ряда трудов, в основном в области аскетики, впервые дал теоретическое основание для концепции Святейшего Сердца Иисуса Христа. В сборнике представлены выписки из одного из немногих трудов великого польского мистика, увидевших свет при его жизни; большинство его текстов были изданы после кончины автора и представляют собой извлечения из фундаментального труда «*Opera ascetica*» (Калиш-Познань, 1686–1691).

Сразу следом за текстом Дружбицкого (с. 65–144 тр. паг.) переписана «*Grammatica religiosa*» Абрахама а Санта-Клара, впервые напечатанная в Зальцбурге в 1691 г. Абрахам а Санта-Клара или Иоганн Ульрих Мегерле (1644–1709), проповедник, сатирик, августинский монах, с 1677 г. – офи-

циальный проповедник в Вене, был известен также как «венский Рабле». Он прославился благодаря своим проповедям, чуждым схоластики и мистицизма, но проникнутым простонародным юмором, язвительным остроумием и прямотой.

Абрахам родился в семье трактирщика, учился в гимназии иезуитов в Ингольштадте (1656–1659 гг.). После кончины отца его опекуном стал его дядя, Авраам Мегерле, дирижер и композитор собора в Зальцбурге. В 1660 г. Абрахам переехал к дяде в Зальцбург и учился там в гимназии бенедиктинцев до 1662 г. В 1662 г. он вступил в орден босоногих августинцев (монастырь Марии Брунн недалеко от Вены). После этого занимался богословскими изысканиями в Вене, Праге и Ферраре. Рукоположен в священника в 1666 г., с 1667 по 1669 г. выступал в качестве проповедника в монастыре недалеко от Аугсбурга – отсюда и началась его слава как проповедника. «Грамматика», представленная в сборнике, была написана и опубликована в ранний период жизни Мегерле – в Зальцбурге.

На с. 257–264 читаются выписки из сочинения «*Scrutinium veritatis fidei editio à reurendo Patre Johanne Francjsko Hacki secjettis Jesu Fleologo*» [15. Р. 504–505. № 2177]. Это труд еще одного представителя польских иезуитов – Яна Франтишека Хакки (1637, Торунь–1696), полемиста и религиозного писателя [16]. Конспект оформлен составителем в виде схем, содержащих сравнение разных христианских движений: протестантского, католического и др. Таблица разделена на графы в соответствии с основными положениями христианского учения: о Боге (*de Deo*), об Иисусе (*de Christo Filio Dei*), является ли Христос единосущным сыном Бога (*An christus dominum fili dei sir consubstantialis patri?*) и т.д. По каждой конфессии отдельно указан ответ в краткой форме: подтверждает (*affirmat.*), отвергает (*negat.*) или умалчивает (*tacet*). На оборотах листов таблицами даны также краткие текстовые комментарии.

Сын бюргера, Хакки окончил иезуитскую школу в Хойнице. В 1653 г. вступил в орден иезуитов, в 1655–1658 гг. учился в Чехии. В 1664 г. был рукоположен в священника, стал профессором в иезуитском колледже, а с 1678 г. проповедовал в Германии. В мае 1679 г. в Гданьске состоялся его публичный диспут со сторонником лютеранства Идзи Страустом. В 1680 г. Хакки опубликовал работу «*Scrutator veritatis*», призывая всех протестантов в Гданьске обсудить вопросы веры. Это вызвало широкую религиозную дискуссию, продолжавшуюся до 1691 г. В ней участвовали лютеране, кальвинисты и квакеры – отражение их точек зрения составитель рассматриваемого сборника и разместил в таблице. Из-за обострения ситуации в городе Хакки вынужден был покинуть Гданьск и отправился в экспедицию, организованную Яном III Собеским. По возвращении в 1686–1692 гг. Хакки был ректором колледжа, в 1696 г. переведен в Торунь. В сборнике представлены выписки из указанной выше скандальной работы Хакки, однако составитель пользовался не первым ее изданием, а вышедшим в 1682 г.

Отметим, что упоминание о подобном конспекте в виде таблиц имеется в переписке между Димитрием Ростовским и Бодаковским. В одном из

писем Дмитрий отмечает, что получил посланную ему Бодаковским «табулу иезуитскую о немецких ересех» и «благодарствует зело» [8. С. 184]. Вполне вероятно, что конспект труда Хакки – это и есть черновик той самой «табулы иезуитской», о которой писал Дмитрий.

Однако интересы владельца сборника не ограничивались только церковью. Например, весьма интересная подборка выписок находится на с. 297–322 (вт. паг.). Она открывается выписками из труда немецкого медика Михаэля Этмюллера (Ettmüller, Michael, 1644–1683) «Exrpta ex Ettmullero» (с. 297–299). Его работы пользовались популярностью в конце XVII – начале XVIII в. и неоднократно переиздавались, например [17]. Кроме того, на с. 353–370 переписан еще один текст медицинского характера «Le-karstwa na wszelkie chorooby wielce potosne» на польском языке.

Начиная с л. 299 следуют выписки из «Horologium principum» [18, 19]. Составитель этого сочинения, придворный проповедник Карла V Антонио де Гевара, предполагал создать такой текст, по которому монархи могли бы сверять правильность своих решений и находить полезные сведения. Труд под названием «Книга, называемая часы государей», вышел в 1601 г. [20] и неоднократно переиздавался. Отметим и тот факт, что подлинные письма Марка Аврелия были обнаружены только в XIX в.; большинство русскоязычных текстов, надписанных именем императора с пометкой «с латинского», восходят, как установлено учеными, именно к «Horologium principum».

Представлена в сборнике также античная эпистолярная традиция, которая изучалась как в Киево-Могилянской, так и в Славяно-греко-латинской академиях: это короткие выдержки из писем Цицерона под общим заглавием «Florilegium sententiarum ex epistolis M.T. Ciceronis, notatum» (с. 288–290) [21]. Текст писем Цицерона был подготовлен к изданию Денисом Лэмбиным (1520–1572), французским специалистом по классической филологии, чьи работы до сих пор используются специалистами в основном из-за качественного комментария. Издание писем традиционно насчитывает 16 томов. В рукописи не воспроизводится текст писем, приведены лишь отдельные цитаты с указанием источника.

Б. Тексты русских авторов в составе В-877.

Ранее уже указывалось, что в составе сборника представлены также сочинения отечественных авторов, в частности уже упоминавшийся фрагмент сочинения Дмитрия Ростовского из «Розыска». Читается в сборнике и ряд других текстов древнерусской традиции, например: с. 246–247. «О чистцу. Меж чистцем римским и мытарством нашим различие сие»; с. 265–271. «Духовному чину свеча пастыря доброго: треплетенная учение. Житие»; с. 273–276. «О чину священника и о скуфье, которая ради вины на попе скуфья»; с. 277–288. «Неделя пятая надесять. Слово святых отец о страхе Божии и о злых женах. Поучение иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго. Благослови отче». Также в составе сборника переписан фрагмент трактата «О поклонении святым дарам» (с. 333–351), написанный, как считает И.А. Шляпкин, после 1690 г. автором-«малороссом» [1.

С. 226–227]; некоторые исследователи называют в качестве автора Димитрия Ростовского [1. С. 225]. Это один из многочисленных текстов, появившихся в результате известной дискуссии о времени пресуществления священных даров. Все перечисленные тексты переписаны рукой Бодаковского.

Представлены и сочинения отечественных авторов, написанные на латыни, например: с. 225–245 [Стефан Яворский]. «*Mater Sancta orientalis orthodoxa ecclesia duobus uberibus... Dialogismus seu collocuto duorum orthodoxi et romani de communione*». Таким образом, сборник в целом содержит тексты, представляющие собой диалог двух культур: православной и католической, указанные тексты представляют эту своеобразную переключку.

Еще одно свидетельство такого диалога – таблица на с. 383–386, озаглавленная «*Ordo Evangeliorum Domunicium*»; это порядок воскресных чтений Евангелий. В первой графе таблицы представлены латинские названия недель, начиная с недели Пасхи и до конца календарного круга, следующая графа содержит русские названия соответствующих недель. Последние четыре графы отведены под ссылки на чтения из четырех канонических Евангелий; указываются номер зачала и листа.

В. Собственные тексты Бодаковского в составе В-877.

Особый интерес представляют собственные тексты Бодаковского, размещенные в сборнике на разных листах. Среди них довольно много переводов и стихотворных опытов. Так, на с. 305–310 читается подборка латинских и русских виршей, располагающихся без видимого порядка. Еще одна подборка виршей, написанных рукой Бодаковского, представлена также на с. 201–214. Она интересна сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, она связана с уже упоминавшейся запиской, вложенной в рукопись, в которой выражается просьба о написании стихов на картину «Воскресение Христово». Такие вирши действительно есть на упомянутых страницах:

С. 202. Под Воскресением
Свет еси Христе, во тму что входиши,
Светом ли тму ту, свете, прогониши.
Несть во тебе тме, причастия свету,
Непостижиму Божию совету

С. 206. Воскресению Христову
Светом из гроба восиял еси, Христе Боже,
Света ты пресветла тма объять не може.
Тмою грехов объятый, света не имею.
Блесни, мой свете, свете твой, да тму одолею».

Имеются вирши аналогичной тематики на с. 207–208 и 212.

С. 207. Богородице
Обуреваемых ты пристанище, мати,
Ты не гнушаешься болных посещати.

Ты и моя немощи покрывати веси,
Тобою прогоняешься и страсти, и бесы.

С. 208. Образ сей имать чюдный Сибирское царство.
В селе Абалаке, где прежде бе поганство.
Тобольск недалече, где царь Кучюм бяше,
Идеже нещетными орды обладаше.
Тамо днесь небесная царица царствует
И всем верным благодать в чюдесех дарствует.
Рцем вси: радуйся, дево, христиан похвала,
Стяжем бо независтно ползы zde немало.

Как видно, они посвящены чудотворной иконе Богоматери Абалацкой, названной так по названию татарского селения Абалак, расположенного в 30 км от Тобольска. Церковь, где хранится икона, была начата постройкой в 1636 г., тогда же протодиаконом Тобольского кафедрального собора Матфеем Мартыновым написана икона. Сказание об иконе Богоматери Абалацкой написано в 1641 г. предположительно Саввой Есиповым; сохранилось в двух редакциях и не менее чем в 10 списках, один из которых хранится в ОРКП НБ ТГУ [22]. В настоящее время текст Сказания изучен и опубликован [23, 24].

Таким образом, можно с большой долей вероятности утверждать, что автор виршей – Андрей Бодаковский – писал эти строки в Сибири, в Тобольске, о котором он говорит, что Тобольск расположен «недалече» от Абалака.

Еще одним косвенным подтверждением того, что автор виршей действительно работал в Тобольске, служит ряд стихов, посвященных книге «О подражании Христу», написанных на с. 210–211, например:

С. 210. На книгу подражания Христова
Дажь, Христе спасителю, тебе подражати,
И твоя страдания во уме держати.
Яже претерпел еси за нас неповинный,
Дабы человеческий род, грехам причинный,
Могл тебе угождати, яко zde явлено,
В кнize архиерейских трудов положенно.
Всяк учению сему хотящ подражати,
Может без сумнения мзду Христа стяжати.

Известно, что в коллекции Тобольского церковного древлехранилища имелась рукопись «О подражании Христу», выполненная рукой Антония Стаховского [7. С. 18]; к сожалению, не удалось установить, где она находится в настоящее время. Автором текста являлся Фома Кемпийский; предположительное время создания текста – 1418–1427 гг., а первое издание датируется 1471–1472 гг. Первый русский перевод был напечатан в 1647 г., однако он был достаточно редок, книга распространялась преимущественно списками.

Таким образом, автор виршей мог посвятить стихи вполне определенной копии книги «О подражании Христу», а именно рукописной копии, выполненной Стаховским и хранившейся в Тобольске. Весьма соблазнительным является предположение, что «недостойный старец Антоний», направивший Бодаковскому записку с просьбой написать вирши на «картину Воскресения Христова», и есть Антоний Стаховский, возглавлявший Тобольскую кафедру с 1721 по 1740 г., т.е. как раз в том период, когда Бодаковский мог находиться в Сибири. Однако, в нашем распоряжении не имелось образцов почерка Антония, поэтому подтвердить это предположение не представляется возможным.

Обсуждение результатов

Как видно, авторами ряда текстов, читающихся в сборнике Бодаковского, являются представители ордена иезуитов. Однако нельзя сказать, что эти тексты входили в типичный для иезуитов того времени круг чтения, основу которого составляли «*Exercitia spiritualia*» («Духовные упражнения») Игнатия Лойолы. Трактат «*Notata ex fasciculo exercitiorum et considerationum de Principiis veritatibus, christianae Fideis*» Гаспара Дружицкого, насколько можно судить, не получил широкого распространения, затерявшись среди многочисленных сочинений автора. Так, о. Жозеф де Гибер в фундаментальном труде «Духовность общества Иисуса» не упоминает данный трактат, называя в числе лучших следующие: «*Brevissima ad perfectionem via*», «*De moribus, amore, servitio aeternae Sapientiae*», «*De negotiationis spiritualis industriis*», а также «*De gratia delectante et vincente*», «*De caritate perfectorum*», «*Provisiones senectutis*», «*De effectibus, fructu, applicatione Sanctissimi Sacrificii Missae*» [25. С. 375–376].

Нет упоминания в работе о. де Гибера и остальных сочинений, присутствующих в сборнике Бодаковского: «*Grammatica religiosa*» Абрахама а Санта-Клара и «*Scrutinium veritatis fidei*» – тем самым можно заключить, что эти труды как будто бы не сыграли значительной роли в формировании иезуитской духовности. Однако предикториана – остроумные, курьёзные, крайне едкие проповеди, по своему языковому материалу близкие к народной смеховой культуре, были весьма популярны, а творения Абрахама а Санта-Клара были наиболее известны в этом своеобразном жанре гомилетики. По замечанию Иштвана Рат-Вега, «в Венгрии до сих пор нет книги, в которой были бы собраны такие произведения. Их можно встретить лишь в редких, давно забытых книгах. Исключением является Абрахам а Санта-Клара: его смачные поношения выдержали множество изданий» [26]. Поэтому можно допустить, что у иезуитов, активных и талантливых проповедников, были в ходу его творения. Известность Яна Франтишека Хакки, по-видимому, практически не вышла за пределы Гданьска, однако ему посвящена статья в семитомном труде французских иезуитов Августина и Алоиза де Бакера «*La bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus*» [27. С. 347–349], в которой авторы, скрупулёзно со-

ставлявшие списки трудов каждого иезуита, приводят «Scrutinium veritatis Fidei» под номером 3. Здесь же отметим, что Гаспар Дружбицкий ими не упоминается.

Таким образом, круг чтения владельца сборника выходил за рамки традиционного круга чтения иезуитов, хотя труды представителей этого ордена в нем присутствовали. Можно объяснить это тем, что существовал, с одной стороны, официальный круг чтения, рекомендованный руководством ордена, в который входили пресловутые «Духовные упражнения», и, с другой стороны, неофициальный, включавший то, что иезуиты читали по своей инициативе и могли распространять или рекомендовать друг другу в непосредственном общении. Если первый мог быть зафиксирован церковной историографией, то второй, по-видимому, мог отражаться именно в конволютах, аналогичных рассматриваемому, и не учитываться церковными историками, которые порой отличались избирательностью и подозрительностью по отношению к текстам, не снискавшим специального одобрения церковных иерархов. По всей видимости, случайные тексты в сборник попасть не могли; его состав свидетельствует о вдумчивости и скрупулёзности владельца и, как следствие, сознательном подборе чтения.

Следует отметить также близость тематики некоторых из переписанных произведений интересам представителей круга Димитрия Ростовского, к которому принадлежал и Бодаковский. Отнесем сюда, например, таблицу, составленную по материалам труда Хакки; это можно сопоставить с известными спорами о пресуществлении, а также с прямым указанием в письме Димитрия на «табулу иезуитскую». Таким образом, выбор произведений для переписки мог быть обусловлен интересами близкой владельцу и актуальной для него полемики. Иначе говоря, в процессе культурного трансфера отбирались те произведения, которые оказывались наиболее подходящими для актуальных нужд и посредника, и принимающей культуры.

Описывая круг чтения владельца сборника в целом, отметим, что для него характерно сочетание европейской и русской образованности; это типично для традиции обучения Киево-Могилянской академии, ориентированной на европейские образцы, но при этом воспитывавшей студентов в православном духе. Можно вспомнить здесь и о знаменитой библиотеке при академии, в которой хранились не только книги, изданные в России, на Украине и в Белоруссии, но также в известных европейских книгоиздательских центрах: Амстердаме, Галле, Берлине, Данциге и др.

Если попытаться охарактеризовать владельца и составителя сборника, посредника в процессе культурного трансфера, исходя из приведенного выше состава текстов, то получится примерно следующая картина:

– очевиден билингвизм Бодаковского, а также его знакомство с другими языками (как минимум – польским). Исследователями библиотеки Димитрия Ростовского указывалось, что святитель не знал греческого языка [28]; если судить по текстам сборника, его владелец также греческим не владел – по крайней мере, ни одного текста на этом языке в сборнике нет;

– перед нами человек европейски образованный: он знает и переписывает произведения, относящиеся к обеим культурам. Как лицо духовного сословия, он заинтересован прежде всего в профессиональных вопросах, сведения о которых черпает в трудах как соотечественников, так и европейских авторов;

– бросается в глаза отсутствие в сборнике знаковых трудов авторов, составляющих основу круга чтения иезуитов, и обращение при этом к трудам малоизвестных авторов. Такой выбор текстов может быть объяснен соответствием профессиональным и духовным запросам группы-посредника в процессе культурного трансфера. Внимание Бодаковского привлекают и религиозные споры, о чем свидетельствуют списки текстов Яна Хакки и неизвестного автора о пресуществлении святых даров;

– весь текст сборника представляет собой своеобразный диалог православной и католической традиций. Это выражается и в чередовании текстов из разных культур, и в составлении сопоставительных таблиц (например, календарных). Составитель очевидно относит себя к православной традиции, что выражается, например, в особом отношении к текстам Димитрия Ростовского, «тетради» которого Бодаковский возил с собой в составе сборника в течение ряда лет;

– слабая идентификация себя по региональному признаку. В сборнике представлен только один текст с ярко выраженной сибирской тематикой: это вирши об иконе Богоматери Абалацкой; возможно, сюда же можно отнести текст о рукописи «О подражании Христу», но это лишь гипотеза;

– Бодаковский выступает и как переводчик, в том числе – поэтических текстов; он сочиняет стихи сам, их качество признано коллегами, которые просят его написать что-нибудь на заказ;

– мотив служения, не только пастырского, что отражают такие тексты, как лечебник и выписки из трудов Эттмюллера. То есть Бодаковский – это человек, готовый врачевать не только душевные недуги (что положено ему по должности), но и недуги телесные.

Выводы

Таким образом, перед нами один из представителей западнорусского образованного духовенства, образование которого явно было ориентировано на Европу. При этом принадлежавшая ему рукопись оказалась в Сибири – вполне вероятно, что вместе со своим владельцем. Поскольку она отложилась в Тобольске, есть вероятность, что она могла использоваться в преподавании для трансляции образцов европейской учености в одной из самых отдаленных провинций Российской империи. А в роли учителя (транслятора) выступал если не сам владелец сборника, то человек как минимум близкий ему по уровню и объему образования; примерный портрет его был показан выше.

Возникает вопрос, как представлял свою миссию и ощущал себя этот человек, оказавшийся очень далеко от привычных ему условий – жизнен-

ных, образовательных и прочих. Очень точно высказался об этом уже упоминавшийся здесь один из представителей западнорусского духовенства в Сибири – Антоний Стаховский – в одном из своих донесений в Москву, датированном январем 1740 г.: «По судьбе я, знать, под такую планетою родился, что не жалуют меня русские, думая что я малороссиянин, да и не жалуют меня малороссияне, думая, что я русский; и по сему подобен я летучей мыши, которая будучи ни зверь, ни птица, но от обоих своих родов и видов не приемлется. Я же о себе точно объясню, что мой отец... был полковым сотником в ахтирском слободском полку, кои полки не гетману подчинены, но военной коллегии, и следовательно я русский человек, а не малороссиянин, только я тем себя испортил, что в Киеве чрез 15 лет учась, привык к их выговору, а не к их переводам» [6. С. 731]. Видно, что Антония не удовлетворяло то, как его воспринимали по обе стороны «культурной границы»: нигде он не был своим, принадлежа одновременно и обоим культурам, и ни одной.

Очевидно, что процесс культурного трансфера, инициированный сверху, имел некоторую специфику, и это отражалось в том числе и на посредниках, и на их восприятии происходящего и себя в этом процессе. Некоторые детали этой специфики позволяют выявить сборники, подобные рассмотренному в настоящей статье.

Литература

1. Шляпкин И.А. Святой Димитрий Ростовский и его время. М., 1891. XIV, 460 с.
2. Эспань М. История цивилизаций как культурный трансфер. М. : Новое литературное обозрение, 2018. 816 с.
3. Лобачева Д.В. Культурный трансфер: определение, структура, роль в системе литературных взаимодействий // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. Вып. 8 (98). С. 23–27.
4. Дмитриева Е. Теория культурного трансфера и компаративный метод в гуманитарных исследованиях: оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы. 2011. № 4. С. 302–313. URL: <http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/dm16-pr.html> (дата обращения: 25.05.2018).
5. Минеева И.Н. Культурный трансфер: от истории идеи к методологии // Филологические исследования. 2016. Т. 4. URL: <http://academy.petsu.ru/journal/article.php?id=3006> (дата обращения: 25.05.2018). DOI: 10.15393/j100.art.2016.3006
6. Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. 1. 970 с.
7. Абрамов Н.А. Антоний Стаховский митрополит Сибирский и Тобольский // Странник. 1863. Январь. С. 5–20.
8. Федотова М.А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского: исследование и тексты. М., 2005. 384 с.
9. Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Томского государственного университета: каталог. Вып. 2: XVIII в. / сост. В.А. Есипова. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. 610 с.
10. Есипова В.А. Две рукописи круга Димитрия Ростовского (по материалам Научной библиотеки Томского государственного университета) // ТОДРЛ. Т. 62. СПб., 2014. С. 614–627.
11. Поплавная В.А. Рукописный сборник первой четверти XVIII в. из собрания св. Димитрия Ростовского // Книга в России: Из истории духовного просвещения. СПб., 1990. С. 65–71.

12. Юрьевский А. Драгоценные автографы // Тобольское церковное древлехранилище. Тобольск, 1902. Вып. 1. С. 28–34.
13. ОРКП НБ ТГУ. В-877. Сборник полемического содержания на славянском, польском и латинском языках. Рукопись второй четверти XVIII в. 542 с.
14. Клепиков С.А. Филигрani и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX вв. / худ. С.Б. Телингатер. М. : Изд. Всесоюз. кн. палаты, 1959. 306 с.
15. *Slavica Gottingensia*. Ältere Slavica in der Niedersächsischen Staats-und Universitätsbibliothek Göttingen. Teil 1. (Opera Slavica, Neue Folge, 30). Göttinge, 1995.
16. Hacki Jan Franciszek // Gedanopedia. Fundacja Gdańska, Gdańsk 2012–2015. URL: https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=HACKI_JAN_FRANCISZEK (дата обращения: 21.05.2018).
17. *Ettmulleri Michaelis*. Operum omnium medico-phiscorum, editio novissima caeteris omnibus tum correctior, tum auctior, tum vero faciliior. Lugduni, 1690.
18. *Guevara Antonius*. Horologium principum oblatum. & consecratum, ab illustr. ac rev. dno Emerico e comitibus Csáky de Keresztszegh... dum e praelectionibus R.P. Leonardi a Nepomuceno... positiones philosophiae universae propugnaret. S. Joanne Jaurini, 1742. 582 p.
19. Марк Аврелий Антонин. Размышления / Доватур А.И., Гаврилов А.К., Унт Я. Л. : Наука, 1985.
20. *Horologium sive vita Marci Aurelii Imperatoris*. Libri I–III ab Illustrissimo viro Antonio de Guevara compositi, in Latinam linguam traducti studio J. Wankelii. Torgae, 1601.
21. *Ciceronis M.T. Epistolae ad familiares*, ad Dionysio Lambino ex codicibus MS. Excerptae et emendatae. Pauli Manutii, nec non aliorum eruditorum Virorum Notis illustratae. Usui Scholarum dicatae, ac vulgatae. Accessit moderna edition Graecarum vocum Latina interpretation. Item Florilegium Sententiarum ex epistolis Auctoris, tam ad familiars, quam alios clarissimos viros scriptus, collectum ac locis Communibus adornatum. Cracoviae ex officina Schedeliana, S.R.M. Typogr. Sumptibus Georgii Schedel, 1674.
22. ОРКП НБ ТГУ. В-3927. «Сказание о явлении иконы Богоматери Абалацкой» с дополнительными статьями. 1786 г. 43 лл.
23. Ромодановская Е.К. Сибирь и литература. XVII век. Новосибирск, 2002. С. 155–180.
24. Сказание о явлении и чудесах Абалацкой иконы Богородицы // Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII в. История Сибири. Первоисточники. / под ред. Е.К. Ромодановской, О.Д. Журавель. Новосибирск, 2001. Вып. 10. С. 85–184.
25. Гиббер Ж. де. Духовность Общества Иисуса: исторический очерк. М.: Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. 680 с.
26. *Рат-Вег II*. Комедия книги. М.: Книга, 1987. URL: <http://lingua.russianplanet.ru/library/rat-veg/30.htm> (дата обращения: 28.02.2018).
27. *Backer Augustin de, Backer Aloys de*. Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus. 7 vol. Liège, 1853–1861. Vol. 3. 1856.
28. Янковская Л.А. Малоизвестные факты пастырской и литературной деятельности святителя Димитрия Ростовского // История и культура Ростовской земли. Ростов, 1991. С. 37–40. URL: <https://www.rostmuseum.ru/museum/biblioteka/istoriya-i-kultura-rostovskoy-zemli/materialy-konferentsii-1991g-rostov-1991/l-ya-yankovskaya-maloizvestnye-fakty-pastyrsКОЙ-i-lite-raturnoy-deyatelnosti-svyatitelya-dimitriya-rostovskogo-s-37-40/> (дата обращения: 21.05.2018).

A Mediator in Cultural Transfer (On the Example of the Collection from the Circle of Dimitry of Rostov; The Collection of Rare Books and Manuscripts, Tomsk State University Research Library)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2019. 58. 151–167. DOI: 10.17223/19986645/58/10

Valeriya A. Esipova, Daniil A. Ognev, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: esipova_val@mail.ru / danielognev@yandex.ru

Keywords: manuscripts, paleography, Siberia, cultural transfer.

The article is devoted to the issue of the personality of a mediator in cultural transfer. The situation of “Ukrainization” of the Russian Orthodox Church is used as an example of cultural transfer.

A manuscript collection of the 18th century that belonged to one of the representatives of the West Russian clergy, Andrey Bodakovsky, is under study. The collection is now stored in the Rare Books and Manuscripts Department of the Tomsk State University Research Library (ORKP NB TGU). The source does not allow to reconstruct the cultural transfer and its results, but it makes it possible to draw some conclusions about the identity of one of its participants. The collection has already been subjected to research, some results have been published: a full paleographic description was introduced into scientific discourse, the composition of the collection was considered as a whole, the main works rewritten in the collection were identified, the biography of the owner was reconstructed if possible, his affiliation to the circle of Dimitry of Rostov was proved.

The main methods of the research were a paleographic method and a set of bibliographic methods. A complete article-by-article list was made, each article was identified, publications or handwritten texts that could serve as a basis for compiling the text of the collection were identified if possible. Biographical information about the authors of the texts was collected; their affiliation to one or another cultural and religious community was established.

The circle of reading and interests of the owner was revealed, and, if possible, his personal characteristics were described on the basis of the analysis of the composition of the collection. It was established that the collection contains the works of Jesuits not included in their traditional circle of reading, as well as polemical texts of Russian authors, including in Latin, and Bodakovsky's own poetic texts. Bodakovsky identifies himself primarily as a person of Russian Orthodox culture. In general, the owner's circle of reading is characterized by a combination of works of Russian and European authors. As a result of the analysis of the texts of the collection, it was possible to reconstruct certain features of the owner's personality as a mediator in the cultural transfer. Bilingualism, functioning as an interpreter, acquaintance with European and Russian culture are among them.

References

1. Shlyapkin, I.A. (1891) *Svyatoy Dimitriy Rostovskiy i ego vremya* [St. Dimitry of Rostov and his time]. Moscow: [s.n.].
2. Espan', M. (2018) *Istoriya tsivilizatsiy kak kul'turnyy transfer* [History of civilizations as a cultural transfer]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
3. Lobacheva, D.V. (2010) Cultural transfer: definition, structure and function in literary interactions. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin*. 8 (98). pp. 23–27. (In Russian).
4. Dmitrieva, E. (2011) *Teoriya kul'turnogo transfera i komparativnyy metod v gumanitarnykh issledovaniyakh: oppozitsiya ili preemstvennost'?* [The Theory of Cultural Transfer and the Comparative Method in Humanitarian Studies: Opposition or Continuity?]. *Voprosy literatury*. 4. pp. 302–313. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/dm16-pr.html>. (Accessed: 25.05.2018).
5. Mineeva, I.N. (2016) *Kul'turnyy transfer: ot istorii idei k metodologii* [Cultural Transfer: From the History of Ideas to Methodology]. *Filologicheskie issledovaniya*. 4. [Online] Available from: <http://academy.petsu.ru/journal/article.php?id=3006>. (Accessed: 25.05.2018). DOI: 10.15393/j100.art.2016.3006
6. Kharlampovich, K.V. (1914) *Malorossiyskoe vliyanie na velikorusskuyu tserkovnuyu zhizn'* [Little Russia's influence on Great Russia's church life]. Vol. 1. Kazan: kn. mag. M.A. Golubeva.

7. Abramov, N.A. (1863) Antoniý Stakhovskiy mitropolit Sibirskiy i Tobol'skiy [Anthony Stakhovsky, Metropolitan of Siberia and Tobolsk]. *Strannik*. January. pp. 5–20.
8. Fedotova, M.A. (2005) *Epistolyarnoe nasledie Dimitriya Rostovskogo: issledovanie i teksty* [Epistolary heritage of Dmitry of Rostov: research and texts]. Moscow: Indrik.
9. Esipova, V.A. (2009) *Slavyano-russkie rukopisi Nauchnoy biblioteki Tomskogo gosudarstvennogo universiteta: katalog* [Slavic-Russian manuscripts of the Research Library of Tomsk State University: catalog]. Is. 2. Tomsk: Tomsk State University.
10. Esipova, V.A. (2014) Dve rukopisi kruga Dimitriya Rostovskogo (po materialam Nauchnoy biblioteki Tomskogo gosudarstvennogo universiteta) [Two manuscripts of the circle of Dmitry of Rostov (according to the materials of the Research Library of Tomsk State University)]. *TODRL*. 62. pp. 614–627.
11. Poplavnaya, V.A. (1990) Rukopisnyy sbornik pervoy chetverti XVIII v. iz sobraniya sv. Dimitriya Rostovskogo [Handwritten collection of the first quarter of the 18th century. from the collection of St. Dmitry of Rostov]. In: *Kniga v Rossii: Iz istorii dukhovnogo prosveshcheniya* [Book in Russia: From the history of spiritual enlightenment]. St. Petersburg: [s.n.].
12. Yur'evskiy, A. (1902) Dragotsennyye avtografy [Precious autographs]. *Tobol'skoe tserkovnoe drevlekhranilishche*. 1. pp. 28–34.
13. Rare Books and Manuscripts Department of Tomsk State University Research Library. V-877. *Sbornik polemicheskogo sodержaniya na slavyanskom, pol'skom i latinskom yazykakh. Rukopis' vtoroy chetverti XVIII v.* [Collection of polemical content in the Slavic, Polish and Latin languages. The manuscript of the second quarter of the 18th century].
14. Klepikov, S.A. (1959) *Filigrani i shtempeli na bumage russkogo i inostrannogo proizvodstva XVII–XX vv.* [Filigrees and stamps on paper of Russian and foreign production of the 17th–20th centuries]. Moscow: Izd. Vsesoyuznoy kn. palaty.
15. SUB Göttingen. (1995) *Slavica Gottingensia: Ältere Slavica in der Niedersächsischen Staats-und Universitätsbibliothek Göttingen*. Teil 1. (Opera Slavica, Neue Folge, 30). Göttingen.
16. Gedanopedia. (2012–2015) *Hacki Jan Franciszek*. [Online] Available from: https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=HACKI_JAN_FRANCISZEK. (Accessed: 21.05.2018).
17. Etmulleri Michaelis. (1690) *Operum omnium medico-phiscorum, editio novissima caeteris omnibus tum correctior, tum auctior, tum vero faciliior*. Lugduni.
18. Guevara Antonius. (1742) *Horologium principum oblatum. & consecratum*, ab illustr. ac rev. dno Emerico e comitibus Csáky de Keresztszegh... dum e praelectionibus R.P. Leonardi a Nepomuceno... positiones philosophiae universae propugnaret. S. Joanne Jaurini.
19. Marcus Aurelius Antonius. (1985) *Razmyshleniya* [Reflections]. Translated from Latin. Leningrad: Nauka.
20. Wanckel, J. & de Guevara, A. (1601) *Horologium principum sive vita Marci Aurelii Imperatoris*. Libri I–III. Torgae.
21. Ciceronis, M.T. (1674) *Epistolae ad familiares, ad Dionysio Lambino ex codicibus MS. Excerptae et emendatae. Pauli Manutii, nec non aliorum eruditorum Virorum Notis illustratae. Usui Scholarum dicatae, ac vulgatae. Accessit moderna edition Graecarum vocum Latina interpretation. Item Florilegium Sententiarum ex epistolis Auctoris, tam ad familiars, quam alios clarissimos viros scriptus, collectum ac locis Communibus adornatum*. Cracoviae ex officina Schedeliana, S.R.M.: Typogr. Sumptibus Georgii Schedel.
22. Rare Books and Manuscripts Department of Tomsk State University Research Library. V-3927. “*Skazanie o yavlenii ikony Bogomateri Abalatskoy*” s dopolnitel'nyimi stat'yami. 1786 g. [“The Legend of the Appearance of the Icon of Our Lady of Abalatsk” with additional articles. 1786].
23. Romodanovskaya, E.K. (2002) *Sibir' i literatura. XVII vek* [Siberia and literature. The 17th century]. Novosibirsk: Nauka. pp. 155–180.

24. Romodanovskay, E.K. & Zhuravel, O.D. (eds) (2001) Skazanie o yavlenii i chudesakh Abalatskoy ikony Bogoroditsy [The Tale of the Phenomenon and Miracles of the Icon of Our Lady of Abalatsk]. In: *Literaturnye pamyatniki Tobol'skogo arkhieyskogo doma XVII v. Istoriya Sibiri. Pervoistochniki* [Literary Monuments of the Tobolsk Archbishop's House of the 17th Century. History of Siberia. Primary sources]. Is. 10. Novosibirsk: Sibirskiy khronograf.

25. de Gibert, J. (2010) *Dukhovnost' Obshchestva Iisusa: istoricheskiy ocherk* [The Spirituality of the Society of Jesus: A Historical Essay]. Translated from French by V.G. Basmova. Moscow: In-t filosofii, teologii i istorii sv. Fomy.

26. Ráth-Végh, I. (1987) *Komediya knigi* [The Comedy of a Book]. Translated from Hungarian. Moscow: Kniga. [Online] Available from: <http://lingua.russianplanet.ru/library/rat-veg/30.htm>. (Accessed: 28.02.2018).

27. de Backer, A. & de Backer, A. (1856) *Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus*. Vol. 3. Liège: Grandmont Donders.

28. Yankovskaya, L.A. (1991) [Little-known facts of the pastoral and literary activity of St. Dimitry of Rostov]. *Istoriya i kul'tura Rostovskoy zemli* [History and culture of the Rostov land]. Conference Proceedings. Rostov. pp. 37–40. [Online] Available from: <https://www.rostmuseum.ru/museum/biblioteka/istoriya-i-kultura-rostovskoy-zemli/materialy-konferentsii-1991g-rostov-1991/l-ya-yankovskaya-maloizvestnye-fakty-pastyrskoy-i-literaturnoy-deyatelnosti-svyatitelya-dimitriya-rostovskogo-s-37-40/>. (Accessed: 21.05.2018). (In Russian).

УДК 81.1; 008:361

DOI: 10.17223/19986645/58/11

Д.И. Иванов, Д.Л. Лакербай

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: МЕТАДИСЦИПЛИНАРНЫЙ «ДОМ ТЕОРИЙ»

Рассматривается оригинальная конфигурация «метадисциплинарного» знания, возникшая на основе оригинальных авторских теорий. В рамках антропоцентрической парадигмы, когнитивно-дискурсивного подхода и «поэтики субъекта» объединяются инновационные концепции синтетической языковой личности, когнитивно-прагматических программ, индивидуального стиля как продукта совместной «трансценденции» языка и человека, а также когнитивно-дискурсивная теория интерпретации. Традиционные «действующие лица» речевой (творческой) деятельности: автор (субъект творчества, субъект-источник) и читатель (зритель, слушатель, субъект-интерпретатор) – получают новое глубинное обоснование.

Ключевые слова: исследовательские стратегии; синтетическая языковая личность; когнитивно-прагматическая программа; когнитивно-прагматические установки; субъектно-языковое пространство

Наметившаяся еще в последние десятилетия XX в., после трудов Э. Бенвениста, Ю.С. Степанова, Ю.Н. Караулова, В.З. Демьянкова, Н.Д. Арутюновой, Е.С. Кубряковой и др. (см., например, работы [1–6]), актуализация антропоцентрического понимания лингвистической реальности привела к уже равноправному положению антропоцентрической парадигмы лингвистики среди прочих. Если «структуралисту язык виделся как естественно-научный объект, вне культуры и в отвлечении от людей, говорящих на нем» [3. С. 242], то в настоящее время инструментальность, системность и структурность языка становятся лишь частью многомерной лингвистической реальности в новом прочтении (модернизации) традиции: «Язык, по Гумбольдту, есть и **форма выражения содержания мысли**, и *само* это обретенное и сохраняемое **духовное содержание** и, наконец, **инструмент** для такого содержания» [7. С. 78]. Становление антропоцентрической парадигмы – процесс глобальный и многоплановый, восстанавливающий (ибо язык «принадлежит самому определению человека» [1. С. 293]) глубинные философские интуиции лингвистики – и в то же время выводящий ее к новому прочтению многих сторон человеческого бытия. Не случайно уже к концу XX в. оформилось несколько взаимосвязанных направлений в рамках лингвистической антропологической ориентации: «...лингвогносеология (когнитология), лингвосоциология, лингвопсихология, лингвоэтнология, лингвопалеонтология и, наконец, лингвокультурология, направленная на изучение взаимоотношений языка и культуры» [8. С. 29–30].

Опираясь на уже сложившуюся традицию словоупотребления, мы тем не менее не настаиваем на абсолютной корректности термина «антропоцентрическая парадигма» – здесь сейчас достаточно сложная ситуация. С одной стороны, как замечает В.З. Демьянков, само «использование термина *научная парадигма* – одно из первых проявлений антропоцентричной философии науки» [9. С. 16]. С другой стороны, согласно обобщению Т.Н. Хомутовой, лингвистическое научное сообщество использует этот термин по большей части в суженном варианте «дисциплинарной матрицы» [10. С. 143]. Когнитивисты по-своему расставляют «парадигмальные» акценты: антропологизм предстает скорее методологическим принципом глобальной когнитивно-дискурсивной парадигмы (как органичного синтеза когниции и коммуникации), в русле которой действуют различные направления современной лингвистики, отвечающие общим теоретическим и методологическим установкам: *экспансионизму* (выход лингвистики в междисциплинарное пространство); *антропоцентризму* (по-разному трактуемый учет человеческого, субъектного фактора в языке и мышлении); *функционализму* (в рамках противопоставления «формальное – функциональное» в лингвистических теориях); *экспланаторности* (стремление найти то или иное объяснение «и внутренней организации языка, и его отдельным модулям, и архитектонике текстов, и реальному осуществлению дискурса, и порождению и пониманию речи, и т.п.») [6. С. 208–223].

Думается, в ситуации актуальной междисциплинарности «парадигматический» сдвиг в лингвоориентированном гуманитарном познании может варьировать обличья в зависимости от дисциплинарного ракурса или профильной специализации той или иной части научного сообщества, и важнее здесь общие положения: «Язык настолько сложен и многоэлементен, что практически неисчерпаем в выборе различных параметров и сечений при его описании и характеристике» [11. С. 54]; «Когнитивисты обречены на междисциплинарность <...> Только общими усилиями <...> можно ответить на вопросы о природе разума, об осмыслении опыта, об организации концептуальных систем» [3. С. 307]. «Общие усилия» означают и гибкость применяемых методик – соответствующих «гибкости и подвижности разных языковых форм, возможностей их динамических преобразований, способности приспосабливаться к нуждам коммуникации и условиям ее произведения» [12. С. 18]. Многомерность лингвистической реальности приводит к осознанию недостаточности «одномерного» подхода: «...изучать каждое языковое явление надо в его использовании – в тексте и дискурсе, а когнитивный подход должен быть дополнен дискурсивным анализом и наблюдениями за функционированием существующих форм и созданием новых» [Там же].

Антропоцентризм, как бы его ни постулировать, в применении к целостности и «текучести» языковых (речевых) явлений (аспектно сопряженных с глобальной философской проблемой субъекта) оказывается неразрывно связан с «интегральным» теоретическим подходом, который на уровне методологии и методики неизбежно должен приводить к появ-

лению комплексных (и глубже – синтетических) инструментов научной дескрипции. По этому пути идет лингвокультурология, объектом которой выступают конкретные факты культурного сознания, «взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе его функционирования и изучение интерпретации этого взаимодействия в единой системной целостности» [13. С. 38]. Общий принцип этого взаимодействия прекрасно сформулирован В.Н. Телия: «...языковой знак, когда он выполняет роль «тела» для «концептов» языка культуры, выступает как знаковая их презентация в целом, но при этом языковой знак в пространстве системы языка не утрачивает своих «первоприродных» функций языковой номинации и коммуникации» [14. С. 93]. Язык становится полноправным участником культурного творчества, а «вершинной» категорией культурных и языковых процессов предстает человеческая личность. Принципиальными оказались введение и разработка понятия «языковая личность» как «совокупности способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов)» [15. С. 3].

Несводимость феномена языка (в его неразрывной связи со структурами сознания, с культурой, с реальной действительностью) к естественно-научной модели приводит – и это уже общее мнение – к полипарадигмальности исследовательских подходов, многообразию прочтений и интерпретаций объектов познания. Потребность в «интегральном» познании ставит вопрос о том, что естественно идущий процесс односторонней спецификации должен компенсироваться не просто интегративными связками, но «сквозными» теориями, способными работать не в меж-, а в *метадисциплинарности*, т.е. соответствовать критериям метаязыка для отдельных дисциплин. Метадисциплинарность – не «отмена», а видовое уточнение междисциплинарности в тех аспектах, где возможно более глубокое качественное обоснование последней (учитывая ее проблемный эпистемологический статус за пределами прикладной области и слабо разработанную эпистемологию (см.: [16. С. 6–14])).

Выражаясь метафорически, между крайностями – Сциллой прикладных исследований «по смежности» и Харибдой «большой» универсализирующей теории (каковой был, например, структурализм) – существует зона таких обобщений, которые *максимально* учитывают ключевые сопоставимые характеристики объектов. Соответственно, главным принципом метадисциплинарной теории должен быть не логизированный универсализм (универсальная схема безразлична к специфичности, оригинальности и органичности феномена), а характеристика *потенциала универсализации в самих разнородных объектах* – как их собственного неотчуждаемого плана, их эссенциальной характеристики. Это умеряет универсалистские претензии теории, позволяет варьировать конкретные методы и методики из ее совокупного арсенала сообразно изучаемому объекту, ставит акцент на эвристичности моделей (близость к вероятностному, «мягкому» интерпретативному типу), увеличивает возможности корректной научной дескрипции. Антропоцентризм является фундаментом эссенциальности для фено-

менов культуры и языка, а значит, новые «синтетические» научные направления на такой основе не только эвристичны в плане спецификации объекта, но и обладают значительным метадисциплинарным потенциалом. Осознание этого крепнет: так, И.В. Зыкова прямо говорит о двух возможностях понимания статуса лингвокультурологии – как автономной научной дисциплины со своей историей, структурой, проблематикой и как «метанаучного» («метагуманитарного») направления, объединяющего своей проблематикой науки гуманитарного цикла [17. С. 137–138].

Метадисциплинарный план, объединяющий предлагаемый ниже комплекс теорий, основан, однако, не на актуализации интересов самой лингвокультурологии, а на неустранимой кроссграничности *внутри* меж- и метадисциплинарного объекта – языка в его глобальном культурологическом измерении. Одновременное признание известной автономности научных дисциплин и огромного метадисциплинарного потенциала побуждает рассматривать результаты конкретных научных исследований в обоих аспектах, второй из которых требует осмыслить саму конфигурацию научного знания. Именно таким естественным путем возникла исследовательская стратегия, этапы которой можно представить в виде последовательности ключевых терминов: *антропоцентрическая парадигма* (АП) – *синтетический текст* (СТ; поначалу в изучении отечественной рок-культуры) – *синтетическая языковая личность* (СЯЛ; поначалу там же) – *когнитивно-прагматическая программа* (КПП СЯЛ, терминология Д.И. Иванова).

Понятие *синтетический текст* – подлинное коллективное открытие, потенциал которого стал ясен далеко не сразу. Оно возникло как результат попыток «роковедов» предложить научное описание синтетического феномена рок-произведения, не укладывающегося в узкие дисциплинарные рамки, разделив его по различным основаниям на составляющие, или «субтексты» (например, вербальный, музыкальный, пластический, визуальный [Там же. С. 19–20]; субтекстуальный, пограничный, метатекстуальный [18. С. 175–176]; аудиальные (музыкальный, шумовой, артикуляционный, вербальный) и визуальные субтексты (пластика тела, имиджевый, сюжетно-перформативный, сценографический и пр. [19. С. 78]). Так оформилась новая точка зрения на сложный объект: это текст с четкой внешней маркировкой своей гетерогенности и процессуальности, результат смешанного семиозиса. Сам термин имеет несколько аналогов (креолизованный, полисемиотический, интермедиаальный, синкретический и пр.), однако складывается научная традиция (см. [18–21]) использования термина *синтетический текст* как наиболее корректного и эвристичного (ср.: «Характерная особенность рока – это изначальный синкретизм выразительных средств, нерасчленимость музыкального и поэтического, вокального и инструментального, композиторского и исполнительского» [22. С. 94] – словосочетание «изначальный синкретизм» некорректно, поскольку в рок-музыке мы имеем дело не с синкретизмом, а с программным синтезом).

В нашем понимании синтетический рок-текст – это целостная полисемиотическая система, стержнем которой является СЯЛ, структурно и се-

мантически организующая входящие в СТ субтексты как свои компоненты («горизонтальная» развертка СЯЛ). Если использовать терминологию М. Бахтина, различавшего внешний, композиционный порядок произведения как организованности материала и внутренний, архитектурный строй эстетического объекта [23], – субтекстуальная структура СТ отражает в основном его «внешний порядок», компонентный (материальный) состав и при самом подробном описании не дает нам ответа на главные вопросы. Литературоведение, даже подкрепленное культурологически, оказалось недостаточно эффективным при определении глубинных параметров СТ (междисциплинарность в силу своей многокурсной описательности сама по себе не позволяет построить адекватную теоретическую модель пограничного объекта). Эта задача была решена в рамках созданной Д.И. Ивановым – на стыке литературоведения, лингвокультурологии и семиотики культуры – метадисциплинарной теории синтетической языковой личности, позволившей в деталях рассмотреть механизмы порождения синтетического рок-текста, специфику его субтекстуальной структуры и функционирования, предложить перспективную методику анализа СЯЛ и СТ [24, 25]. Рассмотрим кратко опорные положения теории СЯЛ.

Состоявшийся (обладающий полноценным эстетическим единством, воплощающий интенциональность художника) синтетический художественный текст (в рок-культуре – композиция, альбом, концертное выступление) возникает (реализуется) из своих субтекстов в исполнении, интерпретируется в диалоговом режиме (субъект-источник – субъект-интерпретатор). Поскольку рок-текст изначально, генетически рассчитан на аудиторию, субъект-интерпретатор должен моделироваться в его составе, однако «филологически» или в рамках внешнего, субтекстуального, порядка это сделать невозможно. Семиотическое понимание СТ позволяет рассматривать различные субтексты как произведения определенного «языка» (семиотической системы, вернее, «системы систем»); лингвокультурология, в свою очередь, дает возможность постулировать решающую роль *единой* языковой личности художника как опорной (внутренней) структуры всего, внешне «разноязыкого», произведения. Однако мы сталкиваемся сразу с несколькими концептуальными затруднениями.

Во-первых, опорная семиотическая модель Соссюра, предполагающая разграничение кода и сообщения, первичность языка (кода) как системы по отношению к речи, наличие бинарных оппозиций как основание значения, нуждается в корректировке с позиций современной антропо- и культуроцентричной лингвистики, так как культура – это не просто совокупность или система дешифруемых артефактов, но процесс и результат социокультурного семиозиса: «...культурология как наука, основанная на междисциплинарном, системно-комплексном анализе сложного, саморазвивающегося целого – человеческой культуры, должна в своем семиотическом аспекте связать по крайней мере три научно-исследовательских подхода: собственно семиотический, социокультурный (с учетом теоретической социологии), когнитивный» [26. С. 214–215].

Во-вторых, центральное для лингвокультурологии (и вызвавшее к жизни целое направление – лингвоперсонологию) понятие языковой личности детально разработано в системе *язык – речь – вербальный текст* (последний пусть и главный, но все же лишь один из субтекстов СТ).

В-третьих, несомненная, манифестируемая *процессуальность* СТ в роке (это текст, как правило, имеющий «бумажный след», но по сути *текст-исполнение*) выводит обе вышеназванные проблемы (семиозиса СТ и языковой личности творца СТ) в план *дискурсивности*.

Проблематика языковой личности (ЯЛ) в последние десятилетия развивалась во многих направлениях различными научными школами; в силу данного обстоятельства и многочисленных пересечений эти подходы могут получать несовпадающие наименования. Так, В.И. Карасик выделяет *психологический, социологический, культурологический, лингвистический* типы анализа языковой личности [27. С. 78–79]. Д.В. Аникин различает *психолингвистический, социолингвистический, лингводидактический, социально-психологический, лингвокультурологический* подходы (к примеру, лингводидактика и лингвокультурология различаются путями описания ЯЛ: в центре внимания первой находится «индивид как совокупность речевых способностей»; для второй предметом исследования становятся «национально-культурный прототип носителя определенного языка <...> если в первом случае ЯЛ представляется совокупностью ипостасей, в которых индивид воплощается в языке, то во втором – совокупность индивидов составляет образ ЯЛ» [28. С. 14–15]. Л.А. Хуранова группирует уже сами подходы: «1) реализуемые с точки зрения референции самой личности, то есть ее психологических, этнокультурологических, социологических показателей; 2) реализуемые с позиции особенностей языковой / речевой деятельности личности. <...> К первой группе относятся лингвокультурологический, этнолингвистический, психолингвистический и социолингвистический подходы. Ко второй – лингводидактический, когнитивный, лингвокогнитивный и лингвопрагматический аспекты изучения ЯЛ» [29. С. 76]. Развивая и обобщая идеи предшественников, Н.Д. Голев соотносит «устройство» языковой личности со структурой самого языка: «...принципы устройства ментально-психологического персонологического пространства и принципы системного устройства языка коррелятивны между собой»; лингвоперсонологическое пространство создается прежде всего «разнообразием ментально-языковых типов личностей <...> и тем непрерывным спектром, который это разнообразие формирует» [30. С. 20].

Соответственно, и сама «типология языковых личностей может строиться на различных основаниях» [31. С. 9], однако для нас важно другое: ЯЛ «теоретически открыта» за пределы языковой системности как «много-слойная и многокомпонентная парадигма речевых личностей <...> Именно на уровне речевой личности проявляется как национально-культурная специфика ЯЛ, так и национально-культурная специфика самого общения» [32. С. 119]. Антропоцентризм и речевой план с необходимостью вводят проблематику языковой личности и проблематику дискурса в единое поле

исследований. По словам К.Ф. Седова, «срастание дискурсивной и антропоцентрической лингвистик, а точнее, вхождение дискурсивной лингвистики в состав антропоцентрического языкознания не случайно, ибо Homo loquens реализует себя прежде всего в создании речевых произведений, текстовой деятельности...» [33. С. 5]. Поэтому, например, В.И. Карасик в дополнение к уже названным подходам предлагает «анализ человека в языке с позиций того или иного дискурса, в котором человек участвует» [27. С. 79].

Понятие дискурса, представляющее собой рациональный синтез когнитивной и коммуникативной парадигм, выросло из многократно и повторно осмысленного разграничения языка (системы) и речи (деятельности). Как писал В.А. Звегинцев, «единицы языка – абстрактные единицы <...> речь в противоположность языку всегда целенаправленна и ситуативно привязана. <...> Ситуация в речи есть обязательный компонент самой речи, придающий ей совершенно особый характер» [34. С. 218]. Поскольку языковая личность на деле оказывается речевой, крепнет мнение, что научный концепт *языковая личность* «потерял свой эвристический заряд в свете накопившихся разысканий в области анализа дискурса» [35. С. 30].

Определений дискурса множество, что связано и с «мультидисциплинарностью» понятия (использование в разных научных дисциплинах и научных школах), и с несовпадающими стратегиями исследователей. Так, многократно и с разной степенью успешности по различным оппозитивным критериям (или их комбинациям) сопоставлялись *текст* и *дискурс*: *письменный / устный, монолог / диалог, продукт / процесс, структурный / функциональный, статика / динамика* и пр. (см., например, [36, 37, 38]). Но влиятельна и аргументация в пользу «всеохватывающего» понимания дискурса (как любого сообщения), в связи с чем «текст остался словом обыденного языка, а дискурс стал специальным термином наук о человеческой духовности» [39. С. 50].

Не вдаваясь в эти споры, укажем лишь, что уже классическое простое определение дискурса Н.Д. Арутюновой («речь, погруженная в жизнь» [36. С. 137]) содержит не просто социокультурное измерение, но и возможность понимания дискурса как некоей отличной от языка (промежуточной) системности, организующей высказывание (текст) и представляющей своеобразный социальный «язык в языке»: «Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, – в конечном счете, – особый мир» [40. С. 42]. Для нас же принципиально важны, при всей разнице школ и стратегий, области их пересечения, позволяющие использовать термин в широком смысле. Такими областями являются, например, понимание зоны дискурса как совокупности лингвистических и экстралингвистических факторов (установки, цели, мнения, оценки и т.п.); интерес к механизму порождения высказываний и производства текстов; системный план дис-

курса; многоплановая соотнесенность дискурса не только с категорией речи, но и с категорией знания: «По самой своей сути дискурс – явление когнитивное, то есть имеющее дело с передачей знаний, с оперированием знаниями особого рода и, главное, с созданием новых знаний» [41. С. 30]. В широком (неспециализированном) смысле термин может быть использован для характеристики как индивидуального (в пределе – авторского, писательского) коммуникативного акта, раскрытия его креативного потенциала, так и для описания «социального языка» в его ограниченности.

В свете дискурсивного подхода понятие языковой личности претерпевает в рамках теории СЯЛ двойную трансформацию. Во-первых, используется уже признанное в науке понятие дискурсивной личности, которая «представляет собой языковую личность, порождающую определенный дискурс в виде непрерывно возобновляемого или законченного, фрагментарного или цельного, устного или письменного сообщения. Эта личность действует в сфере производства сообщений и несет ответственность за их содержание» [42. С. 40]. Важно также, что язык в дискурсе функционирует как «когнитивная система, в которой человек участвует как языковая личность, трансформирующаяся в дискурсивную личность» [43. С. 456–457]. Потенциал понятия хорошо виден в разработке сразу двумя научными школами – волгоградской (В.И. Карасик) и воронежской (И.А. Стернин) – концепции лингвокультурных типажей (функционально обусловленных типов языковых личностей). Как указывает Л.Н. Синельникова, данная концепция представляет собой «развитие теории языковой личности в рамках культурологии, психологии, социологии, социолингвистики и синтезирует достижения этих наук. Факт синтеза – весомый аргумент в пользу легимитизации научного концепта “дискурсивная личность”» [Там же. С. 459]. Однако есть и «но», из которого следует вторая трансформация – как базового понятия, так и его производного (дискурсивной личности).

Поскольку дискурсивная личность – «многопараметральный феномен», «гибкий конструкт, постоянно трансформируемый в ходе социального взаимодействия» [Там же. С. 462], то для полноценного ее описания требуется большой корпус текстов / массив данных мониторинга дискурсивных практик, и если в случае стандартизованных лингвокультурных типажей данные поставляют сами «социальные языки», то при обращении к субъекту художественного СТ мы сталкиваемся с многоаспектной проблемой: единицы современной когнитивно-антропоцентрической парадигмы – типаж, концепты, лингвокультуремы, фреймы, сценарии – объясняют прежде всего организацию «типового», а не индивидуально-неповторимого (распространенный термин «художественный концепт» указывает на индивидуально-субъектное, но косвенно, с точки зрения «поэтики культуры», а не «поэтики субъекта», т.е. не характеризуя саму структуру языковой / дискурсивной личности); авторитетная трехуровневая модель языковой личности (Ю.Н. Караулова) применима к художественному тексту, но недостаточно адаптирована к дискурсивности, осо-

бенно в случае СТ (модельно не представлены субъект-интерпретатор и невербальные субтексты).

Культурная (языковая) личность художника слова в лингвокультурологии обычно рассматривается сквозь призму концептов, поскольку эмоционально и интеллектуально переживаемый концепт – «основная ячейка культуры в ментальном мире человека» [44. С. 43]. Однако все ли «концепты языка культуры» вербальны в самом становлении и функционировании культурного феномена? Поскольку концепт – феномен когнитивный, *находящийся* выражение в языке, а не живущий *только* в нем, ответ очевиден – нет. Они *могут быть* вербализованы, но могут продуцироваться и развиваться в иных, невербальных семиотических зонах. Современная когнитивистика позволяет изначально развести когнитивное и языковое: «Сознание в онтогенезе и филогенезе формируется при участии языка, знаки которого служат материальными опорами обобщения в процессе образования концептов в сознании, однако само сознание в языке для функционирования не нуждается, осуществляется на универсальном предметном коде...» [45. С. 47]. Соответственно, *личностное* культуротворчество способно «продолжать» себя за пределы вербальности – таким образом, возникает *принципиальная возможность* воплощения по-новому понимаемой языковой личности в нелингвистических дискурсивных зонах. База такого понимания – антропоцентрическое измерение языка в единстве семиотического, когнитивного, дискурсивного.

Эффективный способ адаптации к СТ термина *языковая личность* и конкретизации понятия *дискурсивная личность* – сегментирование по конкретным зонам использования языка, т.е. выделение в структуре дискурсивной личности частных когнитивно-прагматических дискурсивных единиц. Такая единица и представляет собой *синтетическую языковую личность* (СЯЛ), поскольку *реализуется не исключительно в пространстве естественного языка, но в определенном локусе культуры и гетерогенна по своей природе*. Так, языковая личность рок-поэта реализуется в пространстве сразу нескольких культурных субтекстов – вербального, артикуляционного, музыкального, имиджевого и др. СЯЛ – самостоятельная когнитивно-прагматическая единица, обладающая специфической внешней (компонентной на основе субтекстов) и внутренней (уровневой) структурой и набором ключевых компетенций.

Устойчивая внутренняя структура СЯЛ состоит из трех уровней: а) лингво-семиотического (на этом уровне обозначается комплекс семиотических зон, попадающих в структуру синтетического текста, и определяются качественные особенности внешней – компонентной – структуры СЯЛ); б) когнитивно-прагматического (он включает в себя систему концептуально-когнитивных кодов, которые последовательно распределяются по семиотическим зонам синтетического текста и, соответственно, по компонентам внешней структуры); в) ассоциативно-интерпретационного (на этом уровне происходит вовлечение в структуру СЯЛ воспринимающего субъекта, который является конститутивным компонентом дискурсивного сознания СЯЛ).

Сочетание компонентного («горизонтального») и поуровневого (вертикального) описания структуры СЯЛ в функциональной специфике каждого уровня и компонента дает нам ответ на главные вопросы анализа. Реализация СЯЛ в пространстве синтетического рок-текста позволяет увидеть и описать не механический набор, но генетическое сращение и динамическое взаимодействие вербального, музыкального, артикуляционного и имиджевого компонентов, только в таком, «слитном», виде составляющих релевантную единицу «текста» рок-культуры. Понимание любого значимого элемента синтетического рок-текста как проявления моделирующей деятельности СЯЛ означает возможность программной семиотической интерпретации места и функции этого элемента, будь то закатанные рукава на концерте, «черный» грим (имеющий, к примеру, совершенно разный смысл внутри СЯЛ В. Цоя и К. Кинчева), ключевая фраза песни или деталь оформления обложки рок-альбома.

Результаты применения теории СЯЛ, наглядно показавшей, как именно возникает и работает авторский художественный синтетический текст, методологически оказались намного шире исходного объекта анализа. Так, пространство литературы изобилует нестандартными дискурсивными ситуациями, связанными с текстом или автором («уличный», «политический», «квартирный» или «стадионный» формат поэтического слова, феномен «потаенного» писателя и т.д.), однако привычные социология литературы и семиотика культуры, при всей своей разработанности, ориентированы все же больше на типичное, а не на индивидуально-стилевое. Например, проблемой для анализа (и поводом для полярных оценок) является модернистское жизнетворчество, если оно протекает не в исходно-типичном (символистском) варианте, а формирует уникальную поведенческую стратегию Сергея Есенина (в чьей судьбе, по точнейшему замечанию Б. Пастернака, «самоистребительно просящейся и уходящей в сказки», есть нечто «непреходящее» [46. С. 226]). Механическое отделение «стихов» от «легенды», «приемов» от «литературной личности», как это сделал Ю.Н. Тынянов в «Промежутке», проведя показательное «научное уничтожение» Есенина (см. [47]), есть теоретическое насилие над *синтетическим текстом* поэтической личности, субтекстами которого являются не только печатные стихотворения, но и судьба поэта, и драматизм воплощаемого им «хорового» лирического переживания слома эпох, и реализованный Есениным вариант национального поведения / антиповедения, и т.д. «Синтетична» по определению авангардная традиция. В целом же «мера синтетичности» языковой личности художника и оформленность его «синтетического текста» – новое пространство исследования (например, художник-«мифотворец» – а таковы многие гении и классики – по определению «синтетичен»), однако, чтобы в рамках статьи выпукло обрисовать оригинальность и эвристичность подхода по сравнению с традиционными «текстом жизни», «автобиографическим мифом» и пр., необходимо обратиться к главному звену – «ядерной» теории КПП, играющей в нашем «доме теорий» роль несущей опоры, каркаса.

Поскольку ядром структуры СЯЛ является когнитивно-прагматический уровень, эту структуру, обеспечивая целостность СЯЛ, выстраивает единая *когнитивно-прагматическая программа* (КПП) – своеобразная концептуальная матрица. Предварительный очерк теории КПП изложен в совместной монографии Д.И. Иванова и Д.Л. Лакербая «Теория субъектности текста и русская поэзия XX века» [48]. КПП – это особая система когнитивно-прагматических установок (КПУ), формирующихся в пространстве когнитивного сознания отдельной личности / определенной социальной группы / нации / народа. Согласно современным представлениям *когнитивное сознание* – наиболее корректный термин для характеристики сознания *вообще* в его *сущности*: оно «формируется в результате познания (отражения) субъектом окружающей действительности, а содержание сознания представляет собой знания о мире, полученные в результате познавательной деятельности (когниции) субъекта» [45. С. 46]. КПП 1) выступает в качестве ментально-когнитивной связки (т.е. в единстве ментального – национально-культурного типа мироощущения – и собственно когниции) между сознанием (как свойством мозга), мышлением (как деятельностью мозга, наделенного сознанием) и интеллектом человека (способностью рационального познания); 2) позволяет проводить системный анализ языкового и коммуникативного (индивидуального / коллективного (массового)) сознания; 3) дает возможность глубокого понимания процессов когнитивного взаимодействия субъектов разных типов (субъекта-источника – генератора КПП и субъекта-интерпретатора – воспринимающего и интерпретирующего сознания); 4) позволяет охватить все сферы актуализации когнитивно-прагматических интенций.

Полный цикл *моделирования* КПП (т.е. системно-типологического представления о характере когнитивных процессов, связанных с КПП) включает в себя пять основных этапов (*в реальности* количество этапов может варьироваться за счет их дублирования или перезапуска). Каждый этап воплощается на определенном уровне когнитивного сознания и реализуется последовательно, что обеспечивает целостность и устойчивость всей КПП.

Первый этап («подготовительный») реализуется на уровне «доязыкового», «деструктурного» чистого сознания, наличие которого связано с тем, что субстратом (нейрофизиологическим) мышления является не язык, а универсальный предметный код, уникально отражающий неповторимый чувственный опыт человека. Единицами этого кода являются «предметные чувственные образы, которые кодируют знания» [49. С. 39–40]. Здесь КПП предстает в предельно обобщенной, неперсонифицированной, абстрактной форме (ментальный деструктурный прототип КПП, «растворенный» в стихийном информационном потоке когнитивно-ментальных информационных кодов).

На втором этапе в когнитивно-смысловой зоне языкового сознания происходит первичная персонификация и перекодировка (оформление) ментально-когнитивных первообразов, хотя по-прежнему сохраняется вы-

сокая степень абстрактности когнитивных единиц и сам субъект-источник еще не ощущает себя таковым. Однако уже здесь происходят процессы первичной дифференциации концептов и закладывается фундамент энергетической направленности КПП, определяя общий вектор ее развития: а) конструктивный; б) деструктивный; в) смешанный (синтетический) – конструктивно-деструктивный.

На третьем этапе, реализуемом в лексико-семантической когнитивной зоне языкового сознания, процессы персонификации, освоения и перекодировки множественных конфигураций смыслов концептуальных единиц условно (в модели) завершаются; все концептуально-смысловые единицы, воплощенные в вербальной или в любой другой знаковой оболочке, отождествляются с личностью субъекта-источника. Они становятся частью его когнитивного арсенала, используемого для моделирования когнитивно-прагматической программы, вторично перераспределяются в пространстве КПП (формирования центрального и периферического уровней КПП). Здесь же завершается процесс формирования системы когнитивно-прагматических установок СЯЛ.

Четвертый этап формирования КПП реализуется в коммуникативной зоне когнитивного сознания. Здесь активизируется процесс многоканальной трансляции, когнитивной передачи КПП от субъекта-источника (порождающего сознания) к одиночному / коллективному (групповому) субъекту-интерпретатору (воспринимающему сознанию). Процесс передачи КПП имеет двухступенчатую структуру (задействованы сразу обе когнитивные зоны языкового сознания субъекта-источника: концептуально-смысловая и лексико-семантическая, или, иными словами, целостно-смысловая и собственно-вербальная), поэтому, воспринимая конкретное значение той или иной группы знаковых (вербальных, музыкальных, артикуляционных, имиджевых) единиц, субъект-интерпретатор автоматически соприкасается с более сложным (абстрактным) концептуально-смысловым уровнем КПП субъекта-источника. Возможен эффект когнитивного полного / частичного замещения «своей» КПП на «чужую», т.е. субъект-интерпретатор может начать воспринимать ее как свою собственную (распространенная ситуация среди рок-фанатов).

В этот момент активизируется пятый этап формирования КПП, в рамках которого происходит смена статуса субъекта-интерпретатора, который отчасти сам становится субъектом-источником, продолжая процесс передачи (трансляции) КПП далее по субъектной цепочке – в трансформированной форме, модернизированной в рамках когнитивных интенций своей личности. Количество субъектов-источников-интерпретаторов не ограничено.

В полидискурсивном, полисемиотическом пространстве культуры последовательно складываются две взаимосвязанные подсистемы когнитивно-прагматических программ. К первой подсистеме относятся *метанарративные (универсальные) КПП* – базовые концепции, программы-источники, когнитивные образцы, «претендующие на универсальность,

доминирование в культуре и легитимирующие знание, различные социальные институты, определенный образ мышления и т.д.» [50. С. 459]. Ко второй – «производные» КПП. Они формируются в пространстве сознания субъекта-интерпретатора на базе метанарративных программ и представляют собой совокупность интерпретационных / реинтерпретационных версий КПП субъекта-источника. На базе одной метанарративной программы может образовываться как одна, так и несколько «производных» КПП, причем любая из них при определенных условиях может потенциально / реально изменять свое положение и приобретать статус метанарративной (универсальной). К таким условиям можно отнести: а) доступность для восприятия субъектом-интерпретатором; б) актуальность; в) масштабность (глубина содержания); г) эффективные комплексные (аудиальные, визуальные) способы трансляции (передачи субъекту-интерпретатору); д) магнетизм («заразительный» потенциал), способствующий глубокому проникновению в сознание субъекта-интерпретатора; ж) апелляция к архаическим, архетипическим, мифологическим первообразами, укорененным в сознании человека; з) благоприятные социально-политические и социокультурные характеристики эпохи, в пространстве которой создается КПП («попадание во время»), и некоторые другие.

Задумавшись над построением модели когнитивно-прагматического комплекса, определяющего структуру языковой личности художника и играющего решающую роль в его творческой самореализации, мы с необходимостью выходим к моделированию ведущих когнитивно-прагматических установок, которые относятся к разным аспектам этой самореализации. Сообразно этим аспектам и логике функционирования КПП можно выделить несколько типов КПУ: целевые, самоидентификационные (ролевые), инструментальные, оценочно-результативные.

Особое место в пространстве когнитивных систем КПП занимает подсистема целевых КПУ. Данная подсистема – это, во-первых, когнитивно-ментальный элемент, аккумулирующий все когнитивные процессы сознания / самосознания личности. Во-вторых, свойственная каждой личности «первопотребность», трансформация которой определяет специфику когнитивного роста человека. Сформированная система стратегических и тактических целевых КПУ имеет четкую энергетическую направленность: а) конструктивную; б) деструктивную; в) синтетическую (конструктивно-деструктивную). Концептуально-смысловое содержание стратегических целевых КПУ в процессе «жизненного цикла» КПП может трансформироваться, а количество – варьироваться. Ярким примером КПП, в основе которой лежит одна стратегическая целевая КПУ, является когнитивно-прагматическая программа А. Башлачёва «Истинный национальный поэт». Ее сущность состоит в стремлении сохранить в себе Свет, быть честным и тем самым доказать своей собственной жизнью / смертью (А. Башлачёв трагически погиб в феврале 1988 г.) каждую написанную строку: «Нужно научиться слышать себя. Этого нужно добиться. Это никогда не дается само <...> Нужно найти и удержать в себе Свет. <...> Я только этим и за-

нимаюсь. Все мои песни, все мои поступки направлены только на то, чтобы удерживать его» [51]. Покажем на примере Башлачёва основные моменты генезиса и функционирования КПП СЯЛ художника.

Башлачёв – художник с ярко выраженным и подчеркнутым национальным началом, т.е. мы смело можем говорить в данном случае о национально-специфическом типе КПП (НС КПП). В основе модели НС КПП лежит понятие «ментальность» («общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, создающая картину мира и скрепляющая единство культурной традиции или какого-либо сообщества» [52. С. 88]) – по сути, фундамент для моделирования конкретных НС КПП. Русская НС КПП имеет одну ключевую особенность, давно замеченную и многократно интерпретированную (см. например, [53]). Это своеобразная двойственность, в основе которой лежит принцип единства и борьбы противоположных начал. Дистанция между гармонией и хаосом, любовью и ненавистью, деспотизмом и анархией, божественным (духовным) и бесовским иллюзорна; за каждой «конструктивной» категорией просматривается ее антипод; сама же постоянно доводимая до предела двойственность мыслится как судьбоносная (ср. хрестоматийное: «Но колы черти в душе гнездились, // Значит, ангелы жили в ней» [54. С. 186]) и – в пределе – «самоистребительная». В рамках воспринятой литературоведением семиотики культуры (с ее понятиями «автобиографический миф», «текст жизни», «текст смерти») судьба Башлачёва – это реализация романтико-неомифологической топик «полагающего себя в мерила жизни и жизнью за это расплачивающегося поэта» [46. С. 226]: «В контексте русской культуры башлачевский “текст смерти” укладывается в модель, которую можно обозначить как “текст смерти Поэта”. Башлачев в сознании аудитории устойчиво обозначается как Поэт. И в русской рок-культуре он единственный, кто и реализовал миф о жизни и гибели Поэта в соответствии с мифологической традицией и привнес в него новые смыслы» [55. С. 33]. Моделирование КПП СЯЛ Башлачёва позволяет получить ответы иного качества.

Дело в том, что «миф о жизни и гибели Поэта» здесь лишь самая внешняя канва. НС КПП А. Башлачева «Истинный национальный поэт» начинает формироваться в пространстве русской рок-культуры, но в большей степени ориентирована не на западные музыкально-поэтические песенные образцы, а на русскую высокую поэтическую традицию (Пушкина, Есенина, Блока, Высоцкого и др.), переосмысление которой идет под знаком поиска «своей», «естественной» формы выражения. Вот как А. Башлачев характеризует рок-движение 1980-х: «Мы путаемся в руках чужой формы <...> Карикатурным образом в текстах... Я подхожу к музыке, безусловно, с литературной точки зрения, с точки зрения идеи, цели, прежде всего» [56. С. 382]. Эту форму он ищет в пространстве русской национальной культуры, само «естество» которой требует *понимания* другого «естества», а не заимствования: «У нас богатая литература, богатая поэзия <...> Нужно корни немножечко почистить и из них исходить <...> На самом деле, ча-

штука и рок-н-ролл – я просто слышу, насколько они близки» [Там же. С. 389–390]. Он верен этим корням, используя на концертах браслет с колокольчиками, придающий его песням особую русскую национальную поведенально-трагическую тональность; в текстах Башлачева множество разнообразных русских национальных концептуальных кодов от отдельных образов («Эй, братва, чуете печенками // Грозный смех русских колокольчиков» [Там же. С. 53] до использования частушечных форм стиха: «Хошь в ад, хошь – в рай, / Куда хочешь – выбирай. / Да нету рая, нету ада, / Никуда теперь не надо» [Там же. С. 118]. Движение от искусственных форм в сторону «корневого» естества определяет особую иррациональность НС КПП Башлачёва: базовым компонентом становится русское «корневое» стихийно-эмоциональное начало, основанное на просветленной / слепой вере человека в «чудо».

Эта НС КПП иррационально-«корневого» типа выглядит как целостная программа, однако на самом деле противоречива, что хорошо видно на уровне различных подсистем КПУ. Так, вышеназванная стратегическая целевая КПУ («найти и удержать в себе Свет»), как следует из того же интервью, тревожит поэта *постоянно*, забирая все больше и больше духовных сил. Он жаждет избежать малейшего отклонения в сторону, но сама целевая интенция (генетически стихийно-иррациональная) способна трансформироваться независимо от воли генератора КПП. Ее содержание то проявляется, то затемняется, расплывается, и возникает полициклическая нелинейная двухфазная структура, характеризующаяся целевой нестабильностью: «Позабыв, откуда, скачем кто куда...» [56. С. 73]; «Что ж теперь // Ходим круг да около // На своем поле, // Как подпольщики?» [Там же. С. 53]. Даже зная, в какую сторону надо двигаться, поэт не может преодолеть противоречивость (разнонаправленность) своего генетического (русского) кода.

После определения цели активизируется процесс формирования системы специфических *когнитивных инкарнаций* субъекта. Это не просто случайный набор художественных, сценических ролевых образов, получивших спонтанную актуализацию в поэтическом / прозаическом произведении, в тексте песни, на сцене, во время рок-концерта, а *глубоко осмысленная система когнитивных инкарнаций, генетически связанных с создающим (воплощающим) их субъектом*. Каждая инкарнация – это особый *устойчивый* психолого-когнитивный опыт духовной самоидентификации креативного субъекта (отчего и выбран соответствующий термин).

Ключевая самоидентификационная инкарнация (СИ) Башлачёва традиционна – «поэт» («На Второй Мировой поэзии / Призван годным и рядовым» [Там же. С. 114]). Однако концептуально воплощена она в двойной, конструктивно-деструктивной форме. Так, лирический герой-поэт *честен* (перед самим собой, своим призванием, перед людьми и миром, в котором он живет): «Я дышу и душу не душу. Я стараюсь не врать ни в песнях, ни в жизни, стараюсь не предать любовь» [Там же. С. 396], – но одновременно характеризует себя и коллег по року: «Вдоль стены бетонной – ветерки степные. // Мы тоске зеленой – племяши родные. // Нищие гурманы, лживые

сироты // Да горе-атаманы из сопливой роты» [56. С. 74]. Стремление к абсолютной честности оборачивается прямой констатацией осознанного самообмана – и в контексте иррационально-«корневой» русской двойственности категории «честность» и «ложь» не столько рационализируются, сколько экзистенциально переживаются как особое двуединое состояние.

То же самое можно сказать о других ключевых характеристиках лирического «я», выстраивающих основную СИ: 1) *стремлении жить любовью, так как она является основным источником жизненной и творческой энергии*; 2) *стремлении к внутренней (духовной) свободе*. С одной стороны, любовь – «это определяющая сила, самая великая сила» [Там же. С. 395–396]. С другой – на Руси она еретична и демонична, «испокон сродни черной ереси» [Там же. С. 142], и эти стороны нельзя уравновесить или примирить. Наделенная конструктивно-деструктивной семантикой, любовь и спасает душу поэта, и губит, разрушает ее: «Но я разгадан своей тетрадкой – // Топором меня в рот рубить! // Эх, вот так вот прижмет рогаткой – // И любить или не любить!» [Там же. С. 115]. Для А. Башлачева, как носителя русской корневой КПП, важна не конкретная форма любви (любовь-страсть, любовь-страх, любовь-грех, любовь-благодать, любовь-ненависть и т.д.), а эффект растворения в ней. Свобода же в рамках НС КПП А. Башлачева и русского самосознания в целом – это *воля* («Долго шли зноем и морозами. / Всё снесли и остались вольными. / Жрали снег с кашею березовой / И росли вровень с колокольнями» [Там же. С. 53]), которая имеет две основные органические формы выражения, связанные с особым аффективно-естественным состоянием русской души.

Во-первых, это *воля к рабству*, т. е. пассивность, терпение, смирение, покорность, слабость, беспробудное пьянство: «Ставили артелью – замело метелью. // Водки на неделю – да на год похмелья. // Штопали на теле. К ребрам пришивали. // Ровно год потели да ровно час жевали» [Там же. С. 73]; «Пососали лапу – поскрипим лаптями. // К свету – по этапу. К счастью – под плетями. // Веселей, вагоны! Пляс да перезвоны...» [Там же]. Движение к свету (ключевая целевая КПУ А. Башлачева), к счастью здесь не просто сравнивается, а отождествляется с этапированием заключенных.

Во-вторых, это *воля к бунту*, т.е. стремление к саморазрушению, бесконтрольность, широта души, удаль, безрассудство и бесшабашность, переходящая в беспамятство и безумие: «Шальное сердце руби в крошку! // Рассыпь, гармошка! // Скользи, дорожка! // Рассыпь, гармошка! // Да к плясу ноги! А кровь играет! // Душа дороги не разбирает! / Через сугробы, через ухабы... // Молитесь, девки. Ложитесь, бабы. // Ложись, кобылы! Умри, старуха! // В Ванюхе силы! Гуляй, Ванюха! // Танцуй от печки! // Ходи вприсядку! // Рвани уздечки! И душу – в пятку!» [Там же. С. 118].

Обе формы свободы (и *воля к рабству*, и *воля к бунту*) сливаются в единое целое и выражаются в виде особой концептуальной формулы, определяющей динамику развития НС КПП иррационально-«корневого» типа: «Гуляй, собака, живой покуда! / Из песни – в драку! От драки к чуду» [Там же. С. 117]. Русское Чудо (квинтэссенция исканий русского само-

сознания) оказывается парадоксом на базе соединения несоединимого (например, «век жуем матюги с молитвами» [56. С. 54]). Потому и ключевая СИ «поэт» наделяется двойственной природой: «Но кто-то зевнул, отвернулся и разом уснул. / Разом уснул и поэтому враз развязалось / – Эй, завяжи! – кто-то тихо на ухо шепнул. / Перекрестись, если это опять показалось» [Там же. С. 110].

В рамках *подсистемы инструментальных КПУ* (когнитивный проект (план реальных / потенциальных, внутренних (духовных) / внешних (социально обусловленных) действий) субъекта-источника, направленный на успешную реализацию одной / нескольких стратегических целей КПП), активизируются те же самые процессы. Например, сущность одной из системообразующих инструментальных КПУ КПП А. Башлачёва такова: *поэт должен подтвердить, оправдать своей жизнью / смертью каждое написанное слово* («Это то же самое, что я говорю: надо прожить песню!» [Там же. С. 408]), что должно обеспечить целостность, неразрывное единство «творческой» и «реальной» биографии поэта и человека, помочь преодолеть пустоту искусственных форм выражения. Однако не сознание поэта управляет «корневыми» элементами его собственной программы, а система стихийных «корневых» кодов, таких как русская любовь, русская свобода, русская тоска и т.д., полностью контролирует его сознание. Поэтому возможна нейтрализация ключевой инструментальной КПУ поэта: «И можно песенку прожить иначе, // Можно ниточку оборвать. // Только вырастет новый мальчик // За меня, гада, воевать» [Там же. С. 114]. Нейтрализация КПУ отражается на состоянии конкретного субъекта-источника. Возможны два основных варианта: а) глубокий духовный кризис; б) безвременная гибель. Именно второе и случилось с поэтом.

На завершающем этапе становления КПП Башлачёва (*система оценочно-результативных КПУ*) очевидно уже не только предощущение гибели («Поэты идут до конца. И не смейте кричать им: – Не надо! // Ведь Бог... Он не врет, разбивая свои зеркала. // И вновь семь кругов беспокойного, звонкого лада // Глядят ему в рот, разбегаясь калибром ствола» [Там же. С. 127]), но и (как результат когнитивно-ментального опыта) понимание: противоречивость русской души невозможно преодолеть – это и есть ее «естество». Итог – основной принцип русской НС КПП: «Ставили на чудо – выпала беда» [Там же. С. 73]. Каждый, кто надеется на «чудо», должен быть готов встретиться с «бедой», так как в рамках этой когнитивно-концептуальной системы координат они неразделимы.

Важно отметить, что на условно завершающем этапе моделирования КПП сам субъект и воспринимающее сознание (фанаты, поклонники его творчества, критики, исследователи, биографы и т.д.) моделируют систему оценочно-результативных КПУ и определяют уровень и качество достижения цели. Существенно повышается роль воспринимающего сознания (субъекта-интерпретатора), который наравне с креативным субъектом (субъектом-источником) выступает в качестве создателя и ретранслятора КПП. Из этого следует, что КПП – это своеобразный целостный, динамический, когнитивно

обусловленный, моделируемый человеком проект собственной судьбы. Он является достаточно гибким и постоянно трансформируется, реагируя на изменения (психофизиологические, духовные, когнитивные, социальные и многие другие). Синтетическая природа КПП позволяет говорить о том, что специфика выстраивания проекта своей биографии определяется не только субъектом-источником (самой личностью), но и всеми субъектами, получившими статус субъекта-интерпретатора, т. е. людьми, которые в той или иной степени участвуют в жизни человека. Понятие КПП позволяет по-новому взглянуть на распространенные в науке вариативные конструкты типа «биографический миф», «автобиографический миф», «текст жизни», «текст судьбы» и т. п. Не отменяя их, моделирование КПП дает возможность провести более глубокий и точный анализ мифобиографических структур, равно как и их систематизацию (см., например, проводимое авторами моделирование КПП СЯЛ С.А. Есенина [57, 58] и И.А. Бродского [59, 60]).

Разработанную Д.И. Ивановым исследовательскую стратегию (назовем ее для краткости *стратегией А*) можно назвать «когнитивно-прагматической». Ее суть составляют проводимый на принципиально новых основаниях структурный анализ и «каркасное» моделирование лингвокогнитивного субъекта как такового. Сфера художественного предстает как частный случай реализации «стратегии А», однако глубина осмысления творческой речемыслительной деятельности позволяет соотнести многие положения «стратегии А» и со сферой художественного. Литературоведческая проекция «стратегии А» позволяет дать «глубинное» (когнитивно-дискурсивное), а не внешнее описание всего социокультурного «поля литературы» и результатной (воплощенной в синтетическом тексте) стратегии автора-творца, фактически закона его творческого (жизнетворческого) пути (в той мере, в которой его возможно интерпретировать).

«Стратегию Б» можно условно назвать стилевой. Ее смысл – собственно литературоведческая проекция всего нового знания о лингвокогнитивном субъекте. «Стратегия Б», разрабатываемая Д.Л. Лакербаям, многообразно используя это новое структурно-компонентное знание, соединяет его с герменевтикой «органической» стилевой традиции.

Стилевая концепция Д.Л. Лакербая изначально создавалась независимо от исследований Д.И. Иванова, но в процессе формирования получила мощный импульс от них: оказалось, что в основе обеих стратегий лежат антропоцентрическая парадигма и четкая ориентация не на компонентную «поэтику культуры», но на субъекта речи (текста, художественного текста) как «субъекта» произведения, в конечном счете – на «поэтику субъекта» (отсюда и название совместной монографии). К тому же результаты исследований Д.И. Иванова оказались ответами на некоторые важные, но проблематичные в рамках первоначальной концепции вопросы. В самом кратком виде начальная логика концепции Д.Л. Лакербая состоит в следующем.

Индивидуальный стиль – «неопределенная определенность», не уловимая целиком в сети радио, но безошибочно различимая читателем. Стремление любой ценой «осистемить» стиль возвращает к традиции риториче-

ского его понимания (стиль есть «украшение»), что в итоге дает основания вообще «списать» саму категорию (как это произошло у многих западных теоретиков). Противоречие между феноменом индивидуального стиля и его научной моделью должно быть осознано как неснимаемое, но продуктивное, требующее особого подхода: ведь уникальность является его единственным дифференцирующим качеством (индивидуальный стиль либо уникален, либо его нет, а есть та или иная вариация того или иного «большого стиля»). Любое типологизаторство, не ставящее во главу угла эту уникальность, рискует потерять предмет исследования и рассматривать системность (любой сложности), которая не будет стилем или, в лучшем случае, будет представлять собой его «языковой след».

Последнее относится к популярной сегодня лингвистической поэтике с ее промежуточной категорией идиостиля, которую сами лингвисты не очень внятно отличают от бесспорно лингвистической категории идиолекта (см. [61]). Эстетический объект (результат рецепции / интерпретации) заменяется лингвоподобным каркасом, а введение терминологической пары *идиолект / идиостиль* есть, по сути, попытка представить лингвистически ощутимую специфичность художественного текста как системный языковой феномен. Но между языком в обычном (хоть узусном, хоть окказиональном) применении и «языком писателя» разница качественная, а не количественная: последний представляет собой *другое* языка (иначе нет никакой уникальности, и стиль писателя-гения гомогенен стилю умелого журналиста). Чем может быть *другое* языка – вот как должен звучать вопрос к идиостилю. Без переноса сути вопроса на метаязыковой по отношению к лингвистике и литературоведению уровень философии языка и литературы корректно описать переход к идиостилю невозможно. Философия же стиля должна вырастать из постулатов: а) его уникальности; б) решающей важности перехода *личность – текст личности*, т.е. «транцендирования» субъекта-личности в субъектно-лично «сказанный» (зафиксированный), но в то же время «сказываемый» (неостановимый в своем становлении, дискурсивный) текст, требующий для своего (неотжественного) воплощения «возврата» субъекта в лице читателя (субъект-источник через Язык своеобразно «реинкарнируется» в субъекте-интерпретаторе; стиль – это уровень эстетического объекта, а не запертой под книжной обложкой словесной матрицы; без читателя полноценный эстетический объект, т.е. *стильная реинкарнация*, неосуществим.

Опустим дальнейшее изложение концепции (она представлена в выше-названной совместной монографии), отметив лишь глубинное «пересечение» стратегий А и Б. Так, единым для обеих оказывается представление о языке (не инструменте, но «месте», «просвете» бытия) – при этом стиль предстает *уникальной реализацией* творящим субъектом-источником своей КПП в особом субъектно-языковом пространстве, пространстве сотворчества языка и человека (этим снимается едва ли не главное препятствие – дуализм языкового «материала» и эстетического объекта). Поскольку творчество предстает как совместный субъектно-языковой процесс, а стиль

как результатная субъективность текста, то место привычного «образа автора» занимает результатный языковой субъект как индивидуально-языковая (стилевая) персона, которой не столько можно «приписать», «инкриминировать» текст, сколько она сама приписана и инкриминирована тексту, имманентна ему как в его «матричности», так и в его дискурсивности (интерпретативной деятельности реципиента). Как уже понятно, это и есть языковая личность, увиденная глазами литературоведа. Она становится важнейшим стилевым определителем, и принципиальной характеристикой являются характер и мера синтетичности этой языковой личности.

На своеобразном «перекрестке» стратегий А и Б расположена формирующаяся дискурсивная теория интерпретации. Наличие в теории СЯЛ ассоциативно-интерпретационного уровня означает, что синтетический текст по-настоящему живет в контакте со своей аудиторией, что субъект-источник синтетического текста в рамках своей КПП стремится так или иначе задать тип интерпретации, но субъект-интерпретатор («программно» входящий в структуру СЯЛ) в соучастии или «борьбе» с этим воздействием превращает данный процесс в вероятностный. Мы встречаемся с *новым теоретическим описанием старой проблемы филологии – характеристики и оценки интерпретации, и интерпретация здесь через КПП СЯЛ заложена в структуру текста, продолженного за пределы вербальности*. Интерпретация, в нашем понимании, есть явление дискурсивное, и очень ясно это видно как раз в ситуациях нестандартной или несовпадающей (автора и интерпретатора) дискурсивности. Если у интерпретатора-исследователя, к примеру, есть неприятие или непонимание реализованной в тексте КПП, возникает, как мы это называем, «программная ошибка» интерпретации, дискурсивная подмена, одной из причин которой вполне может являться скрытая синтетичность текста. Замечательный пример высококвалифицированной «мимо»-интерпретации – «О гении и злодействе, о бабе и всероссийском масштабе (Прогулки по Маяковскому)» А.К. Жолковского [62].

Дистанцируясь от «личности» поэта при помощи каталогизации его «футуристического садизма», «верба избиенди», «верба плеванди», «союза с кровавой диктатурой», исследователь таким образом заявляет о «научной объективности», однако сама «неприятная» фигура «имплицитного автора» – результат недвумысленно заявленного ракурса интерпретации («демифологизация», разоблачение, что означает и программную идеологическую установку, компонент КПП языковой личности интерпретатора). Жолковский отказывается от «мифов» – а на самом деле как раз от той дискурсивной (и исторической, и эстетической, и человеческой) реальности, в которой и возможно герменевтическое «распредмечивание смыслов», ведущее к пониманию сокрушительной творческой мощи Маяковского. «Отказ от мифа» проведен под знаком некоей «нормы», которую твердо знает Жолковский и которая превращает «демифологизацию» в литературоведческую сатиру на «классового врага». Это не логика художественности, но риторическая логика прокурора (в основе которой идеологизированная КПП), убежденного в безупречности *локуса интерпретато-*

ра (кто поспорит с общечеловеческими истинами?), *локуса интерпретации* (кто поспорит с точностью «академического знания») и нейтральной объективностью профессионального языка?), *ракурса интерпретации* (кто усомнится в необходимости развенчания «советских классиков»?), *фокуса интерпретации* (вы еще сомневаетесь в том, что «М.» – маньяк и террорист?). «Художественный объект», который должен получить дескриптивную характеристику, подменяется авторским конструктом по принципу «вычитания» уникальности, а не «вычитывания». «Академизм» оказывается вычитанием поэта из эпохи, эпохи из поэта, судом «бюргерского» времени над «героическим».

Объединение стратегий А и В позволяет эскизно оформить новую конфигурацию знания внутри антропоцентрической парадигмы – меж- и метадисциплинарный «дом теорий», связанных с проблемами субъектности текста. Расширяя круг разговора и «перенастраивая» в этих рамках различные по своему происхождению исследовательские принципы и инструменты, мы выходим не просто к языковой личности, но к личности дискурсивной, способной реализовываться на всем «текстоцентричном» пространстве культуры, а не только в зоне вербальности. Автор (субъект творчества, субъект-источник) и читатель (зритель, слушатель, субъект-интерпретатор) получают глубинное обоснование, которое потенциально содержит огромные возможности для самых разнообразных исследовательских концепций.

Литература

1. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М. : Прогресс, 1974. 448 с.
2. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: (Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства). М. : Наука, 1985. 335 с.
3. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука конца 20 века. М., 1995. С. 239–320.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М. : Наука, 1987. 263 с.
5. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. М. : Наука, 1988. 341 с.
6. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века: опыт парадигмального анализа // Язык и наука конца 20 века. М., 1995. С. 142–238.
7. Постовалова В.И. Язык и миропостижение: философия языка В. фон Гумбольдта и когнитивная лингвистика // С любовью к языку : сб. науч. тр. Москва ; Воронеж, 2002. С. 72–89.
8. Постовалова В.И. Лингвокультурология в свете антропологической парадигмы (к проблеме оснований и границ современной фразеологии) // Фразеология в контексте культуры. М., 1999. С. 25–33.
9. Демьянков В.З. Термин *парадигма* в быденном языке и в лингвистике // Парадигмы научного знания в современной лингвистике : сб. науч. тр. М., 2006. С. 15–40.
10. Хомутова Т.Н. Научные парадигмы в лингвистике // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 35 (173). Филология. Искусствоведение. Вып. 37. С. 142–151.
11. Лыкова Н.А. Континуальное и дискретное в языке // Филологические науки. 1999. № 6. С. 54–62.
12. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения: Роль языка в познании мира. М. : Языки славянской культуры, 2004. 560 с.

13. Воробьев В.В. Лингвокультурология (теория и методы). М. : Изд-во РУДН, 1997. 331 с.
14. Телия В.Н. Объект лингвокультурологии между Сциллой лингвокреативной техники языка и Харибдой культуры // С любовью к языку : сб. науч. тр. Москва ; Воронеж, 2002. С. 89–97.
15. Караулов Ю.Н. Предисловие: Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. М., 1989. С. 3–8.
16. Касавин И.Т. Введение // Междисциплинарность в науках и философии / отв. ред. И.Т. Касавин. М., 2010. С. 3–14.
17. Зыкова И.В. Лингвокреативность с позиции лингвокультурологии: теория, метод, анализ // Язык, сознание, коммуникация : сб. статей / отв. ред. серии В.В. Красных, А.И. Изотов. М., 2016. Вып. 53. С. 136–151.
18. Свиридов С.В. Рок-искусство и проблема синтетического текста // Русская рок-поэзия: текст и контекст. Тверь, 2002. Вып. 6. С. 5–32.
19. Иванов Д.И. Рок-альбом 1980-х годов как синтетический текст: Ю. Шевчук «Пластун». Иваново : Епишева, 2008. 196 с.
20. Гавриков В.А. Русская песенная поэзия XX века как текст. Брянск : Брянское СРП ВОГ, 2011. 634 с.
21. Доманский Ю.В. Вариативность и интерпретация текста (парадигма неклассической художественности) : дис. ... д-ра филол. наук. М., 2006. 494 с.
22. Сыров В.Н. Стиливые метаморфозы рока, или Путь к «третьей музыке». Н. Новгород : ННГУ, 1997. 209 с.
23. Бахтин М.М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества: I. Проблема формы, содержания и материала в словесном художественном творчестве // Собр. соч. : в 7 т. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов / ред. С.Г. Бочаров, Н.И. Николаев. М., 2003. С. 265–325.
24. Иванов Д.И. Теория синтетической языковой личности : в 2 т. / Гуандунский ун-т междунар. исследований (Китай). Т. 1: Логоцентрическая модель синтетической языковой личности: структура и общие вопросы (на материале русской рок-культуры). Иваново : ПресСто, 2016. 360 с.
25. Иванов Д.И. Теория синтетической языковой личности : в 2 т. / Гуандунский ун-т междунар. исследований (Китай). Т. 2: Логоцентрическая модель синтетической языковой личности: компонентная структура, система концептов (на материале русской рок-культуры). Иваново : ПресСто, 2017. 296 с.
26. Фадеева И.Е. Культурная идентичность как семиотическая проблема // Фундаментальные проблемы культурологии : в 4 т. Т. 1: Теория культуры / отв. ред. Д.Л. Спивак. СПб., 2008. С. 214–222.
27. Карасик В.И. Дискурсивная персонология // Язык, коммуникация и социальная среда. Воронеж, 2007. Вып. 7. С. 78–85.
28. Аникин Д.В. Исследование языковой личности составителя «Повести временных лет» : дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2004. 205 с.
29. Хуранова Л.А. Типология языковой личности в отечественной и зарубежной лингвистике // Вестник Вятского государственного университета. 2017. № 5. С. 75–80.
30. Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно-ориентированное обучение / под ред. Н.Д. Голева, Н.В. Сайковой, Э.П. Хомич. Барнаул ; Кемерово : БГПУ, 2006. 435 с.
31. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград : Перемена, 2002. 477 с.
32. Маслова В.А. Лингвокультурология. М. : Академия, 2001. 183 с.
33. Седов К.Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции. М. : Лабиринт, 2004. 320 с.
34. Звезгинцев Вл.А. Язык и лингвистическая теория. М. : Эдиториал УРСС, 2001. 248 с.

35. Баранов А.Г. Семиотическая личность: кодовые переходы // Речевая деятельность. Языковое сознание. Общающиеся личности : тез. докл. XV Междунар. симпози. по психолингвистике и теории коммуникации. Москва ; Калуга, 2006. С. 30–31.
36. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 136–137.
37. Сусов И.П. Введение в языкознание : учеб. для студ. лингв. и филол. специальностей. М. : АСТ : Восток – Запад, 2007. 379 с.
38. Чернявская В.Е. Дискурс как объект лингвистических исследований // Текст и дискурс: Проблемы экономического дискурса : сб. науч. тр. СПб., 2001. С. 11–22.
39. Демьянков В.З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка // Язык. Личность. Текст : сб. ст. к 70-летию Т.М. Николаевой / отв. ред. В.Н. Топоров. М., 2005. С. 34–55.
40. Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и Принцип причинности // Язык и наука конца 20 века. М., 1995. С. 33–71.
41. Кубрякова Е.С. О термине «дискурс» и стоящей за ним структуре знания // Язык, личность, текст : сб. ст. к 70-летию Т.М. Николаевой. М., 2005. С. 23–33.
42. Плотникова С.Н. Говорящий / пишущий как языковая, коммуникативная и дискурсивная личность // Вестник Нижегородского государственного университета. 2008. № 4. С. 37–42.
43. Синельникова Л.Н. О научной легитимности понятия «дискурсивная личность» // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. 2011. Т. 24 (63), № 2, ч. 1. С. 454–463.
44. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. 3-е изд., испр. и доп. М. : Академический проект, 2004. 992 с.
45. Стернин И.А. Коммуникативное и когнитивное сознание // С любовью к языку : сб. науч. тр. Москва ; Воронеж, 2002. С. 44–52.
46. Пастернак Б.Л. Охранная грамота // Полн. собр. соч. : в 11 т. Т. 3: Проза / сост. и коммент. Б. Пастернака, Е.В. Пастернак. М., 2004. С. 148–238.
47. Тынянов Ю.Н. Промежуток // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 168–195.
48. Иванов Д.И., Лакербай Д.Л. Теория субъектности текста и русская поэзия XX века. Иваново: ПресСто, 2017. 336 с.
49. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М. : АСТ : Восток – Запад, 2007. 314 с.
50. Коротченко Е.П. Метанаррация // Постмодернизм : энцикл. / под ред. А.А. Грицанова, М.А. Можейко. Минск, 2001. С. 459–461.
51. Башлачёв А. Беседа А. Башлачёва с А. Шипенко и Б. Юхановым. «Было бы содержание – формы придут». URL: <http://bashlach.chat.ru/int04.htm>
52. Косов А.В. Ментальность как мировоззренческая система и компонента мифознания // Методология и история психологии. 2007. Т. 2, вып. 3. С. 75–90.
53. Бердяев Н.А. Душа России // Бердяев Н.А. Судьба России. М., 2008. С. 7–22.
54. Есенин С.А. Полное собрание сочинений : в 7 т. Т. 1: Стихотворения / подгот. текста и коммент. А.А. Козловского. М. : Наука : Голос, 1995. 672 с.
55. Доманский Ю.В. «Тексты смерти» русского рока: пособие к спецсеминару. Тверь: ТвГУ, 2000. 109 с.
56. Александр Башлачев. Человек поющий: Стихи, биография, материалы / сост. Л. Наумов. СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2010. 480 с.
57. Иванов Д.И., Лакербай Д.Л. Феномен С.А. Есенина как синтетический текст: предварительные замечания // Новый филологический вестник. 2018. № 1 (44). С. 127–137.
58. Иванов Д.И., Лакербай Д.Л. Когнитивно-прагматическая программа языковой личности С. Есенина: подсистема целевых установок // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 3 (81), ч. 1. С. 20–24.

59. Иванов Д.И., Лакербай Д.Л. Логоцентрическая программа языковой личности И. Бродского: предварительные замечания // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 7 (73), ч. 1. С. 24–27.

60. Иванов Д.И., Лакербай Д.Л. Когнитивно-прагматическая программа языковой личности И. Бродского: система целевых установок // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 12 (78), ч. 2. С. 29–32.

61. Иванов Д.И., Лакербай Д.Л. Текст, стиль, идиостиль в лингвистике и литературоведении: замечания к привычному // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 4 (70), ч. 2. С. 18–22.

62. Жолковский А.К. О гении и злодействе, о бабе и всероссийском масштабе: (Проголоски по Маяковскому) // Жолковский А.К. «Блуждающие сны» и другие работы. М., 1994. С. 247–275.

The Anthropocentric Paradigm of Modern Liberal Arts: A Metadisciplinary “House of Knowledge”

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2019. 58. 168–195. DOI: 10.17223/19986645/58/11

Dmitry I. Ivanov, Guangdong University of Foreign Studies (Guangzhou, China); Ivanovo State University (Ivanovo, Russian Federation). E-mail: Ivan610@yandex.ru

Dmitry L. Lakerbai, Ivanovo State University (Ivanovo, Russian Federation). E-mail: lakomotion@yandex.ru

Keywords: research strategies, synthetic language personality, cognitive-pragmatic program, cognitive-pragmatic sets, subject-language space.

This article considers the original configuration of “metadisciplinary” knowledge that appeared based on original authors’ theories. The focus is on their individual prospects as well as on the “integral” potential due to the rootedness in the basic principles of modern liberal arts: anthropology, cognition, discursiveness. By the example of authors’ theories, the flexibility and variability of the “synthetic” methodology are demonstrated.

The variant of metadisciplinary proposed in the article proceeds from the cross-borderiness within the metadisciplinary object – language in its global cultural dimension. Two research strategies as the components of this variant (the “house of theories”) are described here.

The cognitive-pragmatic strategy A includes two original concepts and develops in the following coordinates: anthropocentric paradigm (AP) – synthetic text (ST) – synthetic language personality (SLP) – cognitive-pragmatic program (CPP). The basic concept is the SLP theory originated as a methodological support for the study of the synthetic text of the Russian rock culture, but it turned out to be much broader than the original object of analysis and applicable to the analysis of synthetic texts of all types, as well as in cases of non-standard discourse. The logically necessary basis for further research is the theory of cognitive-pragmatic programs that allows carrying out systemic structural, cognitive, conceptual and semantic analysis of linguistic and communicative consciousness, to deeply reveal the processes of cognitive interaction between the subject-source and the subject-interpreter.

The meaning of the style strategy B is the literary projection of all new knowledge about the linguistic cognitive subject. The strategy combines this structural-component knowledge with the hermeneutics of the “organic” style tradition. The idea of language is common for both strategies, while the style appears as a unique realization by the creative subject-source of its CPP in a special subject-linguistic space, the space of co-creation of a language and a person. The place of the habitual “image of the author” is taken by the resultant linguistic (stylistic) subject – the language personality through the eyes of a literary critic.

The “crossroads” of strategies A and B is a discursive theory of interpretation. The presence in the SLP theory of an associative-interpretational level means that the synthetic

text really lives in contact with its audience, that the subject-source of the synthetic text within its CPP seeks to set the type of interpretation somehow, but the subject-interpreter turns this process into a probabilistic one. Interpretation here through the SLP CPP is embedded in the structure of the text, which is extended beyond the verbal limits. If the interpreter-researcher has an aversion or misunderstanding of the CPP implemented in the text, then, perhaps, this is a “program error” of interpretation, a discursive substitution, one of the reasons for which may be the hidden synthetic text.

Thus, the anthropocentric paradigm, the cognitive-discursive approach and the “poetics of the subject” unite innovative concepts of the synthetic language personality, cognitive-pragmatic programs, individual style as a product of a joint “transcendence” of a language and a person, as well as a cognitive-discursive theory of interpretation.

References

1. Benveniste, E. (1974) *Obshchaya lingvistika* [Problems in general linguistics]. Translated from French. Moscow: Progress.
2. Stepanov, Yu.S. (1985) *V trekhmernom prostranstve yazyka: (Semioticheskie problemy lingvistiki, filosofii, iskusstva)* [In the three-dimensional space of the language: (Semiotic problems of linguistics, philosophy, art)]. Moscow: Nauka.
3. Dem'yankov, V.Z. (1995) Dominiruyushchie lingvisticheskie teorii v kontse XX veka [Dominant linguistic theories at the end of the twentieth century]. In: Stepanov, Yu.S. (ed.) *Yazyk i nauka kontsa 20 veka* [Language and science of the end of the 20th century]. Moscow: RSUH.
4. Karaulov, Yu.N. (1987) *Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'* [Russian language and language personality]. Moscow: Nauka.
5. Arutyunova, N.D. (1988) *Tipy yazykovykh znacheniy* [Types of language meanings]. Moscow: Nauka.
6. Kubryakova, E.S. (1995) Evolyutsiya lingvisticheskikh idey vo vtoroy polovine XX veka: opyt paradigmalnogo analiza [The evolution of linguistic ideas in the second half of the twentieth century: the experience of paradigm analysis]. In: Stepanov, Yu.S. (ed.) *Yazyk i nauka kontsa 20 veka* [Language and science of the end of the 20th century]. Moscow: RSUH.
7. Postovalova, V.I. (2002) Yazyk i miropostizhenie: filosofiya yazyka V. fon Gumbol'dta i kognitivnaya lingvistika [Language and worldview: W. von Humboldt's philosophy of language and cognitive linguistics]. In: *S lyubov'yu k yazyku* [With a love of language]. Moscow: IL RAS; Voronezh: Voronezh State University. pp. 72–89.
8. Postovalova, V.I. (1999) Lingvokul'turologiya v svete antropologicheskoy paradigmy (k probleme osnovaniy i granits sovremennoy frazeologii) [Linguoculturology in the light of the anthropological paradigm (to the problem of the bases and boundaries of modern phraseology)]. In: Teliya, V.N. (ed.) *Frazeologiya v kontekste kul'tury* [Phraseology in the context of culture]. Moscow: YaSK.
9. Dem'yankov, V.Z. (2006) Termin paradigma v obydennom yazyke i v lingvistike [The term ‘paradigm’ in everyday language and linguistics]. In: *Paradigmy nauchnogo znaniya v sovremennoy lingvistike* [Paradigms of scientific knowledge in modern linguistics]. Moscow: ISSS RAS.
10. Khomutova, T.N. (2009) Nauchnye paradigmy v lingvistike [Scientific paradigms in linguistics]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Iskusstvovedenie – Chelyabinsk State University Bulletin. Series: Philology. Art Criticism*. 35 (173):37. pp. 142–151.
11. Lykova, N.A. (1999) Kontinual'noe i diskretnoe v yazyke [The continual and the discrete in language]. *Filologicheskie nauki – Philological Sciences*. 6. pp. 54–62.
12. Kubryakova, E.S. (2004) *Yazyk i znanie: Na puti polucheniya znaniy o yazyke: Chasti rechey s kognitivnoy tochki zreniya: Rol' yazyka v poznanii mira* [Language and knowledge:

Towards the acquisition of knowledge about the language: Parts of speech from a cognitive point of view: The role of language in cognizing the world]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

13. Vorob'ev, V.V. (1997) *Lingvokul'turologiya (teoriya i metody)* [Linguoculturology (theory and methods)]. Moscow: RUDN.

14. Teliya, V.N. (2002) Ob'ekt lingvokul'turologii mezhdru Stsilloy lingvokreativnoy tekhniki yazyka i Kharibdoy kul'tury [The object of linguoculturology between the Scylla of linguocreative language technique and the Charybdis of culture]. In: *S lyubov'yu k yazyku* [With a love of language]. Moscow: IL RAS; Voronezh: Voronezh State University.

15. Karaulov, Yu.N. (1989) Predislovie: Russkaya yazykovaya lichnost' i zadachi ee izucheniya [Preface: Russian language personality and the objectives of its study]. In: Smelyov, D.N. (ed.) *Yazyk i lichnost'* [Language and personality]. Moscow: Nauka.

16. Kasavin, I.T. (2010) Vvedenie [Introduction]. In: Kasavin, I.T. (ed.) *Mezhdistsiplinarnost' v naukakh i filosofii* [Interdisciplinarity in the sciences and philosophy]. Moscow: IPh RAS.

17. Zyкова, I.V. (2016) Lingvokreativnost' s pozitsii lingvokul'turologii: teoriya, metod, analiz [Linguistic creativity from the perspective of linguoculturology: theory, method, analysis]. In: Krasnykh, V.V. & Izotov, A.I. (eds) *Yazyk, soznanie, kommunikatsiya* [Language, consciousness, communication]. Is. 53. Moscow: MAKSS Press.

18. Sviridov, S.V. (2002) Rok-iskusstvo i problema sinteticheskogo teksta [Rock art and the problem of synthetic text]. In: Domanskiy, Yu.V. & Kozitskaya, E.A. (eds) *Russkaya rok-poeziya: tekst i kontekst* [Russian rock poetry: text and context]. Is. 6. Tver: Tver State University.

19. Ivanov, D.I. (2008) *Rok-al'bom 1980-kh godov kak sinteticheskii tekst: Yu. Shevchuk "Plastun"* [1980s rock album as synthetic text: Yu. Shevchuk "Plastun"]. Ivanovo: Episheva.

20. Gavrikov, V.A. (2011) *Russkaya pesennaya poeziya XX veka kak tekst* [Russian song poetry of the twentieth century as a text]. Bryansk: Bryanskoe SRP VOG.

21. Domanskiy, Yu.V. (2006) *Variativnost' i interpretatsiya teksta (paradigma neklassicheskoy khudozhestvennosti)* [Variability and interpretation of the text (the paradigm of non-classical artistry)]. Philology Dr. Diss. Moscow.

22. Syrov, V.N. (1997) *Stilevye metamorfozy roka, ili Put' k "tret'ey muzyke"* [Style metamorphosis of rock, or The way to the "third music"]. N. Novgorod: N. Novgorod State University.

23. Bakhtin, M.M. (2003) K voprosam metodologii estetiki slovesnogo tvorchestva: I. Problema formy, sodержaniya i materiala v slovesnom khudozhestvennom tvorchestve [On the methodology of aesthetics of verbal creativity: I. The problem of form, content and material in verbal art creativity]. In: Bocharov, S.G. & Nikolaev, N.I. (eds) *Sobr. soch.: v 7 t.* [Collected Works: in 7 vols]. Vol. 1. Moscow: Iskustvo.

24. Ivanov, D.I. (2016) *Teoriya sinteticheskoy yazykovoy lichnosti: v 2 t.* [The theory of a synthetic language personality]. Vol. 1. Ivanovo: PresSto.

25. Ivanov, D.I. (2017) *Teoriya sinteticheskoy yazykovoy lichnosti: v 2 t.* [The theory of a synthetic language personality]. Vol. 2. Ivanovo: PresSto.

26. Fadeeva, I.E. (2008) Kul'turnaya identichnost' kak semioticheskaya problema [Cultural Identity as a Semiotic Problem]. Spivak, D.L. (ed.) *Fundamental'nye problemy kul'turologii: v 4 t.* [Fundamental Problems of Cultural Studies: in 4 vols]. Vol. 1. St. Petersburg: Aleteya.

27. Karasik, V.I. (2007) Diskursivnaya personologiya [Discursive Personology]. *Yazyk, kommunikatsiya i sotsial'naya sreda – Language, Communication and Social Environment*. 7. pp. 78–85.

28. Anikin, D.V. (2004) *Issledovanie yazykovoy lichnosti sostavitelya "Povesti vremennykh let"* [The study of the language personality of the compiler of "The Tale of Bygone Years"]. Philology Cand. Diss. Barnaul.

29. Khuranova, L.A. (2017) A. Typology of Language Personality in domestic and foreign linguistics. *Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo universiteta – Herald of Vyatka State University*. 5. pp. 75–80. (In Russian).
30. Golev, N.D., Saykova, N.V. & Khomich, E.P. (eds) (2006) *Lingvopersonologiya: tipy yazykovykh lichnostey i lichnostno-orientirovannoe obuchenie* [Linguopersonology: types of language personalities and personality-centered learning]. Barnaul; Kemerovo: BSPU.
31. Karasik, V.I. (2002) *Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs* [Language circle: personality, concepts, discourse]. Volgograd: Peremena.
32. Maslova, V.A. (2001) *Lingvokul'turologiya* [Linguoculturology]. Moscow: Akademiya.
33. Sedov, K.F. (2004) *Diskurs i lichnost': evolyutsiya kommunikativnoy kompetentsii* [Discourse and personality: the evolution of communicative competence]. Moscow: Labirint.
34. Zvegintsev, V.A. (2001) *Yazyk i lingvisticheskaya teoriya* [Language and linguistic theory]. Moscow: Editorial URSS.
35. Baranov, A.G. (2006) [Semiotic personality: code transitions]. *Rechevaya deyatel'nost'. Yazykovoe soznanie. Obshchayushchiesya lichnosti* [Speech activity. Linguistic consciousness. Communicating personalities]. Abstracts of 15th International Symposium on Psycholinguistics and Communication Theory. Moscow; Kaluga: [s.n.]. pp. 30–31. (In Russian).
36. Arutyunova, N.D. (1990) *Diskurs* [Discourse]. In: Yartseva, V.N. (ed.) *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Linguistic Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Sov. ents.
37. Susov, I.P. (2007) *Vvedenie v yazykoznanie* [Introduction to linguistics]. Moscow: AST: Vostok – Zapad.
38. Chernyavskaya, V.E. (2001) *Diskurs kak ob'ekt lingvisticheskikh issledovaniy* [Discourse as an object of linguistic research]. In: *Tekst i diskurs: Problemy ekonomicheskogo diskursa* [Text and Discourse: Problems of Economic Discourse]. St. Petersburg: SPbSUEF.
39. Dem'yankov, V.Z. (2005) *Tekst i diskurs kak terminy i kak slova obydennoy yazyka* [Text and discourse as terms and as words of an ordinary language]. In: Toporov, V.N. (ed.) *Yazyk. Lichnost'. Tekst* [Language. Personality. Text]. Moscow: YaSK.
40. Stepanov, Yu.S. (1995) *Al'ternativnyy mir, Diskurs, Fakt i Printsip prichinnosti* [Alternative World, Discourse, Fact and Principle of Causality]. In: Stepanov, Yu.S. (ed.) *Yazyk i nauka kontsa 20 veka* [Language and science of the end of the 20th century]. Moscow: RSUH.
41. Kubryakova, E.S. (2005) *O termine "diskurs" i stoyashchey za nim strukture znaniya* [On the term "discourse" and the structure of knowledge behind it]. In: Toporov, V.N. (ed.) *Yazyk. Lichnost'. Tekst* [Language. Personality. Text]. Moscow: YaSK.
42. Plotnikova, S.N. (2008) *Govoryashchiy / pishushchiy kak yazykovaya, kommunikativnaya i diskursivnaya lichnost'* [Speaker/writer as a linguistic, communicative and discursive personality]. *Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Nizhnevartovsk State University*. 4. pp. 37–42.
43. Sinel'nikova, L.N. (2011) Scientific legitimacy of the notion "discursive personality". *Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Seriya: Filologiya. Sotsial'nye kommunikatsii – Scientific Notes of V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Series "Filology. Social Communications"*. 24 (63):2(1). pp. 454–463. (In Russian).
44. Stepanov, Yu.S. (2004) *Konstanty: Slovar' russkoy kul'tury* [Constants: Dictionary of Russian culture]. 3rd ed. Moscow: Akademicheskii proekt.
45. Sternin, I.A. (2002) *Kommunikativnoe i kognitivnoe soznanie* [Communicative and cognitive consciousness]. In: *S lyubov'yu k yazyku* [With a love of language]. Moscow: IL RAS; Voronezh: Voronezh State University.
46. Pasternak, B.L. (2004) *Poln. sobr. soch.: v 11 t.* [Complete Works: in 11 vols]. Vol. 3. Moscow: Khud. lit. pp. 148–238.

47. Tynyanov, Yu.N. (1977) *Poetika. Istoriya literatury. Kino* [Poetics. History of Literature. Cinema]. Moscow: Nauka. pp. 168–195.
48. Ivanov, D.I. & Lakerbay, D.L. (2017) *Teoriya sub"ektivnosti teksta i russkaya poeziya XX veka* [The theory of subjectivity of the text and Russian poetry of the twentieth century]. Ivanovo: PresSto.
49. Popova, Z.D. & Sternin, I.A. (2007) *Kognitivnaya lingvistika* [Cognitive linguistics]. Moscow: AST: Vostok – Zapad.
50. Korotchenko, E.P. (2001) *Metanarratsiya* [Metanarration]. In: Gritsanov, A.A. & Mozheyko, M.A. (eds) *Postmodernizm: entsikl.* [Postmodernism: Encyclopedia]. Minsk: Interpresservis; Knizhnyy Dom.
51. Bashlachev, A. (1986) *Beseda A. Bashlacheva s A. Shipenko i B. Yukhanovym. "Bylo by sodержanie – formy pridut"* [A. Bashlachev's interview with A. Shipenko and B. Yukhanov. "If there is content, the form will come"]. [Online] Available from: <http://bashlach.chat.ru/int04.htm>.
52. Kosov, A.V. (2007) Mentality as outlook system and component of myth-consciousness. *Metodologiya i istoriya psikhologii – Methodology and History of Psychology*. 2 (3). pp. 75–90. (In Russian).
53. Berdyaev, N. (2008) *Sud'ba Rossii* [The fate of Russia]. Moscow: Eksmo. pp. 7–22.
54. Esenin, S.A. (1995) *Polnoe sobranie sochineniy: v 7 t.* [Complete Works: in 7 vols]. Vol. 1. Moscow: Nauka: Golos.
55. Domanskiy, Yu.V. (2000) *"Teksty smerti" russkogo roka: posobie k spetsseminaru* ["Texts of the death" of Russian rock: a manual for a special seminar]. Tver: Tver State University.
56. Naumov, L. (2010) *Aleksandr Bashlachev. Chelovek poyushchiy: Stikhi, biografiya, materialy* [Alexander Bashlachev. The Man Singing: Poems, Biography, Materials]. St. Petersburg: Amfora.
57. Ivanov, D.I. & Lakerbay, D.L. (2018) S.A. Yesenin's Phenomenon as a Synthetic Text: Preliminaries. *Novyy filologicheskiiy vestnik – New Philological Bulletin*. 1 (44). pp. 127–137. (In Russian).
58. Ivanov, D.I. & Lakerbay, D.L. (2018) Cognitive-pragmatic program of the linguistic personality of S. Yesenin: subsystem of target attitudes. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philological sciences. Issues of Theory and Practice*. 3 (81):1. pp. 20–24. (In Russian).
59. Ivanov, D.I. & Lakerbay, D.L. (2017) The logocentric program of linguistic personality of J. Brodsky: preliminary remarks. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philological sciences. Issues of Theory and Practice*. 7 (73):1. pp. 24–27. (In Russian).
60. Ivanov, D.I. & Lakerbay, D.L. (2017) Cognitive-pragmatic program of I. Brodsky's linguistic personality: the system of goals. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philological sciences. Issues of Theory and Practice*. 12 (78):2. pp. 29–32. (In Russian).
61. Ivanov, D.I. & Lakerbay, D.L. (2017) Text, style, individual style in linguistics and literary criticism: comments to generally accepted concepts. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philological sciences. Issues of Theory and Practice*. 4 (70):2. pp. 18–22. (In Russian).
62. Zholkovskiy, A.K. (1994) *"Bluzhdayushchie sny" i drugie raboty* ["Wandering dreams" and other works]. Moscow: Nauka, Vost. lit. pp. 247–275.

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/58/12

О.А. Коростелев, Е.В. Кузнецова

**ПОЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИВАНА БУНИНА
И АЛЕКСАНДРА БЛОКА (НА МАТЕРИАЛЕ МАРГИНАЛИЙ
И. БУНИНА НА ОДНОТОМНИКЕ А. БЛОКА 1946 г.)¹**

На основании новых архивных материалов выявляются разногласия И.А. Бунина и А.А. Блока во взглядах на современную поэзию и ее основные художественные принципы. Предметом исследования являются маргиналии Бунина на одномотмнике А.А. Блока «Стихотворения в одном томе» 1946 г. Анализ помет свидетельствует, что Бунин не принимает три основополагающие тенденции в творчестве младшего современника: иносказательность, варьирование ключевых слов-символов, деконкретизацию лирической ситуации.

Ключевые слова: И.А. Бунин, А.А. Блок, символизм, модернизм, лирика, русское зарубежье.

Отношение И.А. Бунина к творчеству ряда представителей русского Серебряного века хорошо известно. Он не принимал прозу и драматургию А.М. Ремизова, Л.Н. Андреева, поэзию А. Белого, В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта, С.М. Городецкого, М.И. Цветаевой и других авторов, открыто и резко высказывал свои взгляды. По словам Л.К. Долгополова, представители модернистских течений и сами эти течения становятся «едва ли не центральным объектом его многочисленных нападок», Бальмонт в оценке Бунина «фат и словоблуд», Брюсов – «усидчивый копиист французских модернистов и старых русских поэтов», Городецкий – «юродивый», Белый пишет «ничтожно, претенциозно и гадко», Цветаева – психопатка «с оловянными глазами», способная, но бесстыдная и безвкусная [1. С. 264–265]. По мнению Бунина, поэты утратили непосредственное ощущение действительности, увлеклись различными эстетическими теориями, которые только наносят вред творческому самовыражению, «русская поэзия остановилась в своем развитии на Фете, Ал. Толстом», а в последние годы, к рубежу 1910-х гг., представляет собой «пустое место» [2. С. 539].

В 1912 г. в интервью журналу «Рампа и жизнь» Бунин говорит о том, что современная литература разучилась ценить и воспроизводить «радость жизни», замкнулась на теме бед и проблем русской действительности, перестала волновать сердца читателей и утратила «силу эмоционального воздействия» [3. С. 347]. В знаменитой речи на юбилей газеты «Русские ведомости» 6 октября 1913 г. он утверждает, что вся литература последних

¹ Исследование выполнено в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01410 «Академический Бунин. Источниковедение, текстология, методология»).

двадцати лет «находилась в периоде во всяком случае болезненном, в упадке, в судорогах и метаниях из стороны в сторону», что «уродливых, отрицательных явлений было в ней во сто крат более, чем положительных», «произошло невероятное обнищание, оглушение и омертвление русской литературы», которое выразилось в том, что «морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый» [1. С. 265].

Впечатляющая подборка отзывов И.А. Бунина о творчестве современников была собрана в редкой периодике предреволюционных лет и введена в научный оборот совсем недавно [4. С. 402–563]. Анализируя оценки Бунина с точки зрения современной науки и знаний о сложном, многоаспектном литературном процессе начала XX в., трудно полностью с ним согласиться. В начале XX в. был сделан новый поворот к реальности и создавались потрясающие по эмоциональному накалу произведения. Но и нельзя утверждать, что он во всем заблуждался. Тонкий и прозорливый художник, Бунин подметил многие характерные черты русской литературы эпохи модернизма. Пессимизм, упадничество (не в художественности, а в душевном настрое), устремленность в иные сферы, находящиеся за пределами земного бытия (мир внутреннего «Я», реальность творческой фантазии, религиозной утопии, мистической экзальтации, идеализированного мифа и т.д.), и, как следствие, определенная умозрительность творчества русских символистов, как старшего, так и младшего поколений, отмечены им верно.

Особенно остро переживал Бунин поэтическую славу Александра Блока, последовательно отвергая его лирику и его самого как тип литератора: «Ему чужд Блок прежде всего как определенная *творческая личность*, как законченное явление жизни и культуры. Стихи Блока – «пошлый вздор», лицо у него – «мертвое», взор – «мутно сонный», он сам – «полупомешанный», – цитирует Л.К. Долгополов высказывания Бунина 1900–1910-х гг. [1. С. 317–329]. Мысль о ненормальности, патологичности художественных произведений Блока Бунин повторял неоднократно в разные годы, уже в эмиграции, например, он однажды сказал, что его творчество – «род душевной болезни» [5. С. 160]. О неприязни к творчеству Блока мы знаем прежде всего благодаря самому Бунину, зафиксировавшему ее в дневниках, письмах, критических рецензиях, статьях, мемуарных очерках. Даже в некоторых художественных произведениях («Петлистые уши», «Митина любовь» [6. С. 161–169]) присутствуют неоднозначные аллюзии на его творчество. Много гневных слов сказано о Блоке и в «Окаянных днях». Устные высказывания Бунина о певце Прекрасной Дамы в частных беседах, спорах, во время публичных выступлений сохранились в свидетельствах современников: в дневниках (М.А. Кузмин, Г.Н. Кузнецова, В.Н. Муромцева-Бунина), мемуарах (Г.В. Адамович, А.В. Бахрах, Н.Н. Берберова, И.В. Одоевцева, А. Седых, С.Ю. Прегель, В.С. Яновский), письмах (Г.В. Адамович, Н.А. Нолле-Коган). Современники бунинское отталкивание от стиля и наследия Блока объясняли литературной «глухо-

той», «слепотой», «притупленностью» художественного чутья, ревностью к славе, личной ненавистью, что представляется не вполне справедливым. О Блоке-человеке Бунин неоднократно высказывался и в позитивном ключе. В 1930 г., внимательно изучая перепечатанные в эмигрантской прессе дневники Блока, он признался близким, что «его мнение о Блоке-человеке сильно повысилось» [7. С. 139], и в особенности высоко писатель оценил блоковское «понимание некоторых людей»: «Нет, он был не чета другим. Он многое понимал... И начало в нем было здоровое» [7. С. 139]. 1 сентября 1922 г. Бунин сказал З.Н. Гиппиус: «Я всегда выделял и выделяю Блока, всегда говорю, что Блок сделан из настоящего теста» [5. С. 93].

Современные исследователи тоже размышляли над взаимоотношениями двух знаменитых современников. Т.В. Марченко полагает, что письменные и устные негативные антиблоковские высказывания Бунина были родом литературного интеллектуального эпатажа, рассчитанного на реакцию публики, а также следствием писательской ревности и обиды [8. С. 45–73]. С.В. Смирнов считает, что Бунин сознательно, с целью литературной борьбы, конструирует в дневниках, статьях и устных высказываниях идеологическую биографию соперника, писателя-антипода, впавшего в заблуждения большевизма и утратившего ум, человечность и талант [9. С. 264–268]. Безусловно, и писательская ревность, и поза имеют место в этих резких высказываниях, но это слишком односторонние объяснения сложного процесса сосуществования двух творческих индивидуальностей.

В результате изучения многочисленных бунинских характеристик стиля писателей-символистов у Л.К. Долгополова «создается впечатление, что он не принимал в их творчестве прежде всего весь тот комплекс духовной напряженности, неуспокоенности, состояние тревоги, которым все они жили и которое выражалось в творчестве. Бунину, с его чувством “душевного здоровья” и нерасторжимой связи своей личной жизни с извечно обновляющейся, неумирающей природной жизнью, была чужда та *трагическая обнаженность лирической темы*, тот стиль и характер мироощущения, который формировался в поэтической среде рубежа веков» [1. С. 265]. Размышляя о бунинском неприятии именно Блока, Л.К. Долгополов объясняет это тем, что последний точно почувствовал и передал трагическое мироощущение своей эпохи и приближение исторических катаклизмов, потому что был прочно связан «с тем восприятием личности на общем фоне природы и истории, которое формировалось в XIX веке в творчестве Тютчева и Достоевского» [Там же. С. 278]. А оба этих гениальных творца оказались чужды Бунину, который остался в стороне и от исторического развития начала XX в. (общественного, революционного, художественного), и от формирования нового типа человеческой личности, тревожной, неудовлетворенной, разочарованной. Исследователь считает, что Бунин, в отличие от Блока, в своем творчестве остается сугубо в пределах материальной реальности, визуальной изобразительности и вечных, непреходящих ценностей, он не пытается ни проникнуть за грань бытия, ни вникнуть в исторические сломы и метаморфозы своего времени: «Внутренний,

скрытый исторический смысл происходившего на рубеже веков видоизменения жизненных условий, особенностей мышления, характера самосознания личности, особенностей формирования человеческого “я” и различных теорий на этот счет остался, по всей видимости, вне сферы внимания Бунина. Проникнуть внутрь “оболочки” он не смог, да, пожалуй, и не захотел. Остро и насыщенно воспринимая мир со стороны его “вещественности” (запахи, краски, непосредственные ощущения), Бунин не пошел дальше» [1. С. 277–278].

Л.К. Долгополов отмечает далее в своей работе, что ряду важнейших произведений Бунина также свойственны «мотивы неустроенности и неустоенности, тревожности, *напряженного взглядывания* в будущее», которые являются ведущими в произведениях символистов, но они возникают как бы помимо воли автора, вопреки его жизненному кредо и им самим сначала не осознаются. Только к рубежу 1910-х гг., намного позже, чем в творчестве других писателей-современников, в «плоть и кровь его творчества входят потрясения, пережитые страной», но он всегда стремится «вести их в степень вневременного и внеисторического» [Там же. С. 281–284]. Этот факт трактуется ученым как основное противоречие мировоззрения и творчества писателя.

Следует отметить, что наблюдения исследователя над произведениями писателя 1910-х гг. все же существенно противоречат его общей характеристике «антиисторичного» Бунина, приведенной выше, а также требуют ряда поправок. Вряд ли можно утверждать наверняка, что в творчестве писателя возникает осознанно, а что бессознательно или вопреки намерениям, взглядам и принципам. Социально значимые темы и проблемы времени Бунин поднимает не меньше и не позже символистов, а «душевного здоровья» и радости жизни в его прозе и поэзии столько же, сколько печали, сомнений, терзаний и неудовлетворенности. Бунин и Блок не столь различны по своему настроению и чувству истории, как может показаться из-за их принадлежности к разным литературным лагерям. Бунин во многом был таким же трагичным, неудовлетворенным, разочарованным, ищущим в своих блужданиях по России и миру чего-то иного (экзотического, первобытно-природного или, наоборот, сотворенного человеческим гением) «новым» человеком рубежа XIX–XX вв. Не одному Бунину в литературе русского Серебряного века было свойственно противопоставлять временное вечному и искать идеал в нравственных абсолютах. Русские символисты, идеалисты и неоплатоники в самих основах своего мировоззрения не только отражали трагический кризис и перелом своей эпохи, но и активно разрабатывали различные альтернативы, прежде всего миры эстетической, мифопоэтической или религиозной утопии, которые не отличаются принципиально от попыток Бунина ухватиться за вечные и неизменные ценности человеческого существования (любовь, красоту природы, радость бытия) или за ретроспективную утопию мира дворянской усадьбы в раннем творчестве периода «Антоновских яблок».

Позднее его раздумья о деградации дворянского рода в «Суходоле» и неотвратимой каре, настигающей потомков за грехи отцов, сходятся с концепцией Блока, изложенной в поэме «Возмездие». Показательно, что оба произведения создаются одновременно в самом начале 1910-х гг.: основной корпус незавершенной поэмы написан в 1911 г., «Суходол» опубликован в 1912 г. Обращение Бунина к проблемам реальности по временным рамкам совпадает с тем же процессом в творчестве младших символистов. Неприятие Тютчева и Достоевского, высказываемое на словах, не означало того, что он не впитал их достижений в изображении «личности на общем фоне природы» или трагически-расщепленного сознания¹. Желание видеть и запечатлеть неподвластное времени не говорит об исторической слепоте, а отражение, даже вопреки самому себе, «социальных сдвигов» – о противоречии мировоззрения и творчества. Также нельзя утверждать, что разный жизненный выбор, сделанный в период русской революции 1917 г., существенно повлиял на восприятие Бунинным творчества младшего современника².

Л.К. Долгополов совершенно верно отмечает при этом, что Бунин не приемлет иной тип «поэтического мышления», который присущ поэтам-символистам и особенно ярко выражен в творчестве Блока [1. С. 265]. Об эстетических корнях бунинской вражды к Блоку пишет также А.А. Дякина, полагая, что два поэта исходят из разных предпосылок художественного творчества и его направленности [13. С. 7; 14]. Л.А. Смирнова считает, что их пути представляли собой «два самостоятельных направления в поэзии, два взгляда на мир, две художественные системы – при несомненной переключке в восприятии своего времени: «“Второй реальности”, образной щедрости Блока противостоит холодноватая созерцательность, четкость рисунка Бунина» [15. С. 8–9]. Исследовательница полагает, что наглядность и конкретность выводов и обобщений Бунина не исключала его стремления к иному, запредельному, неустанный поиск идеала. А.В. Бакунцев в целом солидарен с мнением Л.А. Смирновой и А.А. Дякиной, он пишет, что причина резкого отталкивания двух авторских индивидуальностей заключалась «в глубочайшем несходстве “философий творчества” двух поэтов. То, что для одного было художественной “нормой”, для другого нередко – “изъяном”» [16. С. 101]. К.Н. Галай рассуждает в том же ключе: «Теперь, на расстоянии десятилетий, становится более понятно, почему И. Бунин не принимал новых течений в искусстве, и в литературе в частности. Он чрезвычайно трепетно относился к классике, к миметическому искусству, в то время как модернисты начинали искусство новое, игровое, в котором большое количество новомодных элементов выводило

¹ Ощутимое влияние Тютчева на Бунина отметил еще Блок, отзываясь на сборник «Стихотворения 1903–1906 гг.», составивший третий том бунинского Собрания сочинений 1902–1910 гг. [10. С. 47]. Подробно этот вопрос рассматривался в целом ряде работ, в частности в монографиях Р.С. Спивак [11] и О.Н. Владимирова [12].

² По поводу «большевизма» Блока Бунин много негодовал в 1918–1921 гг., но мнение о его творчестве сложилось намного раньше и не изменилось в основных чертах до самой смерти.

произведение на новое качество. Это была уже другая поэтика, другой поэтический язык, который был ему, в общем-то, чужд, непонятен и учиться которому он не желал» [17. С. 66]. Очевидно, что, обвиняя символистов, а позднее и представителей постсимволистских течений, в увлечении модными и ложными эстетическими теориями, отрицая их поэзию не по причине того, что это плохо или недостаточно хорошо написано, а по причине того, что это не поэзия в принципе, сам Бунин тоже стоит на определенной эстетической позиции, которая требует своего прояснения. Безусловно, два писателя исходили из разных принципов художественности, но их нельзя свести к антитезам «традиция – новаторство», «классика – модернизм», они глубже уходят корнями в философию искусства и не связаны исключительно с литературной эволюцией в России на рубеже XIX–XX вв.

Прежде всего, Бунин придерживался четкого разделения жизни, яркой, многогранной и самоценной, и искусства, которое при всей своей ценности не может быть поставлено выше жизни, не может оно и быть средством постижения высшей реальности или божественного откровения. Как пишет Ю. Мальцев, для Бунина «искусство было <...> лишь частицей жизни», а его высшая задача – выразить и передать ее загадочную прелесть [18. С. 149]. Соответственно все попытки символистов выстроить в своем творчестве абстрактные параллельные миры, иные реальности вызывали его отторжение, как и их способы выработать для этих целей особый художественный язык, мерцающий и многозначный язык символов. Таким образом, основной водораздел между Буниным и всеми модернистами пролегал не в плоскости душевного здоровья и надломленности, историзма и антиисторизма, писательской зависти или целенаправленного эпатажа, а в различном понимании принципиального соотношения реальности и искусства, земного бытия и художественного мира. И для теургвомладосимволистов, и для эстетизма Брюсова искусство было реальнее реальности, поэтому и могло влиять на нее, видоизменять жизнь, которая есть подобие, отражение высшего божественного творчества. А художник сопричастен ему в момент вдохновения. Для Бунина жизнь – первопричина всего, она определяет, направляет и вбирает в себя отражающее ее искусство. По словам Т.М. Двинятиной, основа стилистического расхождения Бунина с символистами состояла в том, что для них «вещь, подробность, деталь не были самодостаточны и были именно иносказаниями», а для их старшего современника каждая вещь самодостаточна, так как является в себе весь мир [19. С. 50]. Скорее всего, эти глубинные различия в понимании основ и целей творчества привели Бунина к разрыву с символистами в 1902 г. и их критике впоследствии. При всех связях Бунина с традицией русской литературы XIX в., он развивался в целом в русле мирового модернизма, вобрав его основные мотивы, но «расстановку сил» в дихотомии «искусство – реальность» в пользу искусства он никогда не менял.

Резкие высказывания писателя 1910-х гг. могут быть обусловлены, среди прочего, пылом литературной борьбы и слишком большой погруженностью в сам процесс художественной жизни, отсутствием дистанции, позволяющей

со стороны посмотреть на искусство русского модернизма. Безусловно, они интересны, но еще более заслуживают внимания его зрелые оценки и характеристики русской поэзии начала XX в., данные уже на склоне лет в 1930–1940-е гг. И снова они и верны и неверны одновременно. Размышляя об этом феномене, О.Н. Михайлов цитирует письмо Бунина к П.М. Бицилли от 16 мая 1936 г., содержащее следующие строки: «“Один из величайших русских поэтических гениев” Блок – пусть Бог простит Вам это. Сколько в этом гении – ну, Вертинского, что ли. “Золотое, как небо, аи...” Тыфу!» [20. С. 152–158]¹, и констатирует, что о Блоке «сказано несправедливо и в то же время “зацеплено” нечто верное», потому что определенной, песенно-романсовой, гранью своей поэзии «он соприкасался именно с Вертинским» [21. С. 163]. Несправедливость оценки заключается в сведении многогранного творчества Блока только к ресторанно-эстрадным, цыганским мотивам, но ценность этого высказывания в фиксации иных, земных голосов в лирике поэта, оттеняющих ее мистическую устремленность.

Во второй половине 1940-х гг. Бунин предпринимает попытку еще раз перечитать и понять поэта-младосимволиста, штудирует однотомное издание его произведений 1946 г. (*Блок А.А. Сочинения* в одном томе. Стихотворения. Поэмы. Театр. Статьи и речи. Письма / ред., вступ. ст.: [«Александр Блок». С. III–XXIV] и примеч. Вл. Орлова. М.; Л.: Гослитиздат, 1946. XXIV, 662 с. // ОГЛМТ. Ф. 14. Ед. хр. 17319 оф.) и оставляет на полях многочисленные пометы, преимущественно негативного характера, которые позволяют уточнить, какие именно черты в новом искусстве так и не признал нобелевский лауреат, а на что с годами изменил свои взгляды. Архивный экземпляр данного издания Блока представляет собой книгу в твердом тканевом переплете объемом 662 страницы (не считая вступительной статьи Вл. Орлова, напечатанной с отдельной пагинацией) с портретом автора. На данный момент этот экземпляр хранится в архивном фонде Объединенного литературного музея им. И.С. Тургенева в г. Орле. Как книга попала к Бунину, точно неизвестно, он не оставил каких-либо свидетельств на этот счет в письмах или дневнике. В СССР однотомник переслала его вдова, В.Н. Муромцева-Бунина, которая после смерти мужа отправила отдельные части его архива в СССР на адрес Союза писателей, откуда книга и поступила в орловский музей.

Маргиналии Бунина представляют собой подчеркивания отдельных строк или слов, крестики и вертикальные черты на полях, знаки вопроса или восклицания, словесные комментарии (четкие и разборчивые), знаки «NB». Всего 128 страниц из 662 содержат пометы, которые в целом равномерно распределены по однотомнику от начала до конца: финальная помета стоит на странице 616. Это позволяет предположить, что сборник был

¹ Полный корпус переписки был опубликован [20. С. 109–178] через несколько лет после работы О.Н. Михайлова, цитировавшего письмо по фрагментам из публикации А.П. Мещерского: *Неизвестные письма И. Бунина* / публ. А. Мещерского // *Русская литература*. 1961. № 4. С. 152–158.

прочитан Буниным полностью. Характер помет заставляет сделать вывод, что писатель работал с книгой неоднократно, возвращался к ней. Какие-то разделы проанализированы очень внимательно, какие-то менее тщательно, некоторые страницы и целые разделы не содержат помет, возможно, они были просто пролистаны или не вызвали интереса. В основном для помет использован простой карандаш, но есть немногочисленные маргиналии розовым и синим химическим карандашом. Разные цвета карандашей также свидетельствуют, что к этой книге Бунин обращался многократно. Данный архивный материал является новым и ценным дополнением к картине взаимоотношений двух авторов-современников, дает возможность проследить эволюцию взглядов Бунина на ряд революционных произведений Блока.

Анализ данных помет помогает доказать высказанные рядом исследователей предположения о разном понимании обоими авторами поэтической образности, отличиях в их «структуре поэтического мышления». Маргиналии Бунина не позволяют согласиться с мнением некоторых исследователей относительно причин его вражды к Блоку, прежде всего с выводами Л.К. Долгополова, С.В. Смирнова и Т.В. Марченко, основанными на оценке политической и общественной позиций писателей, а также их творческих биографий. Принципиальные расхождения между двумя поэтами касаются в большей мере не общественных взглядов, противоположности психотипов, отношения к историческим переменам или личных обид, а сферы эстетической, самих принципов построения лирического мира, художественного образа, оперирования поэтическим словарем, вытекающих из представления о «правах и обязанностях» искусства.

Не все разделы объемного однотомника Блока содержат бунинские пометы, которые атрибутируются на основании сличения почерка, а также совпадения некоторых словесных характеристик с высказанными ранее и известными по другим источникам. Маргиналии в виде подчеркиваний и восклицательных знаков простым карандашом сопровождают предисловие В. Орлова. Ряд критических и публицистических статей Блока («Три вопроса», «Краски слова», «Безвременье», «Религиозные искания и народ», «Стихия и культура», «О современном состоянии русского символизма», «Крушение гуманизма», заметки «Молнии искусства» из неоконченной книги «Итальянские впечатления», избранные письма) содержат совсем небольшое количество маловыразительных помет. Зачастую крестиком отмечен только заголовок. Циклы «*Ante lucem*», «Стихи о Прекрасной Даме», «Итальянские стихи», «Разные стихотворения», «Арфы и скрипки», «Родина», поэма «Соловьиный сад», пьесы «Незнакомка» и «Песня судьбы», примечания к ним, а также ряд блоковских предисловий и автокомментариев содержат как подчеркивания, так и словесные комментарии на полях, выполненные преимущественно простым карандашом. Не содержит маргиналий цикл стихов «Город», кроме знаменитого стихотворения «Незнакомка», испещренного пометами. Нет пометок в самом тексте поэмы «Возмездие», но множество их на предисловии к ней 1919 г. Проигно-

рирована пьеса «Роза и крест» – самое реалистическое драматическое произведение Блока. Сдержанные, но примечательные пометы сопровождают стихотворение «Скифы». Поэма «Двенадцать», самое противоречивое и неоднозначное произведение поэта, также имеет только небольшое количество помеченных скобками или крестиками мест. Об этих произведениях мы еще скажем подробнее.

Даже такой беглый обзор весьма показателен: больше всего эмоций у Бунина вызывают поэтические и драматические произведения, символистские по стилю, написанные особым языком слов-символов и многозначных, абстрактных образов. В данной статье мы постараемся продемонстрировать, что не сам мистицизм как таковой, как опыт постижения нематериальной реальности отрицался Буниным, а тот *способ письма*, который вслед за ним проник в русскую поэзию. Стихотворения, обращенные к действительности (например, цикл «Город»), к истории («Скифы»), к общественным и культурным вопросам, не вызывают ни протеста, ни одобрения. Поразительно, что прозаические и поэтические произведения, касающиеся революции, проблем российской действительности, крушения прежней культуры, которые должны быть значимы для Бунина-эмигранта, не сопровождаются существенными комментариями «за» или «против», а содержат сдержанные подчеркивания некоторых мест. Это наводит на мысль, что все же не взгляды, позиции, идеи, т. е. личностная и содержательная сторона творчества, а именно художественная форма является основным предметом разногласий Бунина с Блоком в поздние годы, а все, что касается «мистицизма» и «большевизма», отходит со временем на второй план. Рассмотрим некоторые маргиналии подробнее.

В. Орлов, говоря о том, что Блок отразил в своем творчестве черты кризисного, революционного, переломного времени, цитирует четверостишие его пророческого стихотворения 1914 г., посвященного З.Н. Гиппиус, «Рожденные в года глухие...», и Бунин выделяет восклицательным знаком две последние строки, явно находя в них созвучное собственной душевной боли:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России –
Забыть не в силах ничего... [22. С. III].

Далее, следуя определенным тенденциям советского литературоведения, В. Орлов создает в своей вступительной статье облик поэта, выразившего «в неповторимо-оригинальной форме общие мысли и чувства» [Там же. С. IV], неуклонно развивавшегося в сторону «все более глубокого понимания и правдивого отражения объективной реальности» [Там же. С. IV]. Этот образ поэта-реалиста, народного по духу, импонирует Бунину, или по крайней мере заинтересовывает, и он подчеркивает все места, где автор предисловия высказывает подобные суждения. Бунин отмечает по-

хвалы реализму Блока в драме «Роза и крест», в которой он, по мнению В. Орлова, обращается «к изображению настоящих, реальных людей и их реальной психологии» [22. С. XVII]. Приведенная цитата выделяется Буниным, как и трактовка поэмы «Возмездие», в которой подчеркиваются революционные предчувствия и антиправительственные настроения. Далее карандаш Бунина фиксирует все суждения В. Орлова об отношении Блока к Октябрьской революции, о его деятельности в эти годы, высказываниях о роли интеллигенции, о прошлом и будущем России, размышления литературоведа о поэме «Двенадцать» и финальном образе Христа, о последующем молчании поэта, которое многими современниками трактовалось как разочарование в революции. Бунин отмечает крестиком один из финальных пассажей статьи: «Александр Блок был великим трагическим поэтом, с громадной эмоциональной силой выразившим душевные страдания человека, обреченного на томительные блуждания в “страшном мире” русской действительности предреволюционной эпохи» [Там же. С. XXIII]. Очевидно, что Бунин прочел вступительную статью В. Орлова очень внимательно, и ему было важно, как воспринимали советские литературоведы творчество поэта-символиста, особенно последних лет его жизни, связанных с революционными событиями. С этим восприятием он не спорит, в чем-то, возможно, даже соглашается. Личный, человеческий выбор Блока, принявшего по тем или иным причинам революцию, которую Бунин не принял, в 1946 г. уже не вызывает у него негодования. Возможно, он настроен пересмотреть и собственное мнение о его творчестве, увидеть ранее не замеченный реализм, жизненную, человеческую правду, которую так стремится подчеркнуть В. Орлов¹. Но затем он переходит к чтению его юношеских стихов, и позитивный настрой постепенно меняется.

В самом первом стихотворении «Пусть светит месяц – ночь темна...» Бунин выделяет отчеркиванием сбоку и восклицательным знаком две строки, которые ему, вероятно, понравились: «На тусклый взор души больной, / Облитой острым, сладким ядом» [Там же. С. 23]. Третье стихотворение – «Полный месяц встал над лугом» – заслуживает оценку «3–» и комментарий, который можно считать похвалой: «Это, в общем, ничего себе» [22. С. 24]. В одиннадцатом стихотворении – «Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене...» – писателю импонируют последние строки, которые он выделяет восклицательным знаком: «А я стоял в твоём благоуханьи, / С цветами на груди, на голове, в руках...» [Там же. С. 25]. В тринадцатом стихотворении – «Милый друг! Ты юною душою...» – он опознает Фета и пишет об этом на полях [Там же]. Стихотворение «Гамаюн, птица вещая!», представляющее собой экфрасис картины В. Васнецова и

¹ Столь пристальное внимание к статье В. Орлова и одноименному изданию А. Блока могло быть связано еще и с личными событиями в жизни Бунина: именно в 1946 г. его активно уговаривают вернуться в СССР, обещают издать столь же увесистый однотомник избранных произведений, Бунин встречается с советским послом и присутствует на обеде, устроенном К. Симоновым для писателей-эмигрантов.

целостное, сжатое, завершенное по мысли поэтическое высказывание, удостоивается похвалы: «Не плохо» [22. С. 26]. Но произведение «Звезда полночная скатилась...» [Там же. С. 30], в котором описывается неземная, небесная возлюбленная или некий идеал, мечта, абсолют, уже вызывает у Бунина недоумение, и он ставит на полях вопрос. Заключительное четверостишие стихотворения «Увижу я, как будет погибать...» («Пусть одинок, но радостен мой век, / В уничтожение влюбленный. / Да, я, как ни один великий человек, / Свидетель гибели вселенной») не произвело на строгого читателя впечатления своим пафосом гибели и разрушения, а также отчетливым нищенством, и рядом с ним возникла надпись: «Глуховато!» [Там же. С. 31]. На полях над стихотворением номер сорок девять появляется уже промежуточный вывод обо всем цикле: «Все вирши и никому непонятное блудословие» [Там же]. Бунин, по сути, обвиняет Блока в игре словами при отсутствии смысла. Прочитируем это небольшое стихотворение полностью, чтобы понять, какой принцип стихосложения был неприемлемым для знаменитого прозаика:

Погибло всё. Палящее светило
По-прежнему вершит годов круговорот.
Под холмами тоскливая могила
О прежнем бытии прекрасном вопиет.
И черной ночью белый призрак ждет
Других теней безмолвно и уныло.

Ты обрешь, белеющая тень,
Толпы других, утративших былое.
Минует ночь, проснется долгий день –
Опять взойдет в своем палящем зное
Светило дня, светило огневое,
И будет жечь тоскующую сень [Там же. С. 31].

Стихотворение очень символистское по стилю, написанное, возможно, под влиянием мрачной лирики Ф. Сологуба, которому были свойственны мотивы губительного, палящего солнца, огненного Дракона. Блок сознательно повторяет ключевые словосочетания, немного видоизменяя их: «палящее светило», «в своем палящем зное», «светило дня», «светило огневое». Содержание обеих строф идентично: день сменяет ночь, все так же восходит и палит солнце, а некая тень-призрак должна соединиться с другими тенями. Развития мысли действительно не происходит, смысловое движение заменено варьированием. Поэт словно постоянно подбирает слова для выражения какого-то загадочного душевного опыта или прозрения, ищет словосочетания, звучащие как заклинание, а не как сообщение о чем-то. Перед нами текст показательно новаторский, хотя и пользующийся устойчивыми, даже ультратрадиционными и несколько архаичными поэтизмами («годов круговорот», «тоскливая могила», «прежнее бытие», «безмолвно и уныло», «белеющая тень», «тоскующая сень»), написанный в

новой манере. Этот стиль сразу опознается Буниным и воспринимается им негативно.

Далее следуют уже сердитые комментарии. «Ох, Боже мой!» – стоит после заключительного четверостишия стихотворения «Ночь грозой бушевала, и молний огни...»:

Я пытался разбить заколдованный круг,
Перейти за черту оглушающей тьмы,
Но на утро я сам задохнулся в дали,
Беспокойно простертый у края земли [22. С. 32].

Вероятно, Бунин в этих строках оттолкнул гиперболизм фигуры лирического героя, распростертого «у края земли», с соответствующими переживаниями, с его точки зрения, это была фальшь, неверный, пафосный тон, в которых он упрекал модернистов. Четыре стихотворения, идущие практически подряд («Ты была у окна...», «Поклонник эллинов – я лиру забывал...», «Я знаю, смерть близка...», «Отрекись от любимых творений...») и варьирующие романтические мотивы неразделенной любви, рыцарского поклонения, ранней смерти, трагического одиночества и духовного самосовершенствования, характеризуются Буниным как незрелая лирика: «Детское» – пишет он напротив каждого из них [Там же. С. 33]. Отметим, что Блок понимал юношеский характер этих произведений, но специально оставил их, чтобы показать читателю весь процесс взросления души. Еще один текст на этой же странице однотомника («Пора вернуться к прежней битве...») вызывает у Бунина ассоциации с романсом, видимо, за последние строки: «И ласки девы черноокой, / И ramпы светлые огни!»). Маргиналия «Очень глупо» комментирует последнюю строфу стихотворения «В полночь глухую рожденная...», видимо, за финальное сравнение души с комом земли: «Эллины, эллины сонные, / Солнце разлейте вдали! / Стала душа пораженная / Комом холодной земли!» [Там же. С. 35]. Заключительный вывод о цикле «Ante Lucem», состоящем из семидесяти стихотворений, звучит как приговор: «Все 70 – ни одного явного слова!» [Там же].

Пометы Бунина наглядно демонстрируют, что произведения, в которых даны психологический анализ чувств, описание картины или традиционный, земной образ возлюбленной, украшенной цветами, играющей на сцене, ему импонируют. Но тексты иносказательные, построенные на гиперболизированной космической образности («палящее светило», «черта оглушающей тьмы», «край земли»), варьирующие апокалипсические мотивы, описывающие неясные томительные предчувствия и пророчества, вызывают у писателя негативный отклик. Стихотворения, в которых молодой поэт фиксирует свои первые любовные переживания и обращается к образности рыцаря, поклоняющегося Прекрасной Даме, кажутся Бунину наивными и детскими.

Современному читателю уже привычна неясность поэзии определенного рода, так называемой «темной», туманность или многозначность содер-

жания, поэтика намеков и суггестивность. Все это были во многом завоевания символистов, так и не принятые Бунинным, который до конца своих дней оставался поэтом трезвого взгляда, стремящимся к точности воспроизведения земного бытия, чувства или идеи. Ф.А. Степун очень точно определил это свойство его таланта как «созерцание мира умными глазами» [23. С. 95]. Блок же был поэтом предчувствия, постигающим в минуты озарения непознаваемое. Это два разных типа поэтического мышления, а, возможно, и человеческого индивидуального мышления вообще, порождающие разную лирику и способы создания художественных образов: чувственно-конкретных или отвлеченно-абстрактных.

Разумеется, эти два типа поэтического мышления проявились не только в эпоху модернизма. Они существовали и ранее, но в символизме второй тип получил еще и теоретическое, философское и религиозно-мировоззренческое обоснование. Характерным примером является творчество Брюсова. Один из основателей русского символизма, он был по складу поэтом мысли, гораздо более близким к Бунину, чем к интуитивистам Бальмонту или Блоку. Несмотря на все попытки, Брюсов так и не смог органично писать, используя поэтику намеков, и отказался от нее со временем. Но мучительно размышляя над собственной стихотворной практикой и опытом других, он очень точно описал эти два типа поэзии в статье «Владимир Соловьев. Смысл его поэзии»: «Есть два рода поэзии. Одна довольствуется изображением того, что можно постигнуть умом, выражением чувств, доступных ясному сознанию. Ее сила в передаче зримого, внешнего, в яркости описаний и точности определений. Поэт как бы ставит картину или событие перед внутренними очами читателя и, заставляя его видеть то же, что видит сам, через посредство этого образа передает свое настроение. Такие художники властвуют над своим созданием (что, конечно, несколько не исключает вдохновенности). <...> Поэзия другого рода беспрестанно порывается от зримого и внешнего к сверхчувственному. Ее влекут темные, загадочные глубины человеческого духа, те смутные ощущения, которые переживаются где-то за пределами сознания. Область ее – чистая лирика. Поэт как бы чувствует себя ниже своего создания, как бы должен отдаться *во власть* наития. Конечно, это не значит, чтобы такие произведения были бессвязны; при кажущейся беспорядочности они сохраняют духовную цельность; неуловимость настроения не мешает глубокой обдуманности отдельных выражений. Но часто этой поэзии недостает слов: ибо то, что она жаждет выразить, несказанно» [24. С. 243–244]. Творчество Бунина, несомненно, относится к первому роду поэзии, а лирика Блока – ко второму.

Отметим, что брюсовский метод творчества был, наверное, наиболее близким Бунину из всех индивидуальных символистских стилей. Им обоим были свойственны экзотизм, мифологические параллели, логичность и строгость стиха. Блок даже упрекает Бунина в неумелом подражании Брюсову в стихотворении «Люблю цветные стекла окон...»: «Способ выражения, рифмы, расстановка слов, даже размер, тема, заключительное воскли-

цание – все от Брюсова, только поплоче, второго сорта» [25. С. 49]. На наш взгляд, следует говорить не о подражании, а о некоей, порой неосознаваемой, общности подходов к созданию произведения искусства. Долгое время Брюсов и Бунин были даже в приятельских отношениях, и хотя часто критиковали творчество друг друга, исследователи отмечают между ними ряд перекличек [26. С. 173–174; 27. С. 138–150].

То, что Бунин называет блоковским «словоблудием», было, конечно, художественной фиксацией сформулированного Брюсовым принципа «недостаточности слов» для выражения несказанного, принципа, с которым Бунин не мог примириться, так как главная цель поэзии именно в том и состоит, чтобы искать и находить нужные слова, облекать в них мысль или впечатление. И эти качества лирики Бунина, ее сильных и слабых сторон, были отмечены Брюсовым в рецензии на его сборник «Стихотворения» 1906 г.: «Ив. Бунин во многом противоположен Бальмонту. Насколько Бальмонт, в своей поэзии, “стихийно-разрешенный”, настолько Бунин – строг, сосредоточен, вдумчив. У Бальмонта почти все – порыв, вдохновение, удача. Бунин берет мастерством, работой, сознательностью. По духу Бунин ближе всего к французским парнасцам, чуждым жизни и преданным своему искусству. Поэзия Бунина холодна, почти бесстрастна, но не лучше ли строгий холод, чем притворная страстность? Бунин понял особенности своего дарования, его ограниченность и, как кажется, предпочитает быть господином у себя, чем терпеть неудачи в чужих областях. Лучшие из стихотворений 1903–1906 гг., как и прежде, – картины природы: неба, земли, воды, леса, звериной жизни. В Бунине есть зоркая вдумчивость и мечтательная наблюдательность» [28. С. 331–332].

Следующий сборник в составе блоковского однотомника 1946 г. – это знаменитые «Стихи о Прекрасной Даме», которые и спустя сорок лет вызывают у Бунина недоумение, и он ставит сплошные вопросы на полях книги. Всего 55 знаков вопроса, а также комментарии: «Пошлое блудословие» и «Ахинея» [22. С. 37]. Ключевые свойства «поэтического мышления» Блока в этом цикле верно отмечены еще Брюсовым. Это жажда неземного, бесплотного, ожидание чуда, растворение реальности и перенесение действия в идеальный мир, а также язык иносказаний [29. С. 406]. Восторженные предчувствия встречи с неземной возлюбленной, знаки ее присутствия и скорого прихода, который преобразит землю, – вся эта лирическая мистика чужда Бунину, но не потому что он был жизнерадостный натуралист, позитивист и рационалист, не способный чувствовать тонкие материи. Ему присущ столь же высокий накал страстей и эмоций при столкновении с тайнами бытия, но его пантеистическое мировидение осуществлялось в чувственных, полнокровных образах, в словах, найденных вдумчиво и строго отобранных, а блоковские прозрения – в отвлеченно-абстрактных иносказаниях, в целенаправленно повторяемых сквозных словах-сигналах, которые перетекают из текста в текст, создавая единый символистский «сверхтекст». Приведем небольшую подборку повторяющихся с вариациями словосочетаний или контекстуальных синонимов из цикла

«Стихи о прекрасной Даме»: «вечерние тени», «сонмы нестройных видений», «сонмы могильных видений», «здешние виденья», «уплывающие тени», «прозрачные, неведомые тени», «сумрак алый», «алый сумрак», «сумрачная ночь», «дыханье сумрака», «сумрак зари», «вечереющий сумрак», «неизбежный сумрак», «сумрак непробудный», «призрачные сны», «сны земные», «прошедший сон», «нежный сон», спокойная мечта», «мечта былая», «грядущий день», «зов другой души», «далекий зов», «отзвук малый», «звучные песни», «вещие слова», «голоса миров иных», «ночная тайна», «таинственные страны», «тайный круг», «Таинственная Дева», «святая тайна» и т. д. Эта особенность повторения одних и тех же, однокоренных или синонимичных слов для построения сложного единства символистского «сверхтекста» была отмечена З.Г. Минц и подтолкнула ее к составлению «Частотного словаря цикла “Стихи о Прекрасной Даме”». В частности, лексемы «мечта» и «сердце» повторяются в нем Блоком 39 раз, а глагол «ждать» – 52 раза! Это самые частотные знаменательные слова цикла, чаще встречаются только местоимения [30. С. 568–679]. Но получается, что и Бунин заметил эту особенность, только оценил ее крайне негативно.

Множество маргиналий синим химическим карандашом сопровождают также помещенные в однотомнике блоковские примечания ко второму изданию «Стихов о Прекрасной Даме» 1911 г. и набросок предисловия к еще одному неосуществленному изданию этой книги. Бунин ставит знак вопроса напротив слов Блока о том, что в его книге «все внимание направлено на знаки, которые природа щедро давала слушавшим ее с верой» [22. С. 576]. Писатель как бы спрашивает: «Почему знаки, видимые ему одному, Блок представляет как исторический факт?» Напротив слов о том, что книга в новом издании увеличена вдвое, Бунин подписывает лаконично: «Графоман» [Там же]. Не оставляет его равнодушным и следующий пассаж, в котором сформулирован принцип блоковской иносказательности: «Эта книга, вначале обратившая на себя внимание небольшого кружка людей, умевших читать между строк, с течением времени стала, по видимому, достоянием читателей моих позднейших стихов» [Там же]. Подчеркнув слова «умевших читать между строк», Бунин пишет на полях: «Зачем же мне читать так?» [Там же]. Очевидно, блоковскую тайнопись он считал прихотью, пустой забавой. В предисловии к сборнику «Нечаянная радость» 1907 г. он подчеркивает фразу: «Ночи – снежные королевы – влечат свои шлейфы в брызгах звезд» и делает внизу сноску – «Помешан на снегах!» [Там же], фиксируя все тот же блоковский принцип варьирования сквозных поэтических образов-символов.

В замечаниях Бунина, касающихся туманности ранней лирики поэта-младосимволиста, можно выделить определенную позицию. Их нельзя отнести только на счет литературного и личного вкуса. Тепло относившаяся к молодому поэту З.Н. Гиппиус также отметила ряд недостатков его первой книги в рецензии, напечатанной в последнем номере журнала «Новый путь» в 1904 г. и подписанной псевдонимом «Х»: «Автор стихов о Прекрасной

Даме еще слишком туманен, он – безверен: самая мистическая неопределенность его не окончательно определена: но там, где в стихах его есть уклон к чистой эстетике и чистой мистике – стихи не художественны, неудачны, от них веет смертью. Страшно, что те именно мертвеннее, в которых автор самостоятельнее. Вся первая часть, – посвященная сплошь Прекрасной Даме, – гораздо лучше остальных частей. А в ней чувствуется несомненное – если не подражание Вл. Соловьеву, не его влияние – то все же тень Вл. Соловьева. Стихи без дамы – часто слабый, легкий бред, точно прозрачный кошмар, даже не страшный, и не очень неприятный, а просто едва существующий; та непонятность, которую и не хочется понимать» [31. С. 283]. Этот отзыв цитирует Г. Чулков, солидаризируясь с ним и отмечая, что «в нем была честная требовательность, справедливое желание подчинять неопределенность какому-то высшему смыслу» [32. С. 79–80]. Мы приводим в данной статье этот отрывок из рецензии З. Гиппиус, чтобы продемонстрировать примечательное совпадение ее характеристик слабых сторон блоковской лирики с бунинскими претензиями: непонятность, расплывчатость образов, схожесть некоторых текстов с фиксацией бреда из-за опускания логических связей. Г. Чулков также приводит в своих мемуарах интересное свидетельство о блоковском поэтическом принципе: «Так и Блок, даже впадая в парадоксальные крайности, всегда стремился освободиться от “смысла”. Он сам придумал иронический термин “священный идиотизм”» [Там же С. 86]. Именно этот «священный идиотизм» столь раздражал Бунина.

В дальнейшем эта черта, совмещение сна и яви, полувидения, полуреальности, будет отточена Блоком и породит сложную двуплановость «Незнакомки». Но Бунин так и не воспримет ее как новаторство. В плане реальности – вечер в загородном ресторане – писатель находит неточности, например, он комментирует упоминание сонных лакеев, которые торчат у соседних столиков: «У столиков они никогда не торчат» [22. С. 133]. А описание видения Незнакомки, символизирующей иное бытие («И веют древними поверьями / Ее упругие шелка, / И шляпа с траурными перьями, / И в кольцах узкая рука»), получает сноску: «Это годится для коробки с папиросами» [Там же]. «Где вся эта ерунда происходит?», – вопрошает озадаченный писатель, видимо, не припоминая по характерным приметам такого реального места в окрестностях Санкт-Петербурга [Там же]. Другие стихотворения цикла «Город» не вызвали у Бунина никакой реакции и не сопровождаются пометами, что само по себе показательно. Там, где Блок от мистических прозрений и ожиданий обращается к городской действительности, от иносказаний – к конкретным описаниям, он более привычен по стилю и понятен Бунину.

Противоречивые чувства вызвали у него также «Итальянские стихи» поэта. Первое стихотворение – «Равенна» – удостоилось редкой похвалы: «Хорошо» [Там же. С. 189]. И понятно, почему. Это спокойное, вдумчивое, рассудительное произведение, авторская эмоциональность в нем пропущена сквозь разум и приглушена анализом. Оно состоит из зрительных, четких образов (позолота мозаик на стенах прохладных базилик, своды гроб-

ниц, могила Теодориха, розы на городском валу, надписи на надгробных плитах, взоры равеннских девушек) и пронизано единой мыслью: тень славного прошлого этого места ощутима и поныне, но это только тень былого величия. Прочитаем заключительные четверостишия:

<...> Далёко отступило море,
И розы оцепили вал,
Чтоб спящий в гробе Теодорих
О буре жизни не мечтал.

А виноградные пустыни,
Дома и люди – всё гроба.
Лишь медь торжественной латыни
Поет на плитах, как труба.

Лишь в пристальном и тихом взоре
Равеннских девушек, порой,
Печаль о невозвратном море
Проходит робкой чередой.

Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет [22. С. 189].

И по мысли и по исполнению стихотворение вполне традиционно, классично и понятно без вчитывания. Положительная реакция Бунина свидетельствует, что он не был предубежден против Блока. Просто, читая его, он руководствовался не теми принципами, на которых строилась самая характерная блоковская лирика. Следом за «Равенной» идет стихотворение «Почиеет в мире Теодорих...», которое варьирует образы первого, но уже в символистской манере:

Почиеет в мире Теодорих,
И Дант не встанет с ложа сна.
Где прежде бушевало море,
Там – виноград и тишина.
В ласкающем и тихом взоре
Равеннских девушек – весна.

Здесь голос страсти невозможен,
Ответа нет моей мольбе!
О, как я пред тобой ничтожен!
Завидую твоей судьбе,
О, Галла! – страстию к тебе
Всегда взволнован и встревожен! [Там же]

В этом произведении существенно повышается градус эмоциональности, одна из местных святых, блаженная Галла, вызывает восторженное поклонение поэта. Если в «Равенне» нет ни одного восклицательного знака на девять четверостиший, то в этом тексте их уже четыре в двенадцати строках. И Бунин сразу же реагирует на такой всплеск эмоций: «Повторение» и «Актерство», – пишет он на полях [22. С. 189]. Видимо, почитание святой Галлы показалось ему наигранным и фальшивым. Столь же эмоциональное и восторженное «Девушка из Spoleto» снова осуждается им в целом как не в меру поэтичное «словоблудие» [Там же. С. 190], а начальные строки («Строен твой стан, как церковные свечи. / Взор твой – мечами пронзающий взор») получают подпись: «Глупо! Противно» [Там же. С. 189]. Четыре стихотворения из цикла «Флоренция» получают характеристику «Плохо», одно («Умри, Флоренция, Иуда...») – «плохая декламация», видимо, за то, что оно напоминает призывное скандирование по интонации и ритму [Там же. С. 191]. Два произведения из этого цикла («Окна ложные на небе черном...» и «Голубоватым дымом...») напомнили пожилому писателю эстрадные песенки А. Вертинского, произведения «Флоренция, ты ирис нежный...» и «Сиена» – К. Бальмонта [Там же]. Такие переклички являются для Бунина доказательством низкой художественности и несамостоятельности. Посвященные Деве Марии стихотворения «Благовещение» и «Глаза, опущенные скромно...», пронизанные эротическими мотивами, порицаются строгим критиком: «Фу!» и «Нехорошо, молодой человек!» – отчитывает он символиста, написавшего кощунственные, с его точки зрения, строки [Там же. С. 194]. Стихотворение «Успение», идущее следом, определяется как «блудословие» [Там же]. В конце цикла «Итальянские стихи» следует общий вывод: «Что-то неплохо, но без усилия не сразу поймешь» [Там же. С. 195].

Поэма «Соловьиный сад» также вызывает у Бунина много мысленных вопросов, которые он фиксирует знаками на полях, а после финала, когда герой возвращается из заколдованного сада, следует вывод: «Непонятная история» [Там же. С. 224]. Вероятно, сказочный сюжет поэмы был понят Буниным в буквальном смысле слова (что произошло с героем), но осталось неясным, что хотел сказать всей этой историей автор, потому что никакого заключения Блок в конце не делает, оставляя читателю право и возможность дать свое толкование.

Очевидно, что принципы, введенные еще французскими символистами (расчет на читательское усилие в постижении поэтического текста и право лирики быть непонятным, таинственным языком посвященных), отвергаются Буниным и признаются свойствами плохой поэзии, так же как и многословные описания одних и тех же душевных порывов. В свою очередь, и Брюсов и Блок упрекают Бунина в резонерстве, морализаторстве, излишней прямоте его поэтической речи, приводящей к прозаизации стиха, описательности и невыраженности лирического «я» [10. С. 41–53; 28. С. 331–332]. Налицо две конкурирующие струи в поэзии Серебряного века: словесный аскетизм, прямота и практически отказ от лирического героя (ли-

ния Баратынского – Тютчева) и, наоборот, иносказательность, порой многословность и максимизация лирического «я» (линия Лермонтова – Вл. Соловьева). Хорошо сформулировал суть бунинского подхода к творчеству и противопоставил его другому обозначенному нами подходу Г.И. Чулков в рецензии на «Листопад»: «Иван Бунин знает, что значит мастерство, и любит его. Он бережно лелеет слова и не расточает случайных эпитетов, натянутых сравнений и фальшивых образов. Сухость и сдержанность лучше пышности, не оправданной основной темой. Иные современные повествователи, начитавшиеся Бальмонта и переведенного на русский язык Пшибышевского, вообразили, что тайна творчества – в нанизывании неврастенических эпитетов и в истерическом стиле. Но брильянты Бальмонта и Пшибышевского они заменили стеклом, и лишь плохие ювелиры не отличат этого фальшивого блеска от живой игры настоящих камней» [33. С. 3]. Итак, и тот и другой принцип могут давать прекрасные образцы подлинной поэзии в руках мастера, и нельзя отдать предпочтение какому-то одному. Но Бунин отказался признать эстетические возможности иной поэтической речи, не отделяя фальшивых камней от подлинных бриллиантов. Мистическая лирика Блока для него как раз и является перечислением «неврастенических эпитетов», одобренным истерической восторженностью. Произошло это в силу того, как мы уже писали выше, что за новым способом создания поэзии для него стояло иное, отвергаемое понимание соотношения «жизнь – искусство».

Подборка «Разные стихотворения» в составе однотомника 1946 г. особенно не понравилась Бунину. Он снова упрекает Блока в нанизывании слов, риторичности, а по сути, в содержательной пустоте. Например, стихотворение «Ты так светла, как снег невинный...» 1909 г. имеет на полях маргиналию: «Завитки! Слова, слова» [22. С. 196]. Процитируем его полностью, так как оно показательное для поэтических принципов Блока:

Ты так светла, как снег невинный.
Ты так бела, как дальний храм.
Не верю этой ночи длинной
И безысходным вечерам.

Своей душе, давно усталой,
Я тоже верить не хочу.
Быть может, путник запоздалый,
В твой тихий терем постучу.

За те погибельные муки
Неверного сама простишь,
Изменнику протянешь руки,
Весной далекой наградишь [Там же].

Вероятно, Бунину чужд был принцип максимальной деконкретизации лирической ситуации в этом произведении: кто «она» и кто «он» не прояснено. Читатель вправе сам толковать подобное стихотворение. Быть мо-

жет, «она», к которой обращен весь текст, – это некая реальная возлюбленная или вымышленный образ, а может быть, мечта, идеал, вера. Такая размытость сознательно задается Блоком и позволяет ему создать символистский текст, реалии и герои которого имеют множество проекций. Все стихотворение описывает ситуацию встречи, происходящую в ином мире, в потусторонней реальности. По словам Р.С. Спивак: «Сюжетная ситуация в произведениях Блока мало конкретизирована, что способствует ее “расширительному” прочтению, актуализации ее нравственно-философского плана» [11. С. 277]. Но Бунину кажется, что реальная смысловая глубина блоковской лирики не соответствует заявляемому, размытость скрывает глупость. В своем дневнике осенью 1922 г. он делает запись: «Читаю Блока – какой утомительный, нудный, однообразный вздор, пошлый своей высокопарностью и какой-то кощунственный. <...> Да, таинственность, все какие-то “намеки темные на то, чего не ведают никто” – таинственность жулика или сумасшедшего. Пробивается же через все это мычанье нечто, в конце концов, оч^{чень} незамысловатое» [5. С. 95]. Тем не менее всю жизнь Бунин кропотливо вчитывался в «утомительный, нудный, однообразный вздор» Блока.

Но там, где младший современник прямо, не иносказательно, не таинственно выражает свои чувства и разочарования, прощается с заблуждениями юности, излагает выстраданные взгляды на жизнь, Бунину становится неинтересно его читать. Помета «Скучно!» сопровождает стихотворение «Благословляю все, что было...» [22. С. 198]; «Скучное словоблудие» – стихотворение «Художник» [Там же. С. 200]; «Графоман» – исповедальное стихотворение «И вновь – порывы юных лет...» [Там же. С. 200]; «Ахинея» – сюжетную стихотворную пьесу «Женщина» [Там же. С. 201]. Особенно резкие высказывания сопровождают стихотворное послание «Вячеславу Иванову», в котором Блок любовно создает образ старшего современника: поэта-пророка, провидца, мага и учителя. Напротив характеристики Вяч. Иванова Бунин оставляет свою – «Словесная блядь!», а по поводу почтительно-восторженного отношения Блока к нему самому восклицает: «Какой болван!» [Там же. С. 199].

Но одно произведение из этого раздела – «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...» – вызывает неподдельный интерес и оказывается созвучно его душе. Это стихотворение рассказывает о прибытии четырех военных кораблей в какую-то «сонную бухту» с зеленой стоячей водой. Вместе с иноземными кораблями и у лирического героя возникает ощущение иной, яркой, необычной, далекой жизни. Но у чуткого к мирозданию художника это чувство неповторимости и загадочности бытия может быть вызвано и самой малостью, «пылинкой дальних стран», найденной «на ноже карманном». Страстный путешественник, вечно ищущий разгадку таинственной прелести жизни, Бунин отмечает отчерком сбоку и двумя восклицательными знаками последнее четверостишие, выделяя еще подчеркиванием лексемы «пылинку» и «туман»:

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран –
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман! [22. С. 198].

Но такие попадания Блока в буниноское чувство жизни достаточно редки. Целому разделу «Стихотворения, не включенные в основной список» Бунин дает уничижительную заключительную характеристику: «Весь этот отдел (стр. 280–299) никуда – косноязычная чепуха, соверш<енно> непонятная (кроме переводов из Гейне)» [Там же. С. 299]. Данный вывод, очевидно, излишне критичен и придирчив. Общий стиль буниноских помет язвителен, даже порой груб. Возможно, они были, как предположила Т.В. Марченко, намеренно эпатажны, рассчитаны на чужое прочтение, оставлены для суда потомков. Тем не менее определенная внутренняя логика и закономерность в его оценках присутствует.

Пометы на стихотворении «Скифы» и поэме «Двенадцать» говорят о существенном изменении отношения писателя к этим произведениям эпохи революции и Гражданской войны. Отсутствуют гневные отклики, практически нет знаков вопроса, а множество восклицательных знаков напротив отдельных строк свидетельствуют о том, что после отгремевшей Второй мировой войны Бунин иначе стал смотреть на мысли младшего современника относительно Первой мировой войны и русской революции. Известно, что в свое время он не признавал никаких попыток Блока и других деятелей русской культуры осмыслить происходящее с точки зрения каких-либо мировых закономерностей, как звено в цепи исторических событий. Все случившееся с Россией было для него скоротечной социально-исторической катастрофой, поэтому любые рассуждения о Востоке и Западе, скифах, гуннах и европейцах, о противостоянии народов, классов и т. д. воспринимались им как мудрствование от лукавого, словесные витийства отрешенных от жизни идеологов. Свои мысли Бунин фиксирует в «Окаянных днях»: «“Блок слышит Россию и революцию, как ветер...” О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем <...> Да, мы надо всем, даже и над тем несказанным, что творится сейчас, мудрим, философствуем. <...> Ведь вот и до сих пор спорим, например, о Блоке: впрямь его ярыги, убившие уличную девку, суть апостолы или все-таки не совсем? Михрютка, дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно гунн, скиф, и мы вполне утешаемся, налепив на него этот ярлык» [34. С. 81, 123].

Обратим внимание на излюбленную Буниным лексему «словоблуды» в приведенном отрывке. Она часто встречается и на полях анализируемого одномомника Блока, позволяя идентифицировать буниноские маргиналии. Но именно по отношению к идейному содержанию стихотворения «Скифы» он ее в 1946 г. не использует. Более того, писатель выделяет жирным восклицательным знаком двустийшие: «И день придет – не будет и следа / От ваших Пестумов, быть может!» [22. С. 262], явно проецируя эти пророческие слова на последствия Второй мировой войны, почти сравнявшей с

землей многие города Европы. Некоторые четверостишия вызывают у Бунина вопросы: «А если нет, – нам нечего терять, / И нам доступно вероломство! / Века, века – вас будет проклинать / Больное позднее потомство»; «Не сдвинемся, когда свирепый Гунн / В карманах трупов будет шарить, / Жечь города, и в церковь гнать табун, / И мясо белых братьев жарить!...» [22. С. 262]. В первом случае ему, видимо, был неясен переход мысли от потенциального вероломства России к больному позднему потомству европейцев. Идея, наваянная, очевидно, теорией вырождения М. Нордау, но слишком лаконично изложенная. А во втором случае Бунин, хорошо знакомый с культурой Востока, вероятно, не мог взять в толк, почему азиата (китайца? японца?) Блок изображает в виде какого-то свирепого первобытного каннибала. В целом можно сделать вывод, что, несмотря на мелкие придирки, стихотворение «Скифы» иначе, спокойнее, воспринимается им в 1946 г., нежели в 1918-м.

Поэма «Двенадцать» не сопровождается какими-либо словесными комментариями, даже финальные строки про Христа в венчике из роз, столь возмущавшие всех русских интеллигентов, не принявших Октябрьский переворот. Бунин подчеркивает только некоторые места, где Блок вводит в литературный язык просторечные, разговорные, грубоватые слова: «Ах, ты, Катя, моя Катя / Толстоморденькая...» [Там же. С. 259]; «Аль не вспомнила, холера? / Али память не свежа? / Эх, эх, освежи, / Спать с собою положи!» [Там же], «Ночки черные, хмельные / С этой девкой проводил...» [Там же], «Запирайте этажи, / Нынче будут грабежи!» [Там же. С. 260]; «– Ох, пурга какая, спасе! / – Петька! Эй, не завирайся!» [Там же]. Можно предположить, что такое новаторство и вольность в стихе ему не импонировали. Выделяет он скобкой сбоку и шесть строк, в которых мир старой царской России сравнивается с шелудивым псом, видимо, как слишком резкие:

...Только нищий пес голодный
Ковыляет позади...

– Отвяжись, ты, шелудивый,
Я штыком пощекочу!
Старый мир, как пес паршивый,
Провались – поколочу! [Там же. С. 261].

В целом пометы на «Скифах» и «Двенадцати» можно охарактеризовать как очень сдержанные для писателя, никогда не стеснявшегося высказываться в самых хлестких выражениях. Напомним, что в 1918 г. он характеризовал в своей рецензии это произведение как «нарочито хамские, кощунствующие именем Христа и Его Двенадцати Сподвижников вирши Блока!» [35. С. 22].

Интересно соотношение маргиналий на поэме «Возмездие». Сам текст не содержит ни одной пометы. Ни восторга, ни раздражения это произведение у Бунина, по всей видимости, не вызвало. И по форме и по содержа-

нию незавершенная поэма Блока одна из самых традиционных и реалистических его вещей. Отсутствие туманности и многозначности его символистских текстов обусловило, возможно, ее принятие Буниным. Но вот предисловие 1919 г. испещрено знаками вопроса и восклицаниями и содержит общий негативный комментарий: «Пьяный сумбур» [22. С. 240]. Возмущение Бунина относится к попыткам Блока постфактум, уже после разразившейся революции, представить задуманное и написанное им в 1910–1911 гг. как наполненное пророческими предчувствиями и предзнаменованиями, а также увидеть взаимосвязи между столь разными вещами как увлечение публики и самого автора авиацией и французской борьбой, с одной стороны, а с другой – стихотворным ямбом, «музыкальным напором» фактов и грядущими военно-историческими событиями. Хотя тема смены поколений, взаимоотношений отца и сына, мотивы деградации дворянского рода и возникновения особого типа человека эпохи «конца века» Бунина явно интересуют. Мы уже писали выше, что схожий круг проблем очерчен им в повести «Суходол». Напротив абзаца, содержащего описание образа отца, он подписывает: «Отец», а рядом с характеристикой сына – «Сын» [Там же. С. 241] и ставит восклицательный знак.

Мы не ставили своей целью описать каждую маргиналию Бунина на одномомнике Блока 1946 г. в рамках данной статьи. Это было бы утомительно для читателя. Многие комментарии повторяются, а некоторые маргиналии представляют собой такие читательские пометы, которые сложно истолковать в плане отношения Бунина к тому слову, строке или строфе, которые он выделяет. Тем не менее проанализированные пометы дают представление о той работе, которую он провел, читая Блока, а также о восприятии им его творчества в зрелые годы. Представляется возможным утверждать, что не идейное содержание лирики, драм и прозы поэта-символиста, не его отношение к истории, «социальным сдвигам» или склад личности, а сам способ изложения, «структура поэтического мышления» были неприемлемы для Бунина как в молодости, так и в старости. Не мистицизм вообще, как выход за грань материальной реальности, отвергается Буниным, а то, как он выражен (туманность, намеки, деконкретизация, абстрагирование). Читая только одни стихи Блока вне контекста учения Вл. Соловьева реконструировать идейный комплекс Софии – Вечной Женственности весьма затруднительно. Подобное чтение поэзии, требующее философского или теоретического базиса и умения «читать между строк», отрицалось им в принципе. Многочисленные знаки вопроса на полях «Стихов о Прекрасной Даме» не означают, что Бунин так и не понял под конец жизни, о чем же это написано. С его точки зрения, так *нельзя писать*.

Бунин на склоне лет не порицает Блока за пессимизм, отсутствие «радости жизни» или приверженность каким-то конкретным теориям. Нет оснований полагать, что его отталкивали блоковская «неуспокоенность», тревожность или иное состояние духа, отличное от душевного здоровья, а также *«трагическая обнаженность лирической темы»*, как полагал Л.К. Долгополов. Основные упреки сводятся к непонятности стиха и игре

словами. Обвинение в непонятности следует понимать не как недогадливость Бунина, не умеющего читать поэзию, а как отсутствие для него окончательной ясности, одного-единственно верного итогового вывода, мысли, идеи. От этой итоговой завершенности и однозначности Блок уходил сознательно, а Бунин столь же упорно к ней стремился. В свою очередь, символисты и позднее акмеисты упрекали его в приписывании стихам авторского резюме, в чрезмерной доступности мысли, делающей ее плоской. Так, Брюсов, читая бунинский сборник 1902 г. «Новые стихотворения», оставляет на полях помету: «Чтобы стих его не лишен был мысли, он ее приставляет к концу стихотворения» [27. С. 141]. Н. Гумилев в 1910 г. пишет о бунинской поэзии в рецензии на шестой том его Собрания сочинений следующее: «Вот почему стихи Бунина, как и других эпигонов натурализма, надо считать подделками, прежде всего потому, что они скучны, не гипнотизируют. В них все понятно и ничего не прекрасно. Читая стихи Бунина, кажется, что читаешь прозу» [36. С. 112]. Как следует из рецензии Блока, для него невыносима однообразная риторика Бунина, его «наклонность к морализированию» и «отсутствие тех мятежных исканий, которые вселяют тревожное разнообразие в книги “символистов”» [10. С. 47]. По словам Т.В. Марченко: «Бунинские сюжеты и образы вовсе не кажутся Блоку плоскими и неинтересными – ему неинтересны лирические медитации Бунина, менторская завершенность любой поэтической мысли, превращение поэтических находок в глянцевые картинки» [8. С. 46]. Суть претензий поэтов-модернистов сводится к прозаической прямоте лирического самовыражения старшего современника, не оставляющей места для потаенной, с усилием постигаемой глубины. Хотя отметим, что сам Гумилев с 1910 г. начинает двигаться в сторону прямого поэтического слова, большей конкретности и реалистической точности.

Бунин для модернистов не поэт, потому что не создает в лирике иной, альтернативный мир, а следует за фактами и явлениями земного бытия, созерцание которого, даже «умными глазами», для них недостаточное условие поэтического творчества. Для Бунина же «иные миры» символистов – не искусство, а бред, болезненные фантазии, которые бессмысленны, так как понятны они, в силу особого, зашифрованного, иносказательного способа выражения, только их создателю и узкому кругу приближенных к нему людей. Поэтому все «мистические» произведения Блока («*Ante Lucem*», «Стихи о прекрасной Даме», стихотворение и пьеса «Незнакомка» и др.) им отвергаются как в начале XX в., так и в его середине. Применительно к художественной форме Бунин остается верен своему эстетическому поэтическому кредо. Блоковскому принципу варьирования ключевых слов-символов и максимальной деконкретизации образов и ситуаций, их растворению в словесной ткани целого цикла или сборника, который маркируется Буниным как «словоблудие», он, в свою очередь, противопоставляет принцип точного, аскетичного, прямого слова, завершенности и самодостаточности каждой поэтической пьесы самой по себе, вне связи с другими произведениями. Искусству, направленному на создание иного

мира, противопоставляется искусство, постигающее мир реальный, но как бы проясняющее, заостряющее его. Следует при этом отметить смягчение оценок революционных вещей Блока. Возможно, в 1946 г. под влиянием сокрушительной победы СССР над фашизмом Бунин был готов отчасти согласиться с размышлениями младшего современника о стихийно-народных и культурно-исторических корнях русской революции 1917 г.

Оба поэта пришли к подлинной поэзии разными путями и не смогли в полной мере понять друг друга. Тем не менее, вглядываясь в чуждые творческие миры, они обогащали свой собственный лирический опыт и мастерство.

Литература

1. Долгополов Л.К. Судьба Бунина // Долгополов Л.К. На рубеже веков: О русской литературе конца XIX – начала XX века. Л. : Сов. писатель, 1985. С. 261–319.
2. Бунин И.А. Собрание сочинений : в 9 т. М. : Худож. лит., 1967. Т. 9. 622 с.
3. Литературное наследство. М. : Наука, 1973. Т. 84, кн. 1. 696 с.
4. «Литература последних годов – не прогрессивное, а регрессивное явление во всех отношениях...»: Иван Бунин в русской периодической печати (1902–1917) / предисл., подгот. текста и примеч. Д. Риникера // И.А. Бунин: Новые материалы. Вып. 1 / сост., ред. О. Коростелева и Р. Дэвиса. М. : Русский путь, 2004. С. 402–563.
5. Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны : в 3 т. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1981. Т. 2. 319 с.
6. Люкевич В.В. Блоковский интертекст в повести Ив. Бунина «Митина любовь» // Словесное искусство Серебряного века и русского зарубежья в контексте эпохи : сб. ст. М., 2015. С. 161–169.
7. Кузнецова Г.Н. Грасский дневник. Рассказы. Оливковый сад / под ред. А.К. Бабореко. М. : Московский рабочий, 1995. 410 с.
8. Марченко Т.В. «...Мало бунинской атмосферы, нужна и блоковская»: Поэма А.А. Блока «Двенадцать» в художественном сознании И.А. Бунина // Ежегодник Дома русского зарубежья имени А. Солженицына, 2011. М., 2011. С. 45–73.
9. Смирнов С.В. Бунинские обращения к Блоку // Александр Блок и мировая культура: материалы науч. конф., 14–17 марта 2000 г. / сост. Т.В. Игошева. Новгород, 2000. С. 264–268.
10. Блок А. О лирике // Золотое руно. 1907. № 6. С. 45–47.
11. Спивак Р.С. Русская философская лирика. 1910-е годы. И. Бунин, А. Блок, В. Маяковский. М. : Флинта : Наука, 2005. 407 с.
12. Владимиров О.Н. Бунин-поэт: Логика творчества. Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2016.
13. Дякина А.А. Иван Алексеевич читает Александра Александровича // Учительская газета. 1992. 6 мая. № 15. С. 7.
14. Дякина А.А. И. Бунин и А. Блок: соотношение творческих индивидуальностей поэтов : дис. ... канд. филол. наук. М., 1992. 299 с.
15. Смирнова Л.А. Блок и его связи с русской литературой начала XX в. // Художественный мир Александра Блока : сб. науч. тр. М., 1982. С. 3–12.
16. Бакунцев А.В. «В газетах – Блок, Блок, Блок...»: Отклик И.А. Бунина на смерть А.А. Блока // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. 2015. № 3. С. 100–114.
17. Галай К.Н. И.А. Бунин и писатели-модернисты // Итоги и перспективы научных исследований : сб. науч. тр. Краснодар, 2014. С. 59–68.
18. Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870–1953. М. : Посев, 1994. 432 с.
19. Двинятина Т.М. Иван Бунин: жизнь и поэзия // Бунин И.А. Стихотворения : в 2 т. СПб., 2014. Т. 1. С. 5–97.

20. *Переписка* И.А. Бунина и П.М. Бицилли (1931–1951) / вступ. ст. Т. Двинятиной ; публ. Т. Двинятиной и Р. Дэвиса // И.А. Бунин: Новые материалы. Вып. 2 / сост., ред. О. Коростелев и Р. Дэвис. М., 2010. С. 109–178.
21. *Михайлов О.Н.* Иван Алексеевич Бунин (1870–1938) // Михайлов О.Н. Литература русского зарубежья. М., 1995. С. 100–169.
22. *Блок А.А.* Сочинения в одном томе: Стихотворения. Поэмы. Театр. Статьи и речи. Письма / ред., вступ. ст. и примеч. Вл. Орлова. М. ; Л. : Гослитиздат, 1946. XXIV, 662 с. ОГЛМТ. Ф. 14. Ед. хр. 17319 оф.
23. *Степун Ф.А.* Иван Бунин // Степун Ф.А. Встречи. М., 1998. С. 78–99.
24. *Брюсов В.Я.* Владимир Соловьев: Смысл его поэзии // Собр. соч. : в 2 т. М., 1987. Т. 2. С. 242–255.
25. *Блок А.А.* Письма о поэзии. 4. Стихи Бунина // Золотое руно. 1908. № 10. С. 48–50.
26. *Гольдин С.Г.* К вопросу о литературных связях В. Брюсова и И. Бунина // Брюсовские чтения 1962 года. Ереван, 1963. С. 173–174.
27. *Цебоева М.П.* В. Брюсов о поэзии И. Бунина // Брюсовские чтения 1980 года. Ереван, 1983. С. 138–150.
28. *Брюсов В.Я.* Ив. Бунин // Собр. соч. : в 2 т. М., 1987. Т. 2. С. 331–333.
29. *Брюсов В.Я.* Александр Блок // Собр. соч. : в 2 т. М., 1987. Т. 2. С. 404–417.
30. *Миц З.Г.* Частотный словарь «Стихов о Прекрасной Даме» Ал. Блока и некоторые замечания о структуре цикла // Миц З.Г. Поэтика Александра Блока. СПб., 1999. С. 568–679.
31. *Х. [Гиппиус З.Н.]* Литературные заметки. Стихи о Прекрасной Даме // Новый путь. 1904. № 12. С. 271–284.
32. *Чулков Г.* Александр Блок // Чулков Г. Годы странствий. М., 1999. С. 73–87.
33. *Чулков Г.И.* Листопад // Слово. 1908. 17 авг. № 538. С. 3.
34. *Бунин И.А.* Собрание сочинений : в 11 т. Берлин : Петрополис, 1935. Т. 10. 255 с.
35. *Бунин И.А.* Страшные контрасты // Бунин И.А. Публицистика 1918–1953 годов / под общ. ред. О.Н. Михайлова. М., 1998. С. 22–23.
36. *Гумилев Н.С.* Письма о русской поэзии. М. : Современник, 1990. 384 с.

The Poetic Principles of Ivan Bunin and Alexander Blok (On the Material of Bunin's Marginalia on Blok's One-Volume Book of 1946)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2019. 58. 196–224. DOI: 10.17223/19986645/58/12

Oleg A. Korostelev, Ekaterina V. Kuznetsova, A.M. Gorky Institute of World Literature of Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: okorostelev@mail.ru / katkuzl@mail.ru

Keywords: I.A. Bunin, A.A. Blok, symbolism, modernism, lyrics, Russian abroad.

Creative relations between two prominent Russian writers of the modernist era, Ivan Bunin and Alexander Blok, are an interesting, important and still incomplete research problem that allows to clarify the different ways of Russian lyrics development in the first half of the twentieth century.

The aim of the article is to analyze the numerous marginal notes of Ivan Bunin on a single-volume edition of Alexander Blok [22]. The archive copy of this publication from the personal library of the writer is currently stored in the Fund of the United Literary Museum n.a. I.S. Turgenev in Orel. This archival material is a new and valuable addition to the picture of the relationship between the two contemporary authors, and also makes it possible to trace the evolution of Bunin's views on a number of Blok's revolutionary works.

The analysis of Bunin's notes helps to prove the assumption of a different understanding of the two authors of poetic imagery, differences in the "structure of poetic thinking" that a number of researchers (A.A. Dyakina, L.A. Smirnova, A.V. Bakuntsev, K.N. Galai,

T.M. Dvinyatina, etc.) expressed. Bunin's marginal notes do not allow to agree with some conclusions of L.K. Dolgoplov and S.V. Smirnov concerning the reasons of his hostile attitude to Blok which are based on the assessment of his political and social position, characters and writer's strategy.

The study is based on the comparison of the content and figurative structure of Blok's poems that Bunin made notes of with his views on poetry expressed in his speeches, oral conversations, letters, diaries, as well as with the analysis of his own works by both his contemporaries (poets, critics, philosophers) and literary scholars of the second half of the 20th – early 21st centuries. Bunin's oral commentaries on Blok's separate works and whole cycles are compared with the modern philological interpretation of the style of the writer's poetry, drama and journalism.

The analysis shows that the fundamental differences between the two poets do not relate to social views, opposite psychological types or attitude to historical changes, but to the aesthetic sphere, to the principles of building a lyrical world and a literary image, to operating with a poetic dictionary that results from the idea of the relationship between life and art. Neither the mysticism of the early Blok as such nor his Bolshevism of 1918–1921 causes Bunin's rejection of his works but the particular way of creating the allegorical symbolist "overtext" based on a variation of key words and symbols and a maximum deconcretization of images and lyric situations.

References

1. Dolgoplov, L.K. (1985) *Na rubezhe vekov: O russkoy literature kontsa XIX – nachala XX veka* [At the turn of the century: On Russian literature of the late 19th – early 20th centuries]. Leningrad: Sov. pisatel'. pp. 261–319.
2. Bunin, I.A. (1967) *Sobranie sochineniy: v 9 t.* [Collected Works: in 9 vols]. Vol. 9. Moscow: Khudozh. lit.
3. Dubovikov, A.N. & Makashin, S.A. (eds) (1973) *Literaturnoe nasledstvo* [Literary heritage]. Vol. 84. Book 1. Moscow: Nauka.
4. Riniker, D. (2004) "Literatura poslednikh godov – ne progressivnoe, a regressivnoe yavlenie vo vsehk otnosheniyakh...": Ivan Bunin v russkoy periodicheskoy pechati (1902–1917) ["The literature of recent years is not a progressive, but a regressive phenomenon in all respects . . .": Ivan Bunin in the Russian periodical press (1902–1917)]. In: Korosteleva, O. & Devis, R. (eds) *I.A. Bunin: Novye materialy* [I.A. Bunin: New materials]. Is. 1. Moscow: Russkiy put'.
5. Grin, M. (ed.) (1981) *Ustami Buninykh: Dnevnik Ivana Alekseevicha i Very Nikolaevny: v 3 t.* [Through the mouths of the Bunins: The Diaries of Ivan Alekseevich and Vera Nikolaevna: in 3 vols]. Vol. 2. Frankfurt: Posev.
6. Lyukevich, V.V. (2015) [Blok's intertext in the story of I. Bunin's "Mitya's Love"]. *Slovesnoe iskusstvo Serebryanogo veka i russkogo zarubezh'ya v kontekste epokhi* [Verbal art of the Silver Age and the Russian abroad in the context of the epoch]. Conference Proceedings. Moscow: Moscow State Regional University. pp. 161–169. (In Russian).
7. Kuznetsova, G.N. (1995) *Grasskiy dnevnik. Rasskazy. Olivkovyy sad* [Grass diary. Short stories. Olive Garden]. Moscow: Moskovskiy rabochiy.
8. Marchenko, T.V. (2011) "...Malo buninskoy atmosfery, nuzhna i blokovskaya": Poema A.A. Bloka "Dvenadtsat'" v khudozhestvennom soznanii I.A. Bunina ["There is little of Bunin's atmosphere, we also need Blok's one": A.A. Blok's "The Twelve" in the artistic consciousness of I.A. Bunin]. In: Gritsenko, N.F. (ed.) *Ezhegodnik Doma russkogo zarubezh'ya imeni A. Solzhenitsyna, 2011* [Yearbook of the House of the Russian Abroad named after A. Solzhenitsyn, 2011]. Moscow: Dom Russkogo Zarubezh'ya Imeni Aleksandra Solzhenitsyna.
9. Smirnov, S.V. (2000) [Bunin's addresses to Blok]. *Aleksandr Blok i mirovaya kul'tura* [Alexander Blok and world culture]. Conference Proceedings. 14–17 March 2000. Novgorod: Novgorod State University. pp. 264–268. (In Russian).

10. Blok, A. (1907) O lirike [On the lyrics]. *Zolotoe runo*. 6. pp. 45–47.
11. Spivak, R.S. (2005) *Russkaya filosofskaya lirika. 1910-e gody. I. Bunin, A. Blok, V. Mayakovskiy* [Russian philosophical lyrics. 1910s. I. Bunin, A. Blok, V. Mayakovsky]. Moscow: Flinta: Nauka.
12. Vladimirov, O.N. (2016) *Bunin-poet: Logika tvorchestva* [Bunin the poet: The logic of creativity]. Barnaul: Altai State University.
13. Dyakina, A.A. (1992) Ivan Alekseevich chitaet Aleksandra Aleksandrovicha [Ivan Alekseevich reads Alexander Alexandrovich]. *Uchitel'skaya gazeta*. 6 May. 15. pp. 7.
14. Dyakina, A.A. (1992) *I. Bunin i A. Blok: sootnoshenie tvorcheskikh individual'nostey poetov* [I. Bunin and A. Blok: the correlation of the creative individualities of the poets]. Philology Cand. Diss. Moscow.
15. Smirnova, L.A. (1982) Blok i ego svyazi s russkoy literaturoy nachala XX v. [Blok and his connections with Russian literature at the beginning of the 20th century]. In: Smirnova, L.A. (ed.) *Khudozhestvennyy mir Aleksandra Bloka* [The art world of Alexander Blok]. Moscow: MRPI.
16. Bakuntsev, A.V. (2015) ““In the Newspapers There is Blok, Blok, Blok...” I.A. Bunin's reaction to the Death of A.A. Blok”. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10. Zhurnalistsika – Vestnik Moskovskogo universiteta. Series 10. Journalism*. 3. pp. 100–114. (In Russian).
17. Galay, K.N. (2014) I.A. Bunin i pisateli-modernisty [I.A. Bunin and modern writers]. *Itogi i perspektivy nauchnykh issledovaniy* [Results and prospects of scientific research]. Conference Proceedings. Krasnodar. pp. 59–68. (In Russian).
18. Mal'tsev, Yu. (1994) *Ivan Bunin. 1870–1953* [Ivan Bunin. 1870–1953]. Moscow: Posev.
19. Dvinyatina, T.M. (2014) Ivan Bunin: zhizn' i poeziya [Ivan Bunin: Life and Poetry]. In: Bunin, I.A. *Stikhotvoreniya: v 2 t.* [Poems: in 2 vols]. Vol. 1. St. Petersburg: Vita nova.
20. Dvinyatina, T. & Devis, R. (2010) Perepiska I.A. Bunina i P.M. Bitsilli (1931–1951) [Correspondence between I.A. Bunin and P.M. Bitsilli (1931–1951)]. In: Korosteleva, O. & Devis, R. (eds) *I.A. Bunin: Novye materialy* [I.A. Bunin: New materials]. Is. 2. Moscow: Russkiy put'. pp. 109–178.
21. Mikhaylov, O.N. (1995) *Literatura russkogo zarubezh'ya* [Literature of the Russian abroad]. Moscow: Prosveshchenie. pp. 100–169.
22. UGLMT, Fund 14, MS 17319. Blok, A.A. (1946) *Sochineniya v odnom tome: Stikhotvoreniya. Poemy. Teatr. Stat'i i rechi. Pis'ma* [Works in one volume: Verses. Poems Theater. Articles and speeches. Letters]. Moscow; Leningrad: Goslitzdat.
23. Stepun, F.A. (1998) *Vstrechi* [Meetings]. Moscow: Agraf. pp. 78–99.
24. Bryusov, V.Ya. (1987) *Sobr. soch.: v 2 t.* [Collected Works: in 2 vols]. Vol. 2. Moscow: Khud. lit. pp. 242–255.
25. Blok, A.A. (1908) Pis'ma o poezii. 4. Stikhi Bunina [Letters about poetry. 4. Poems of Bunin]. *Zolotoe runo*. 10. pp. 48–50.
26. Gol'din, S.G. (1963) K voprosu o literaturnykh svyazyakh V. Bryusova i I. Bunina [On the literary connections of V. Bryusov and I. Bunin]. In: *Bryusovskie chteniya 1962 goda* [Bryusov readings 1962]. Erevan: Armyanskoe Gosudarstvennoe izdatel'stvo. pp. 173–174.
27. Tseboeva, M.P. (1983) V. Bryusov o poezii I. Bunina [V. Bryusov on the poetry of I. Bunin]. In: *Bryusovskie chteniya 1980 goda* [Bryusov readings 1980]. Erevan: Armyanskoe Gosudarstvennoe izdatel'stvo. pp. 138–150.
28. Bryusov, V.Ya. (1987) *Sobr. soch.: v 2 t.* [Collected Works: in 2 vols]. Vol. 2. Moscow: Khud. lit. pp. 331–333.
29. Bryusov, V.Ya. (1987) *Sobr. soch.: v 2 t.* [Collected Works: in 2 vols]. Vol. 2. Moscow: Khud. lit. pp. 404–417.
30. Mints, Z.G. (1999) *Poetika Aleksandra Bloka* [Poetics of Alexander Blok]. St. Petersburg: Iskusstvo_SPB. pp. 568–679.

31. Kh. [Gippius, Z.N.] (1904) Literaturnye zametki. Stikhi o Prekrasnoy Dame [Literary notes. Poems about a Beautiful Lady]. *Novyy put'*. 12. pp. 271–284.
32. Chulkov, G. (1999) *Gody stranstviy* [Years of wandering]. Moscow: Ellis Lak. pp. 73–87.
33. Chulkov, G.I. (1908) Listopad [Leaf fall]. *Slovo*. 17 August. 538. pp. 3.
34. Bunin, I.A. (1935) *Sobranie sochineniy: v 11 t.* [Collected Works: in 11 vols]. Vol. 10. Berlin: Petropolis.
35. Bunin, I.A. (1998) Strashnye kontrasty [Terrible contrasts]. In: Mikhaylov, O.N. (ed.) *Bunin I.A. Publitsistika 1918–1953 godov* [Bunin I.A. Journalism of 1918–1953]. Moscow: Nasledie.
36. Gumilev, N.S. (1990) *Pis'ma o russkoy poezii* [Letters about Russian poetry]. Moscow: Sovremennik.

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/58/13

В.А. Суханов

МАРК АВРЕЛИЙ И ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ АНТИЧНОСТИ В РОМАНЕ В. ПЕЛЕВИНА «ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ»

Исследуются связи идеологии В. Пелевина с классической философией Античности и философскими идеями Марка Аврелия. Устанавливается, что философское наследие М. Аврелия (онтология, антропология, гносеология, этика) необходимо В. Пелевину как указание на возможность экзистенциального прорыва отдельно взятого человека к истине. Актуализация философских идей античности в постклассической ситуации утраты центра свидетельствует о поиске автором этических опор в безупречном мире. В общей концепции романа индивидуальное прозрение героя соседствует с авторским пессимизмом и скептицизмом в оценке возможностей человечества: обретенная героем индивидуальная истина не меняет состояния мира.

Ключевые слова: Пелевин, Марк Аврелий, философия Античности, пост-классическая современность, самопознание, стоицизм, поэтика романа.

О творчестве В. Пелевина критиками и литературоведами, в том числе и самыми авторитетными, написано, наверное, больше, чем о каком-либо другом писателе, вошедшем в литературу в конце 1980-х – начале 1990-х гг., но вопрос генезиса философских идей писателя до сих пор остается дискуссионным. В. Пелевина связывают с традициями субъективного идеализма, различными направлениями постмодернизма, буддизма [1. С. 373; 2. С. 509; 3]. Вместе с тем это далеко не очевидно в силу отсутствия детального анализа философской системы В. Пелевина, несмотря на появление ряда диссертационных исследований о его творчестве (И.В. Азеева, Е.П. Воробьева, А.С. Гавенко, О. В. Жаринова, Д.Н. Зарубина, Т.Н. Маркова, А.Ю. Мельникова, Ю.В. Пальчик, М.В. Репина, Е.В. Тихомирова, Е.М. Тюленева, К.В. Шульга и др.). Важным в аспекте установления философских ориентаций и предпочтений писателя является роман «Жизнь насекомых» (1998), которому, пожалуй, меньше всего повезло с критическим и литературоведческим прочтением, носящим по преимуществу беглый и обзорный характер. Такое положение дел, возможно, связано с легко читаемым аллегорическим планом романа [4. С. 284]. «Жизнь насекомых» интересна в аспекте установления связей В. Пелевина с классической философией Античности, и в частности с философией стоиков, которая входит в роман с персонажами мотыльками / светлячками Митей и Димой и философскими идеями Марка Аврелия.

Этим персонажам в композиции романа отведены 4 главы из 15: глава 4 («Стремление мотылька к огню»), глава 7 («Памяти Марка Аврелия»), глава 11 («Колодец»), глава 14 («Второй мир»), в которых исследуются воз-

возможности, пути и средства познания и самопознания человека как центральные в концепции романа.

Мотылек Митя появляется в главе «Стремление мотылька к огню» в стадии имáго, конечной, взрослой (дефинитивной) стадии индивидуально-го развития, на которой дальнейшие метаморфозы уже невозможны, чем подчеркивается телесная и биологическая определенность персонажа. С другой стороны, в исходной сюжетной ситуации Митя дан на границе, в сюжете он мировоззренчески и духовно самоопределяется, представляя тип ищущего сознания, о чем свидетельствует круг чтения героя. Пограничность интеллектуальных и духовных интересов Мити характеризуют два дискурса: европейский и восточный. Первый представлен нераскрытым томом философских произведений Марка Аврелия Антония (первое упоминание Марка Аврелия в романе) и фрагментом стихотворения А. Фета «А.Л. Бржеской» («Далекий друг, пойми мои рыдания...»), цитируемого Митей. Второй – восточными философскими текстами: вымышленным «Вечерние беседы комаров У и Це» и реальными древнекитайским философским текстом Лао-цзы «Дао-Дэ-Цзин»¹, излагающим основы даосизма, и «Канон перемен» («Чжоу И» или «И цзин»), наиболее авторитетным произведением «китайской канонической и философской литературы» [5], представляющим конфуцианство. Текст Марка Аврелия и древнекитайские тексты имеют целый ряд смысловых пересечений, что используется автором-демиургом в развитии сюжета самопознания как общей проблемы мировой философии [6. С. 51–59].

Процесс мировоззренческого самоопределения героя разворачивается через введение в фабулу и сюжет парного персонажа Димы. Реальный полиморфизм мотыльков дал Пелевину возможность использовать игровой принцип организации этих персонажей, который проявляется на уровне их номинации², внешности (крылья Димы того же серебристого оттенка, что и у Мити), общности движений и переживаемых состояний. Дополнительным сигналом для интерпретации Димы как альтер эго Мити становится ситуация с зеркалом, в котором Митя обнаруживает не Диму, но себя (глава «Второй мир»). Митя и Дима – разные проявления одного и того же сознания. Митя – знак сознания, погруженного в существование, Дима – знак последующего, будущего состояния Митино сознания. О погруженности Мити в повседневность свидетельствуют домашнее имя, приобщённость к массовому (посещение танцплощадки), поиск самоидентичности, необходимость в инициации (Митя в схватке с летучей мышью), после которой его сознанию открывается собственная подлинная сущность не мотылька, а светлячка.

Дима – это Митя в будущем, поскольку Дима всё знает о Мите (т.е. о себе прошлом), а Митя в свою очередь узнаёт в Диме самого себя, но только не тем, «каким он себя знал» [7. С. 293]. Дима – знак иного опыта, что

¹ Другой вариант написания «Дао Дэ Цзин».

² Митя и Дима – производные формы полного личного имени Дмитрий, Митя – нейтральное неформальное «домашнее», так называемое гипокористическое имя.

дополнительно подчеркивается переживанием им своего положения в реальности: «Я всегда один» [Там же. С. 203]. Важно, что их отношения организованы как отношения ученика (Митя) и наставника (Дима), что отсылает нас к античной проблематике самовоспитания, которое было невозможно без авторитетного Другого [8. VI. 1¹; 9. С. 117]. Как знаки философствующего сознания герои своей позицией в мире противопоставлены остальным типам существования. Главы, в которых действуют эти персонажи, можно рассматривать как единый «философский текст», поскольку философские идеи Марка Аврелия, изложенные в сочинении «Размышления»², обсуждаются в беседах Я (Митя-ученик) и Я-как-Другого (Дима-наставник).

Сочинение М. Аврелия представляет собой записки, не предназначенные для публикации, это размышления о жизни, в которых М. Аврелий обращается к самому себе, пытаясь философски осмыслить окружающую действительность и себя. Включая в роман наследие М. Аврелия, В. Пелевин «подключается» к традиции русской классики XIX – начала XX в. (Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Лесков, Чехов, Бунин, Вяч. Иванов), обращавшейся к идеям философа-стоика.

Из всего философского наследия М. Аврелия В. Пелевин выбирает определенную группу идей, связанную с онтологией, гносеологией, антропологией, этикой. Центральные из них – бытие и существование: характеристики бытия и существования, природа бытия и человека, проблема истинных и ложных ценностей, пути достижения истинных целей существования.

В первой сцене появления Мити возникают авторские темы темноты (тьмы) и света (огня): Митя не может читать, что фабульно мотивируется вечерней темнотой, а сюжетно характеризует положение «непросветленного» в мире. Они реализуются в названии главы («Стремление мотылька к огню»), в дискурсе нарратора, в диалоге персонажей Мити и Димы и в развитии сюжета. Семантика названия главы указывает на отличие Мити от других энтомологических персонажей (мотылёк) и связана с группой эксплицитных и имплицитных мотивов: 1) огня как очищающей стихии истинности, божественности, идеала [10. С. 242–243], творчества [11. С. 152]; 2) с характеристикой направленности движения (к огню) и состоянием субъекта (сильно желать, настойчиво добиваться); 3) подмены истинного мнимым (механизм ориентации насекомых по источнику света, связанный с движением к свету); 4) темноты как состояния мира, в котором находится источник света.

Используемые В. Пелевиным архетипические метафоры тьмы и света для обозначения состояния бытия входят как в различные мировые религии, так и в европейские и восточные религиозные и нерелигиозные философские системы (стоицизм, иудаизм, христианство, ислам, буддизм), не

¹ При цитировании текста произведения по данному изданию здесь и далее в квадратных скобках первая цифра указывает номер письма, вторая – номер абзаца.

² Другой вариант перевода названия на русский язык «О самом себе».

говоря уже об их использовании в мировой литературе, что делает поле значений чрезвычайно широким, осложняя их смысловую интерпретацию в романе.

Митя первоначально истолковывает темноту физически как время суток: «Не в переносном смысле, а в самом прямом» [7. С. 203]. С Димой в роман входит дополнительный уровень значений, связанных с темнотой (тьмой): это смерть, небытие, ничто. Дима переводит темноту в философский план, толкуя её как состояние бытия, его онтологическую характеристику: «...мы в этой темноте живем вообще все время» [Там же. С. 204]. Темнота и непроясненность бытия открываются в акте познания, определяя сущность и форму самоидентификации субъекта: «...ночным мотыльком становишься в тот момент, когда понимаешь, какая вокруг тьма» [Там же]. На уровне онтологии биологический инстинкт самосохранения порождает желание слиться с темнотой, соответствовать темноте: «Некоторые до того забились во тьму, что неясно видят все освещенное» [8. III. 5]. Непроясненность бытия, невозможность осуществлять какие-либо различения и вносить определенность становятся источником экзистенциального страха как основного модуса существования, рождающего монстров сознания (образ летучей мыши): «Как только понимаешь, что живешь в полной темноте, из нее немедленно появляются летучие мыши» [7. С. 243]. Таким образом, темнота (тьма) в романе – это метафора и состояния бытия, и неведения как состояния сознания, и смерти, ничто.

Онтологические и гносеологические атрибуты темноты (тьмы) отсылают, с одной стороны, к гносеологии киренаиков, утверждающих ограниченность человеческого познания пределами чувственного опыта, который «лишен объективной правды» [12. С. 145] и может свидетельствовать только о наших состояниях, а не о тех предметах, которые их вызывают, поэтому последние недоступны познанию, в отличие от ощущений, о которых единственно может достоверно судить человек, поэтому они истинны [Там же. С. 120]. С другой стороны, все три уровня значений, характеризующих темноту, связаны с философскими идеями М. Аврелия о непостижимости физического мира в силу его постоянной изменчивости: «Срок человеческой жизни – точка; естество – текуче; ощущения – темны, соединение целого тела – тленно; душа – волчок, судьба – непостижима, слава – невзыскательна. Сказать короче: река – все телесное, слепота и сон – все душевное; жизнь – война, пребывание на чужбине, а воспоминание – то же, что забвение. Что может сопутствовать нам? Одно и единственное – философия» [13. 2 : 17]¹; «...зияет вечность, бесконечная в обе стороны, как пуст этот звон, как переменчиво и неопределенно то, что мнится зависящим от нас» [Там же. 4 : 3].

Тема света (огня) как антитеза темноте (тьме) возникает в беседе Димы и Мити в четвертой главе романа. Первоначально Митя считает, что ис-

¹ При цитировании текста «Размышлений» по этому источнику здесь и далее в квадратных скобках первая цифра указывает номер книги, вторая – номер абзаца.

точник света находится вовне, свет – это то идеальное в жизни, к чему стремится всякий человек в силу инстинкта: «Все в конце концов летят к свету. Это же инстинкт» [7. С. 204]. Для него не существенны истинность (подлинность) света или его ложность (поддельность): «Ты хочешь сказать, что когда я смотрю на Луну, то вижу солнечный свет, который она отражает, а сама она не светится. По-моему, это не важно. С меня достаточно того, что свет существует» [Там же. С. 208]. Дима в ответ осуществляет эксперимент, погружая Митю в полную темноту: «”А к какому свету ты отправишься сейчас?” – спросил Дима» [Там же]. Для Димы эти вопросы имеют принципиальный характер, поскольку он связывает форму существования субъекта с его выбором: «Мы делимся на ночных и дневных именно по тому, кто из нас летит к свету, а кто – к тьме» [Там же. С. 204]. Дима пытается помочь Мите и направить его поиски источника света в нужном направлении. Для этого он задает Мите загадку: «Если ты ответил себе на один вопрос, то можешь управлять всеми видами света. <...> А свет чего отражает Солнце?» [Там же. С. 209]. Таким образом, отсутствие света в бытии делает принципиальным вопросы о наличии / отсутствии источника света, его поиске, подлинности (истинности) и неподлинности (ложности), что отсылает к пониманию света в «Размышлениях» М. Аврелия.

М. Аврелий делит свет на внешний (свет солнца) и внутренний (свет души): «Един свет солнца, хоть и загораживают его стены, горы, тысячи других вещей» [13. 12 : 30]; «Сфера – самоточнейший образ души, когда она не тянется ни к чему и не съезживается внутрь, не рвется сеять и не садится, а светится светом, в котором зрит истину всего и ту, что в ней» [Там же. 11 : 12]. Свет души отражает и истину всего, и свою собственную истину.

Инструмент просветления души – сознание или, по определению М. Аврелия, «главенствующее внутри», которое «поворачивается к происходящему так, что ему всегда легко перестроиться на то, что возможно и дается ему. Не любит оно строго определенное вещество, и устремляясь к тому, что само же себе с оговоркой поставило, само себе делает вещество из того, что выводят ему навстречу, – так огонь одолевает то, что в него подбрасывают; малый светильник от этого угас бы, а яркий огонь скоро усвоит себе то, что ему подносят, берет себе на потребу и отсюда-то набирает силу» [Там же. 4 : 1]. Самопознание предстает как открытие собственной «благой», в терминологии М. Аврелия, сущности и связано с просветлением, а в терминологии Аристотеля – с «прозрачностью» [14. С. 92].

В этом контексте разных пониманий тьмы и света Митя цитирует фрагмент стихотворения А. Фета «А. Л. Бржеской» («Далекий друг, пойми мои рыдания...»): «Не жизни жаль с томительным дыханьем, / что жизнь и смерть? А жаль того огня, / Что просиял над целым мирозданьем, / И в ночь идет, и плачет, уходя» [15. С. 119]. Именно до этого огня он и мечтает долететь. Отсутствие остального контекста стихотворения как авторский приём свидетельствует об ином, чем у А. Фета, понимании этих образов.

В творчестве А. Фета они связаны с душой поэта, мотив горения души – один из центральных в его поэзии: «Ношу в груди, как оный серафим, /

Огонь сильнее и ярче всей вселенной» [15. С. 100]; «Где ж это всё? Еще душа пылает, / По-прежнему готова мир объять. / Напрасный жар! Никто не отвечает, / Воскреснут звуки – и замрут опять» [Там же. С. 119]. Вл. Соловьев так охарактеризовал семантику света в лирике А. Фета: «При свете этого “вездесущего огня” поэзия поднимается до “высей творения” и этим же истинным светом освещает все предметы, уловляет вековую красоту всех явлений» [16. С. 119]. В философии самого Вл. Соловьева свет понимается сходным образом, он предстает физическим выразителем мирового всеединства [17. С. 103]. В поэзии позднего А. Фета, испытавшего влияние философии А. Шопенгауэра, ночь – это небытие, смерть, в которую с неизбежностью должна уйти творческая душа, поэтому «лирический герой стремится побороть свой страх перед смертью и бессмысленностью существования, обрести внутреннюю свободу» [18. С. 133].

Дима, вслед за М. Аврелием, понимает свет как то идеальное, что находится не вне субъекта, но внутри, поэтому он не может быть погашен или растворен во тьме бытия. Свет связан для него не с достоверностью, а с истинностью как самопознанием, «внутренним гением», в терминологии М. Аврелия: «Вещи сами по себе ничуть даже не затрагивают души, нет им входа в душу и не могут они поворачивать душу или приводить ее в движение, а поворачивает и в движение приводит только она себя самое, и какие суждения найдет достойными себя, таковы для нее и будут существующие вещи» [13. 5 : 19]. Именно такое толкование света позволяет Диме считать, что А. Фет так же не понимает сути света, как не понимает, о чем поёт, и женщина на танцплощадке, поскольку свет, согласно Аврелию, надо принять с благодарностью.

Ср.: «Главное достоинство в том, что она не понимает, о чем поёт. Так же, как твой приятель, который не нашел ничего лучше, как пожалеть свет, уходя в темноту» [7. С. 206].

«Помни: приводящее в движение – это то, спрятанное внутри; это там убедительное слово, там жизнь, там, скажем прямо, человек» [13. 10 : 38].

Аврелиевская метафора «человек внутри» согласуется и с экзистенциальным философствованием: «Я не могу уловить мир в зеркало, и не могу сам превратиться в него, – я могу только придать себе должную светлость [Helligkeit], чтобы стать в мире тем, что я есмь» [19. С. 262].

В главе 7 «Памяти Марка Аврелия» Митя в процессе самоопределения и совершает свой экзистенциальный выбор между светом и темнотой, между истинным существованием и ложным, обнаруживая решение проблемы свободы выбора и воли. Этот процесс осложнен двойственностью сознания героя: «Во мне выбирают сразу двое. <...> Оба вроде бы намерены двигаться к свету, только по разным маршрутам. <...> Один – это настоящий я, окончательный, тот, кого я считаю самым собой. Тот, кто хочет лететь к свету. А второй – это временный я, существующий только секунду. Он тоже, в общем, собирается лететь к свету, но перед этим ему необходим короткий и последний отрезок тьмы <...> не знаю, кто настоящий, и не знаю, когда один сменит другого» [7. С. 235–236].

Двойственность пелевинского героя, с одной стороны, коррелирует с представлениями М. Аврелия о наличии в человеке «разумной души», ума. Ум как «собственно твоё» [13. 12 : 3] только и принадлежит человеку. С другой стороны, соотносится с представлениями Аристотеля о «логосной» душе и «без-логосной» душе [20. С. 56–118], в которой временный я – это «я существующий» (Э. Левинас) «здесь и сейчас». Этому «я» доступна лишь феноменальная сторона жизни, то, что является, в терминологии М. Аврелия, «мгновением», которым только и владеет человек: «...помни, что каждый жив только в настоящем и мгновенном» [13. 3 : 10]. Как писал М. Мамардашвили, характеризуя античное философское мышление, «из этого момента, из *hic et nunc* (здесь и сейчас) мы получаем завязку, накладываемую на будущее. Если есть бытие, то оно все целиком здесь и сейчас...» [21. С. 111]. Жизнь человека и есть «та малость, которой мы живы» [13. 3:10], о чём Мите и напоминает Дима: «Вся жизнь <...> существует один миг. Вот именно тот, который происходит сейчас. Это и есть бесценное сокровище, которое ты нашёл. И теперь ты сможешь поместить в один миг всё что захочешь – и свою жизнь, и чужую» [7. С. 302].

«Мгновенность», «малость» и «ничтожность» единичного существования, во-первых, накладывают на человека особые обязательства по разумному использованию этого мгновения в силу двух обстоятельств: «...должно нам спешить не оттого только, что смерть становится все ближе, но и оттого, что понимание вещей и сознание прекращаются еще раньше» [13. 3 : 1]. Так возникает в философии М. Аврелия проблематика истинного и мнимого существования, в осмыслении которой он исходит из понимания человека как общественного (онтологического) существа. Существовая в системе тотальной детерминации, человек должен осознать и принять то, что «идет от бога», то, что от судьбы («а это по жребию и вплетено в общую ткань»), то, что от случайности («а это так получается или случай») и то, что от человека, не ведающего природы. В философии этот тезис получил определение «мироприятие»: «есть два основания, почему должно принимать с нежностью все, что с тобой случается. Одно: с тобой случилось, тебе назначено и находилось в некотором отношении к тебе то, что увязано наверху со старшими из причин. Другое: что относится к каждому в отдельности, также является причиной благоденствия, свершения и, Зевсом клянусь, самого существования того, что управляет целым. Ибо становится увечной целокупность, если хоть где-нибудь порвано сочленение и соединение, в частях ли или в причинах. А ведь когда ропщешь, ты, сколько умеешь, рвешь их и некоторым образом даже уничтожаешь» [13. 5 : 8].

Во-вторых, обуславливают особую роль праксиса как деятельности-движения в существовании, поэтому проблема истинности или ложности источника света решается в романе в духе учения стоиков, где «внутреннюю абсолютную ценность человека определяет только сама деятельность, а не её результат» [22. С. 197]. Праксис устанавливает истинность / ложность источника света, выступающего и как цель. Именно об этом говорит

Дима: «Настоящий свет – любой, до которого ты долетишь. А если ты не долетел хоть чуть-чуть, то к какому бы яркому огню ты до этого ни направлялся, это был обман. Дело ведь не в том, к чему ты летишь, а в том, кто летит. Хотя это одно и то же» [7. С. 237]. Дима воплощает философскую позицию, суть которой, заключается в том, что в процессе движения к цели меняется и сам субъект действия, но вместе с ним меняется и прежнее представление о цели, а значит, меняется и цель. Цель вносит определенность в личность: «У кого нет в жизни всегда одной и той же цели, тот и сам не может во всю жизнь быть одним и тем же. Сказанного не достаточно, если не добавишь и то, какова должна быть эта цель. <...> ...Кто направит все свои устремления к ней, у того и все его деяния станут сходны, и оттого сам он всегда будет тот же» [13. 11 : 21]. С точки зрения Аристотеля, «различие между ощущающим субъектом и ощущаемым объектом существует лишь до начала акта чувственного восприятия, но, что после того как началось это восприятие, субъект и объект в своей деятельности сливаются, становятся тождественными» [23. С. 35]. Единство цели обеспечивает и единство субъекта: «В *восхождении* философствования самое важное – это цель» [19. С. 261]. Именно поэтому, с точки зрения Димы, выбрать свет – значит действовать: «Просто полети к нему. Прямо сейчас. Никакого другого времени для этого не будет» [7. С. 236]. Свет разума, таким образом, выступает в романе метафорой истинной цели существования и обретения самоидентичности: «Разум и искусство разумения суть способности, которым довольно себя и дел, сообразных себе; устремляются они из свойственного им начала, а путь их прямо к лежащему перед ними назначению. Вот и называются такие деяния прямодеяниями, знаменуя таким образом прямоту пути» [13. 5 : 14].

Разумностью как атрибутом онтологии («промыслом» в терминологии М. Аврелия) детерминировано все в мире, и всякая частная причина обусловлена целым, а человек – часть этого целого: «Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. ...Прими это за основоположения, и довольно с тебя» [Там же. 2 : 3].

Разумность мироздания предполагает наличие законов и закономерностей, по которым они осуществляются, что является благом, поэтому нельзя считать злом то, что совершается в соответствии с этим порядком вещей, поскольку все совершающееся входит в этот разумный план мироздания: «Для разумного существа, что содеяно по природе, то и по разуму» [13. 7 : 11]; «...разум каждого – бог, и проистек оттуда... ни у кого ничего нет собственного, но и ребенок твой, и твое тело, да и сама-то душа оттуда пришли...» [Там же. 12 : 26]; «Как дыхание: соединяет человека с окружающим воздухом, так разумение соединяет с окружающим все разумным, потому что разумная сила разлита повсюду и доступна тому, кто способен глотнуть ее, не менее, чем воздушное тому, кто способен дышать» [Там же. 8 : 54].

Разумность, или «общность разума» [Там же. 12 : 26], определяет необходимость самопостижения как условие обнаружения родства с миром. Самопознание как практика реализации античной формулы «заботы о себе» выступает такой целью в романе. Именно это позволило М. Фуко рассматривать идеи М. Аврелия в одном ряду с философскими идеями Сенеки, Плутарха и Эпиктета. Для каждого из них занятие собой – «это не просто разовая подготовка к жизни, это форма жизни» [24. С. 538], поэтому, по замечанию М. Фуко, в философии М. Аврелия «нет ни иной цели, ни иного предела, чем прийти к себе самому, “установиться в себе самом” и там остаться» [Там же].

Именно в 7 главе «Памяти Марка Аврелия» Митя проходит инициацию и прозревает собственную сущность, которую не может затронуть ничто внешнее, поскольку меняется отношение, но не меняется мир. Инициация связана с преодолением страха перед смертью, знаком которой становится летучая мышь. В греческой философии преодоление страха смерти считалось основной проблемой человеческой жизни. В сюжете романа преодоление страха изображено в ситуации борьбы мотылька (Мити) и летучей мыши (смерти) и связано с изменением отношения героя к смерти. Дима исходит из того, что возникающий страх есть отражение в сознании внешнего мира: «...в некотором смысле ты просто один из звуков, издаваемых летучей мышью. <...> А что такое летучая мышь? <...> Подумай... чтобы исчез ты, летучей мыши достаточно перестать свистеть. А что нужно сделать тебе, чтобы исчезла летучая мышь?» [7. С. 241].

В. Пелевин воспроизводит две фазы (возможности) преодоления страха смерти. Первая связана с созданием ментальных конструктов и попыткой метафорического перенесения переживаемого состояния страха (Митя представляет страх летучей мыши в образе летучего кота), но такой путь оказывается тупиковым: «...было примерно понятно, что имел в виду Дима в метафорическом смысле, но было совершенно неясно, какой толк во всех этих метафорах, когда рядом летает совершенно не интересующаяся ими летучая мышь» [Там же. С. 244]. Второй путь – путь изменения себя через открытие в себе «иного» (по Аврелию) чувства: «Кто боится смерти, либо бесчувствия боится, либо иных чувствований. Между тем, если не чувствовать, то и беду не почувствуешь; если же обрешь иное чувство, то будешь иное существо и не прекратится твоя жизнь» [13. 8 : 58]; «Помни, что у тебя осмысленность означала пронизательное рассмотрение всякой вещи и нерассеянность; единомыслие – добровольное принятие того, что уделяет общая природа; свободомыслие – свободу мыслящей части от гладкого или шероховатого движения плоти, от славы, смерти и прочее. Так вот, если соблюдешь себя при этих именах, ничуть не цепляясь за то, чтобы и другие называли вещи так же, и сам будешь другой, и вступишь в другую жизнь» [Там же. 10 : 8]. Именно этот путь становится спасительным для Мити: «Митя зажмурился и неожиданно увидел ясный голубой свет – словно он не закрыл глаза, а, наоборот, закрыты они были раньше и вдруг, открывшись от страха, впервые заметили что-то такое, что находи-

лось перед ним всегда и было настолько ближе всего остального, что делалось из-за этого невидимым. <...> И было большой неожиданностью увидеть в самом себе нечто похожее, так же мало затрагиваемое происходящим вокруг, как одинаковое в любое время года небо – ползущими над землей тучами» [7. С. 244–245]. Митя открывает собственную сущность светлячка и из стадии има́го, в которой дальнейшие метаморфозы уже невозможны, превращается из мотылька в светлячка. Об особой значимости превращения свидетельствует тот факт, что метаморфоза нарушает законы онтологии, в пределах которой мотылек не может стать светлячком.

После инициации Митя пишет стихотворение «Памяти Марка Аврелия». С одной стороны, стихотворение персонажа как акт долженствования означает понимание героем характера истинного знания, которое, как и у М. Аврелия, рождается только на основе непосредственного опыта: «А жажду книжную брось и умри не ропща, а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам» [13. 2 : 3]. «Не блуждай больше; не будешь ты читать свои заметки, деяния римлян и эллинов, выписки из писателей, которые ты откладывал себе на старость. Так поспешай же к своему назначению и, оставив пустые надежды, самому себе – если есть тебе дело до самого себя – помогай, как можешь» [Там же. 3 : 14].

С другой стороны, герой оценивает стихотворение как «мистический долг». Мистическое как вид метафизического (мистика как вид метафизики) связано с иррациональным переживанием, не поддающимся никакой объективации, а потому и необъяснимым [25. С. 131]. Переживание Митей долга перед М. Аврелием как мистического отсылает к кантовскому пониманию деонтологии, в которой долженствование обладает приоритетом над ценностью, а человек как существо эмпирического (мира феноменов, необходимости) и умопостигаемого (мира ноуменов, вещей в себе, безусловности, свободы) миров самоопределяется в каждом из них: чувственно – в мире эмпирическом, а разумно и нравственно – в мире трансцендентном, метафизическом, где «я должен буду рассматривать для себя законы умопостигаемого мира как императивы, а сообразные с этим принципом поступки – как обязанности» [26].

Таким образом, текст Митиного стихотворения становится актом проявления метафизической воли свободного человека умопостигаемого мира, а разумность в романе выступает основанием сближения философских идей Античности и И. Канта: «Учение Канта об отношении опыта и разума, материи и формы во многом повторяет мысли Платона и Аристотеля в том, что все единичное и особенное в познании и деятельности должно иметь свое основание во всеобщем, все способности души определены априорной, рациональной формой» [27].

Стихотворение представляет собой тип посвящения, адресат которого (Марк Аврелий) известен определенному кругу лиц, однако в тексте стихотворения какие-либо физические приметы адресата не проявлены, а биографические представлены единственным упоминанием сына Аврелия Коммода. Такое посвящение, по замечанию Р. Чемберса, направлено на

установление интертекстуальных связей с типичными текстами адресата [28. Р. 14], в данном случае с текстом Марка Аврелия «Размышления». Таким образом, в кругозор автора стихотворения входит не фигура Марка Аврелия в его телесной и биографической данности, а круг идей философа.

Представляя конструкцию «текст в тексте», стихотворение фабульно завершает «аврелиевский» сюжет (появляется после инициации как экспромт Мити) и корректирует место и значение идей античной философии и М. Аврелия в общей концепции романа.

Субъект стихотворения дан в ситуации не-действия («...и совершенно нет сил, чтобы / сосредоточиться. Лежишь себе, лежишь на спине, / и не глядя ясно, что в соседнем доме окна желты, / и недвижимый кто-то людей считает в тишине» [7. С. 260]), у него нет необходимости в познании реальности, поскольку характер реальности ему известен, уже открыт культурой¹. Существование в так понятой реальности рождает состояние очищающей тоски, которая противопоставляется неэтичности состояния счастья в ситуации надвигающейся смерти (осень): «Но тоска очищает. А испытывать счастье осенью – гаже...». Осознание своего состояния завершается призывом к собственной душе («Отдыхай, душа»), что, с одной стороны, свидетельствует о занимаемой субъектом позиции стоического мудреца (апатия, невозмутимость души, бесстрашие), а с другой – о полемике с деонтологическими представлениями о душе².

В такой ситуации жизнь заполняется бессистемным чтением («всякие книги») и мыслями о смерти («трехметровая яма»), но и эти действия бессмысленны, поскольку у героя уже есть знание о тщетности как биологического доминирования, так и любых социальных действий. Для характеристики биологического героя использует обценную лексику, наличие которой свидетельствует о ничтожности для героя биологического как ценности.

Размышляешь об этом,
выполняя назначенную судьбой работу,
и все больше напоминаешь себе человека,
построившего весь расчет
на том, что в некой комнате
и правда нет никакого комода,
когда на самом деле нет никакой комнаты,
а только Коммод.

Рефлексия при этом понимается как неизбежность, неотчуждаемое свойство сознания («назначенная судьбой работа»), которая столь же бессмысленна в реальности, где отсутствует идеальное и торжествует живот-

¹ Отсылка к комплексу идей стихотворения А. Блока «Фабрика»: позиция субъекта сознания и речи («я вижу все с моей вершины»), мотивы жизни как изнурительного и бессмысленного труда, страдания, отсутствия духовности, торжества зла, власти социума и рока над человеком, гибели культуры, конца цивилизации, смерти.

² Полемика с комплексом идей стихотворения Н. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться».

ное (отсылка к сыну М. Аврелия Коммоду, прославившемуся своей аморальностью и жестокостью), поскольку она никуда не ведет, ведь постижение реальности не более чем чье-то метафорическое описание, т.е. «галлюцинация / наркомана Петрова, / являющегося, в свою очередь, галлюцинацией / какого-то пьяного старшины» [7. С. 261]. В мире умножающихся релятивных реальностей нет ни этического центра, ни истины. «Реальность – это любая галлюцинация, в которую вы верите на сто процентов», – утверждает писатель в интервью с одноименным названием [29].

Сумасшедшие и трения с ними в таком контексте выступают метафорой тех, кто настаивает на владении истиной и готов неугодных и несогласных «пригвоздить»¹ или зарезать². Сумасшедшие могут быть истолкованы и как непредсказуемые перипетии судьбы, случайности, свидетельствующие об опасности существования, но создающие кажимость заполненности жизни, поскольку «не успеваешь почувствовать ни свое одиночество, ни страх».

Последнее четверостишие, с одной стороны, отсылает к античному правилу индивидуалистической эпикурейской этики «Проживи незаметно» («Вообще, хорошо бы куда-нибудь спрятаться и дожидаться лета, / И вести себя как можно тише, а то ведь не оберешься бед»). С другой стороны, необходимость в незаметности не является добровольной и свободно выбранной формой существования, а связана с наличием социального зла, институтов подавления свободы, которые трижды обозначены в тексте стихотворения: КГБ зачеркнуто так же, как и две другие аббревиатуры «АФБ» и «ФСК», что свидетельствует об исторической сменяемости «вывески», но не сути этого социального института как части «темной» реальности, потому что его действия связаны с уничтожением уникальности личности как круга «ослепительно-яркого света, / кроме которого во Вселенной ничего никогда не было и нет».

Поэтическое понимание, которое Митя воплощает в стихотворном тексте, неустойчиво, поэзия схватывает мгновенное состояние, тогда как необходимо обретение во временном бесконечного, поэтому автор-демиург вынужден разрешать проблему сущности человека. Для этого В. Пелевин, с одной стороны, позволяет обновленному Мите увидеть антропологическую реальность по-новому: «Внизу делала свои однообразные движения жизнь – мириады разноцветных насекомых ползли по земле, и каждое из них толкало перед собой навозный шар. Некоторые раскрывали крылья и пытались взлететь, но удавалось это немногим, да и они почти сразу падали на землю под тяжестью своего шара» [7. С. 292]. С другой стороны, автор вводит в главу «Колодец» идеи древнекитайской филосо-

¹ Отсылка к Христу и стихотворению В. Маяковского «Флейта-позвоночник»: «Видите – гвоздями слов прибит к бумаге я».

² Отсылка к стихотворению Арс. Тарковского «Первые свидания»: «И рыбы подымались по реке, / И небо развернулось пред глазами... / Когда судьба по следу шла за нами, / Как сумасшедший с бритвою в руке».

фии, близкие идеям М. Аврелия, который писал: «Тело, душа, ум; телу – ощущения, душе – устремления, уму – основоположения» [12. 3 : 16]. Сравнительная философия открывает общность пути мировой философии в постижении человека и реальности.

Митя цитирует Диме 48-ю гексаграмму Цзин из древнекитайского философского «Канона перемен»¹, но понимает общий смысл гексаграммы абстрактно (человек носит в себе источник света и не нуждается во внешнем), но Митя не сделал этот смысл личностно пережитым, т.е. освоил, но не усвоил, о чём ему и говорит Дима: «...чтобы понять, что ты только что сказал, тебе надо заглянуть в колодец» [7. С. 299]; «Жизнь очень странно устроена. Чтобы вылезти из колодца, надо в него упасть. <...> Из колодца можно что-нибудь вынести. Он содержит бесценные сокровища. Точнее, сам по себе он ничего не содержит, и ты выходишь оттуда таким же, как вошел. Но в нем ты можешь заметить то, что есть у тебя самого и про что ты давно забыл» [Там же. С. 302].

Толкование текста гексаграммы, которое предлагает Дима, пересекается с идеями М. Аврелия о движении к истинному в себе, которое М. Фуко назвал «эйдетической и ономастической медитацией»: «Сделать душу великой – это освободить ее от всех этих (собственные мнения, обусловленные страстями) пут, от этой паутины, которая ее обволакивает, держит, не отпускает, и тем самым позволить ей обрести то, что составляет ее собственную природу и в то же время ее подлинное предназначение, а именно – согласие с мировым разумом. <...> Свобода, находящая выражение одновременно и в равнодушии к вещам, и в спокойствии перед лицом любых событий, и есть это самое величие души, которое обеспечивается упражнением» [24. С. 323].

Падение в колодец порождает у Мити особое состояние: «Время не то исчезло, не то растянулось – все, что он видел, менялось, не меняясь, каким-то образом постоянно оказываясь новым, а его пальцы все пытались уцепиться за тот же самый участок стены, что и в начале падения. Как и вчера, он чувствовал, что смотрит на что-то странное, что-то такое, на что не смотрел никогда в жизни и вместе с тем смотрел всегда» [7. С. 299–300]. Пребывание в этом состоянии открывает Мите бесконечность: «...главным было другое. Пройдя сквозь бесчисленные снимки жизни к точке рождения, оказавшись в ней и заглянув еще глубже, чтобы увидеть начало, он понял, что смотрит в бесконечность. У колодца не существовало дна. Никакого начала никогда не было» [Там же. С. 301].

Глава «Колодец» реализует в пространственной метафоре сформулированное М. Аврелием представление о тройственной сущности человека: 1) тело (Дима: «...мы не можем упасть в колодец, в котором и так находимся целую вечность. Мы можем только выйти из него» [Там же. С. 301]);

¹ «Меняют города, но не меняют колодец. Ничего не утратишь, но ничего и не приобретешь. Уйдешь и придешь, но колодец останется колодцем. ...Если почти достигнешь воды, но не хватит веревки, и если разобьешь бадью, – несчастье!» [7. С. 298].

2) душа (кольца, нанизанные на стержень и увенчанные человеческой головой как система эмоциональных пластов); 3) разум, самопознание (Дима: «Это единственный вход и выход» [7. С. 298]). Существующее «Я» оказывается одновременно Я – колодцем и Я – падающим в него, реализуя представления о Я – существующем и Я – познающем собственное существование, Я – материей, Я – духом и Я – разумом. Митя падает «сквозь всю жизнь, сквозь все сплюснутые и затвердевшие чувства, которые он когда-либо испытал» [Там же. С. 300] для того, чтобы открыть в себе то, что было в нем изначально – «величие души», которое требует «уйти от человеческого»: «Высвободился из тела и тот, кто, сообразив, что вот-вот придется оставить все это и уйти от человеческого, отдался всецело справедливости в том, в чем собственная его деятельность, а в прочем, что случается, природе целого» [13. 10 : 11]. По мнению Ю.К. Щуцкого, «в переводе на понятия, касающиеся процесса познания, – это та ситуация, когда после наступления достигается полная гармония между накопленным прежде знанием, приобретенным вновь, до такой степени, что грань между ними стирается, и они представляют собой единую сумму знания, стоящего к тому же в полной гармонии к его осуществлению» [30].

Только после достижения героем этого состояния в романе ставится вопрос о возможности и путях постижения мира таким, каков он есть (глава «Второй мир»). Уже семантика названия свидетельствует о распадении реальности вслед за существованием на истинную и мнимую. В истинный мир необходимо проникать, поскольку он закрыт от сознания. Эта коллизия реализуется в борьбе Мити с собственным трупом, который «завязывает нам глаза, и мы перестаем это видеть» [7. С. 337]. Труп – метафора неистинного существования, это тот, «кто сейчас живет вместо тебя» [Там же. С. 338], т.е. человек, чье сознание не знает света истины, не владеет истинным знанием, т.е. смыслом бытия, который существует всегда, а теряет его сам человек (Митя). Труп, как и навозный шар, – это «эпистемологический конструкт» [31. С. 384], некое сконструированное в сознании знание о мире, полученное не путем размышления над феноменальностью жизни, а готовое, книжное, чужое: «...задушив его, труп пойдет домой дочитывать Марка Аврелия» [7. С. 343]. «Ты – душа, на себе труп таскающая, говаривал Эпиктет» [13. 4 : 41]. Неистинное Я (труп), с которым борется герой, превращается в навозный шар, отсылающий к новелле о скарабеех, где сама семантика переработанной в отходы жизни (навоз) свидетельствует о том, что истинное знание не может быть книжным, поскольку находится в самом человеке, поэтому «у него самого ничего украсть нельзя...» [7. С. 344].

Завершением коллизии познания и самопознания становится исчезновение Димы и превращение раздвоенного сознания в единое («Энтомопилог»): герой обретает полное имя Дмитрий (семантика земли и плодородия, реализация метафоры М. Аврелия: «Что во мне землисто – от земли уделено мне») и тот свет разума, о котором, как считает О. Седакова, писал С. Аверинцев: «...об уме, который погружен в полноту человеческой реальности, соединён

с сердцем и с чувством, сотрудничает с совестью и волей и связан с восприятием Целого, мудро и таинственно устроенного» [32].

Таким образом, наследие М. Аврелия и философские идеи античности оказались необходимыми В. Пелевину для исследования возможности экзистенциального прорыва отдельно взятого человека к истине в условиях современной массовой цивилизации. В сопоставлении и диалоге различных философских дискурсов (античного и восточного) ведущая роль принадлежит античному. Актуализация в постклассической ситуации утраты центра, релятивизма этого дискурса свидетельствует о возвращении к Античности в поиске этических опор в безпорном мире. Но вместе с тем в общей концепции романа рядом с индивидуальным прозрением соседствуют авторский пессимизм, скептицизм и ирония в оценке возможностей человечества, поскольку нет общего блага, нет разумности, жизнь иррациональна, а обретенная героем индивидуальная истина не меняет состояния мира.

Литература

1. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60–90-е годы XX века – начало XXI века). СПб. : Филол. ф-т СПб. гос. ун-та, 2004. С. 372–378.
2. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. Т. 2: 1968–1990. М. : Академия, 2003. 688 с.
3. Неко Д. (Нечепуренко Д.В.) Динамическая сущность характерологии В.О. Пелевина. ЛитРес : Самиздат, 2018. 202 с. URL: <https://www.kniga.com/index.php?route=product/product/mini&sku=ebooks419554> (дата обращения: 06.01.2019).
4. Говорухина Ю.А., Каминский П.П., Суханов В.А. Ностальгия по советскому в художественных дискурсах современности // Ностальгия по советскому. Томск, 2011. С. 279–326.
5. Кобзев А.И. Китайская книга книг // Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». 2-е изд. М., 1993. URL: <http://abhidharma.ru/A/Raznoe/Kitai/0004.pdf> (дата обращения: 02.12.2018).
6. Степанянц М.Т. Метафора «золотая середина» как ключ к пониманию общего и частного в философии морали // Сравнительная философия: Моральная философия в контексте многообразия культур. М., 2004. С. 51–59.
7. Пелевин В. Жизнь насекомых // Пелевин В.О. Жизнь насекомых. М., 1998. С. 153–351.
8. Сенека. Нравственные письма к Луцилию / пер. и примеч. С.А. Ошерова. М. : Наука, 1977. 384 с.
9. Шичалин Ю.А. История античного платонизма (в институциональном аспекте). М., 2000. 439 с.
10. Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. М. : ВЛАДОС, 1996. 416 с.
11. Чумак-Жунь И.И. Поэтический текст в русском лирическом дискурсе конца XVIII – начала XXI веков М. : Директ-Медиа, 2014. 302 с.
12. Виндельбанд В. История древней философии. Киев : Тандем, 1995. 368 с.
13. Марк Аврелий Антонин. Размышления / пер. и примеч. А.К. Гаврилова. Статьи А.И. Доватура, А.К. Гаврилова, Я. Унта; коммент. Я. Унта. 2-е изд, испр. и доп. СПб. : Наука, 1993. 248 с. (Литературные памятники). URL: <https://www.litmir.me/b/?b=1777&p=1> (дата обращения: 01.03.2018).

14. *Аристотель*. О душе. СПб. : Питер. 2002. 220 с.
15. *Фет А.* Стихотворения. Проза. Письма. М. : Сов. Россия, 1988. 464 с.
16. *Соловьев В.С.* О лирической поэзии: По поводу последних стихотворений Фета и Полонского // Поэзия как жанр русской философии [Текст] / РАН. Ин-т философии ; сост. И.Н. Сиземская. М., 2007. С. 116–121.
17. *Соловьев В.С.* Красота в природе // Соловьев В.С. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М., 1990. С. 91–125.
18. *Сапожков С.В.* А.А. Фет // История русской литературы XIX века : в 3 ч. Ч. 3 (1870–1890 годы) / под ред. В.И. Коровина. М. : ВЛАДОС, 2005. С. 120–137.
19. *Ясперс К.* Философия. Кн. 1: Философское ориентирование в мире. М. : Канон+РООИ Реабилитация, 2012. 384 с.
20. *Орлов Е.В.* Философский язык Аристотеля. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2011. 317 с.
21. *Мамардашвили М.* Лекции по античной философии. СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. 256 с.
22. *Степанова А.С.* Философия древней Стои. СПб.: Алетейя, 1995. 272 с.
23. *Сережников В.* Предисловие // Аристотель. О душе. СПб., 2002. С. 17–48.
24. *Фуко М.* Герменевтика субъекта. СПб. : Наука, 2007. 677 с.
25. *Гессен С.И.* Мистика и метафизика // Логос: Международный ежегодник по философии культуры. М., 1910. С. 131.
26. *Кант И.* Основы метафизики нравственности. URL: <https://e-libra.ru/read/91803-osnovy-metafiziki-nravstvennosti.html> (дата обращения: 12.01.2019).
27. *Батракова И.А.* Отношение опыта и разума в истории философии от Парменида до Канта URL: http://www.smurnyh.com/?page_id=390 (дата обращения: 14.02.2019).
28. *Chambers Ross.* Baudelaire's Dedicatory Practice // SubStance. 1988. Vol. 17, № 2. P. 5–17.
29. *Пелевин В.* Реальность – это любая галлюцинация, в которую вы верите на сто процентов. URL: <http://pelevinlive.ru/43> (дата обращения: 18.10. 2018).
30. *Эко У.* Роль читателя: Исследования по семиотике текста. СПб. : Симпозиум, 2005. 502 с.
31. *Шуцкий Ю.К.* Китайская классическая «Книга перемен». 2-е изд., испр. и доп. / под ред. А.И. Кобзева. М. : Наука, 1993. URL: <http://abhidharma.ru/A/Raznoe/Kitai/0004.pdf> (дата обращения: 02.12. 2018).
32. *Седакова О.* Апология рационального. URL: <http://wikilivres.ru/> (дата обращения: 25.10.2018).

Marcus Aurelius and the Ancient Philosophical Ideas in Victor Pelevin's Novel *The Life of Insects*

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2019. 58. 225–243. DOI: 10.17223/19986645/58/13

Vyacheslav A. Sukhanov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: slush@mail.ru

Keywords: Pelevin, Marcus Aurelius, philosophy of antiquity, post-classical contemporary world, self-knowledge, stoicism, poetics of the novel.

The article discusses the philosophical aspect of Victor Pelevin's novel *The Life of Insects*, which embraces the system of characters, individual collisions and spatial images, as well as the development of the author's philosophical themes. From the position of comparative philosophy, the author turns to the literary study of a number of contemporary worldview problems.

To verify their validity, these problems are considered in the context of two philosophical discourses: ancient and eastern. The ideas of the classical philosophy of antiquity and Marcus Aurelius are connected in the novel with the images of two fireflies or moths Mitya and Dima.

These characters represent different manifestations of the same consciousness. Mitya is immersed in existence, Dima manifests the future state of Mitya's consciousness.

Their relationship is organized as a relationship between a student and a mentor, which refers us to the ancient issue of self-education, impossible without the authoritative Other. By manifesting a philosophizing consciousness, these two characters are contrasted with the other characters of the novel. The philosophical dialogues of these characters are given in the context of the ideas of ancient philosophy and Marcus Aurelius. They address the problems of ontology, anthropology, gnoseology, ethics.

In the plot of the novel, the process of self-determination is embodied: Mitya makes his existential choice between light and darkness, between true and false modes of existence, reveals a solution to the problem of the freedom of choice and will. After initiation, he creates his own poetic text "In Memory of Marcus Aurelius". The text of the poem appears as an act of the metaphysical will of a free man of an intelligible world, and rationality in the novel serves as the basis for bringing together the philosophical ideas of antiquity and of I. Kant.

The collision of cognition and self-cognition is completed in the novel by the disappearance of Dima and the transformation of the divided consciousness into one: the character acquires the full name of Dmitry.

The legacy of Marcus Aurelius and the philosophical ideas of antiquity turned out to be necessary for Pelevin to study the possibility of an existential breakthrough of an individual person to the truth under the conditions of modern mass civilization. The leading role in the comparison and dialogue of various philosophical discourses (ancient and eastern) belongs to the ancient one, in the center of which is *Reflections* by M. Aurelius.

The actualization of the loss of the center, the relativism of this discourse in a post-classical situation indicates a return to antiquity in the search for ethical pillars in a support-free world. However, admitting the possibility of individual enlightenment, the general concept of the novel implies the author's pessimism and skepticism in assessing the capabilities of humanity (the entomological aspect of the novel) since there is no common good, no rationality; life is irrational, and the individual truth acquired by the hero does not change the general state of the world.

References

1. Bogdanova, O.V. (2004) *Postmodernizm v kontekste sovremennoy russkoy literatury (60–90-e gody XX veka – nachalo XXI veka)* [Postmodernism in the context of modern Russian literature (1960s–90s and the beginning of the 21st century)]. St. Petersburg: Philological Faculty of St. Petersburg State University. pp. 372–378.
2. Leyderman, N.L. & Lipovetskiy, M.N. (2003) *Sovremennaya russkaya literatura: 1950–1990-e gody* [Modern Russian literature: 1950s–1990s]. Vol. 2: 1968–1990. Moscow: Akademiya.
3. Neko, D. (Nechepurenko, D.V.) (2018) *Dinamicheskaya sushchnost' kharakterologii V.O. Pelevina* [The dynamic essence of the characterology of V.O. Pelevin]. LitRes: Samizdat. [Online] Available from: <https://www.kniga.com/in-dex.php?route=product/product/mini&sku=ebooks419554>. (Accessed: 06.01.2019).
4. Govorukhina, Yu.A., Kaminskiy, P.P. & Sukhanov, V.A. (2011) Nostal'giya po sovetskomu v khudozhestvennykh diskursakh sovremennosti [Nostalgia for the Soviet in contemporary literary discourses]. In: Rezanova, Z.I. (ed.) *Nostal'giya po sovetskomu* [Nostalgia for the Soviet]. Tomsk: Tomsk State University.
5. Kobzev, A.I. (1993) *Kitayskaya kniga knig* [The Chinese Book of Books]. In: Shchutskiy, Yu.K. *Kitayskaya klassicheskaya "Kniga peremen"* [The Chinese classic "Book of Changes"]. 2nd ed. [Online] Available from: <http://abhidharma.ru/A/Raznoe/Kitai/0004.pdf>. (Accessed: 02.12.2018).
6. Stepanyants, M.T. (2004) Metafora "zlotaya seredina" kak klyuch k ponimaniyu obshchego i chastnogo v filosofii morali [Metaphor of the "golden mean" as the key to

understanding the general and the particular in the philosophy of morality]. In: *Sravnitel'naya filosofiya: Moral'naya filosofiya v kontekste mnogoobraziya kul'tur* [Comparative Philosophy: Moral Philosophy in the Context of Cultural Diversity]. Moscow: Vost. lit.

7. Pelevin, V. (1998) *Zhizn' nasekomykh* [The life of insects]. Moscow: Vagrius. pp. 153–351.

8. Seneca. (1977) *Nravstvennye pis'ma k Lutsiliyu* [Moral Letters to Lucilius]. Translated from Latin by S.A. Osherov. Moscow: Nauka.

9. Shichalin, Yu.A. (2000) *Istoriya antichnogo platonizma (v institutsional'nom aspekte)* [The history of ancient Platonism (in the institutional aspect)]. Moscow: GLK.

10. Makovskiy, M.M. (1996) *Sravnitel'nyy slovar' mifologicheskoy simvoliki v indoevropeyskikh yazykakh: Obraz mira i miry obrazov* [Comparative Dictionary of mythological symbolism in Indo-European languages: The image of the world and the worlds of images]. Moscow: VLADOS.

11. Chumak-Zhun, I.I. (2014) *Poeticheskiy tekst v russkom liricheskom diskurse kontsa XVIII – nachala XXI vekov* [Poetic text in Russian lyric discourse of the end of the 18th – beginning of the 21st centuries]. Moscow: Direkt-Media.

12. Windelband, W. (1995) *Istoriya drevney filosofii* [The history of ancient philosophy]. Translated from English. Kiev: Tandem.

13. Marcus Aurelius Antonius. (1993) *Razmyshleniya* [Reflections]. Translated from Latin by A.K. Gavrilov. 2nd ed. St. Petersburg: Nauka. [Online] Available from: <https://www.litmir.me/br/?b=1777&p=1>. (Accessed: 01.03.2018).

14. Aristotle. (2002) *O dushe* [About the soul]. Translated from Old Greek. St. Petersburg: Piter.

15. Fet, A. (1988) *Stikhotvoreniya. Proza. Pis'ma* [Poems. Prose. Letters]. Moscow: Sov. Rossiya.

16. Solov'ev, V.S. (2007) O liricheskoy poezii: Po povodu poslednikh stikhotvoreniy Feta i Polonskogo [About lyric poetry: Concerning the last poems of Fet and Polonsky]. In: Sizemskaya, I.N. *Poeziya kak zhanr russkoy filosofii* [Poetry as a genre of Russian philosophy]. Moscow: IPh RAS.

17. Solov'ev, V.S. (1990) *Stikhotvoreniya. Estetika. Literaturnaya kritika* [Poems Aesthetics. Literary criticism]. Moscow: Kniga. pp. 91–125.

18. Sapozhkov, S.V. (2005) A.A. Fet. In: Korovin, V.I. (ed.) *Istoriya russkoy literatury XIX veka: v 3 ch.* [History of Russian literature of the 19th century: in 3 parts]. Pt. 3 (1870–1890). Moscow: VLADOS, pp. 120–137.

19. Jaspers, K. (2012) *Filosofiya* [Philosophy]. Book 1. Translated from German. Moscow: Kanon+ROOI Reabilitatsiya.

20. Orlov, E.V. (2011) *Filosofskiy yazyk Aristotelya* [Philosophical language of Aristotle]. Novosibirsk: SB RAS.

21. Mamardashvili, M. (2014) *Lektsii po antichnoy filosofii* [Lectures on ancient philosophy]. St. Petersburg: Azbuka, Azbuka-Attikus.

22. Stepanova, A.S. (1995) *Filosofiya drevney Stoi* [The philosophy of the ancient Stoa]. St. Petersburg: Aleteyya.

23. Serezhnikov, V. (2002) Predislovie [Preface]. Aristotle. (2002) *O dushe* [About the soul]. Translated from Old Greek. St. Petersburg: Piter.

24. Foucault, M. (2007) *Germenevtika sub"ekta* [Hermeneutics of the subject]. Translated from French. St. Petersburg: Nauka.

25. Gessen, S.I. (1910) Mistika i metafizika [Mysticism and Metaphysics]. In: Gessen, S.I. (ed.) *Logos: Mezhdunarodnyy ezhegodnik po filosofii kul'tury* [Logos: International Yearbook on the Philosophy of Culture]. Moscow: Musaget.

26. Kant, I. (2007) *Osnovy metafiziki нравственности* [Groundwork of the Metaphysics of Morals]. Translated from German. [Online] Available from: <https://e-libra.ru/read/91803-osnovy-metafiziki-nravstvennosti.html>. (Accessed: 12.01.2019).

27. Batrakova, I.A. (n.d.) *Otnoshenie opyta i razuma v istorii filosofii ot Parmenida do Kanta* [The relation of experience and reason in the history of philosophy from Parmenides to Kant].

Kant]. [Online] Available from: http://www.smyrnyh.com/?page_id=390. (Accessed: 14.02.2019).

28. Chambers, R. (1988) Baudelaire's Dedicatory Practice. *SubStance*. 17 (2). pp. 5–17.

29. Pelevin, V. (2009) *Real'nost' – eto lyubaya gallyutsinatsiya, v kotoruyu vy verite na sto protsentov* [Reality is any hallucination that you believe in one hundred percent]. [Online] Available from: <http://pelevinlive.ru/43>. (Accessed: 18.10. 2018).

30. Eco U. (2005) *The role of the reader*: Exploration in the Semiotics of Text. St. Petersburg: Symposium. 502 p.

31. Shchutskiy, Yu.K. (1993) *Kitayskaya klassicheskaya "Kniga peremen"* [The Chinese classic "Book of Changes"]. 2nd ed. Moscow: Nauka. [Online] Available from: <http://abhidharma.ru/A/Raznoe/Kitai/0004.pdf>. (Accessed: 02.12. 2018).

32. Sedakova, O. (2011) *Apologiya ratsional'nogo* [Apology of the rational]. [Online] Available from: <http://wikilivres.ru/>. (Accessed: 25.10.2018).

УДК 82.09

DOI: 10.17223/19986645/58/14

С.В. Федотова

СТИХИЯ ПАРОДИИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ К.И. ЧУКОВСКОГО (КАЗУС Л. АНДРЕЕВА)

Выявляется роль пародии в литературной критике К.И. Чуковского. Анализ статей представляет эксплицитные пародийные приемы в критике Чуковского и его интенцию на пародию в целом. Динамика нарастания стихии пародии рассматривается на примере работ о Л. Андрееве. Систематизация пародийных элементов позволяет отнести их к одной из ярких особенностей субъективно-импрессионистического метода Чуковского, амбивалентно направленного на проникновение в «душу» художников через пародийный показ их стилевых доминант.

Ключевые слова: К. Чуковский, литературная критика, пародия, Тынянов, Бахтин, Чехов, Брюсов, Блок, Л. Андреев.

1

В разгар борьбы с «чуковщиной»¹ Н.К. Крупская обвинила К.И. Чуковского в том, что его знаменитая сказка «Крокодил» является злой пародией на Некрасова (Правда. 1928. 1 февр.). В протестующем ответе «В защиту “Крокодила”», не опубликованном при жизни писателя, он не только указывает на литературную некомпетентность своего «прокурора», но и раскрывает свое отношение к пародии. «Это – пародия не на Некрасова, а на “Мцыри” Лермонтова, – замечает «обвиняемый» и продолжает. – Хотя, признаться, я не совсем понимаю, почему нельзя пародировать того или другого поэта. Разве пародия на поэта свидетельствует о ненависти к нему? Ведь тот же Некрасов много раз пародировал Лермонтова, – неужели из ненависти? Стоит прочесть любую научную работу по истории и теории пародии, чтобы эти упреки пали сами собой» [1. Т. 2. С. 613].

Максимально показательное признание: Чуковский утверждает позитивную роль пародии, опираясь и на собственный опыт, и на литературную традицию, и на современную науку. К моменту этой заочной полемики богатая история пародий в русской литературе теоретически разрабатывалась формалистами² и М.М. Бахтиным в книге «Проблемы поэтики Достоевского» (1929), где пародия рассматривается как одна из форм «двуугольного слова». В этом же году Тынянов завершает большую статью «О пародии».

¹ Подробнее о борьбе с «чуковщиной» см.: [1. Т. 2. С. 601–630].

² Ю.Н. Тынянов «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)» (1921), Б.М. Эйхенбаум «Некрасов» (1922), В.В. Виноградов «Этюды о стиле Гоголя» (1923), В.М. Жирмунский «Байрон и Пушкин» (1924).

дии» (1929), начатую еще в 1919 г. Хотя тема «Чуковский и Тынянов» требует серьезной разработки, предварительно можно предположить, что их взаимосвязь значима и в биографическом отношении и в концептуальном. Именно в 1919 г. молодой ученый появляется среди преподавателей Дома искусств, литературной студией которого руководил Чуковский. Тыняновские идеи о пародии, разрабатываемые в это время, легли в основу его цикла лекций «История и теория пародии», которые он читал в Доме литераторов в конце 1919 г., и курса для студийцев Дома искусств – «Пародия и литература» (1920 г.). Очевидно, именно тыняновская теория пародии имела в виду Чуковским в приведенном выше ответе Крупской. Под ее основными положениями критик мог бы подписаться как под теоретическим обоснованием собственного критического метода. Но и художественный опыт Чуковского, прославивший его как сказочника, также может служить иллюстрацией к теории пародии. О «доброжелательной» пародийности «Крокодила», выполняющей роль культурного «моста» от одной эпохи к другой, очень много писали. Отметим ценное замечание М. Петровского о том, что хотя «пародийность пронизывает сказки Чуковского, реализуясь на всех уровнях – лексическом, сюжетном, интонационном», при всей их концентрированной цитатности, «искрящей пародийностью», они не становятся пародией в собственном смысле слова [2. С. 51].

Период 1920-х гг. в творчестве Чуковского, когда он уже перестал быть критиком и ушел в другие сферы деятельности, важен с точки зрения переосмысления им своего критического метода, и в частности теоретического осознания интересующей нас проблемы пародии. Этому способствовала его преподавательская деятельность в семинаре по критике в Студии художественного перевода и Литературной студии Дома искусств: обучение молодых студийцев требовало артикуляции собственного литературно-критического опыта, раскрытия механизмов и приемов мастерства критика. В это же время происходит рецепция идей Тынянова, которые словно бы подводят теоретическую базу под стихийно выработанный метод Чуковского. По классическому определению Тынянова, «суть пародии – в механизации определенного приема», соответственно, «пародия осуществляет двойную задачу: 1) механизацию определенного приема, 2) организацию нового материала, причем этим новым материалом и будет механизованный старый прием» [3. С. 210]. Утверждаемые Тыняновым конструктивные особенности пародии – наличие двух планов, гомогенность пародии и стилизации, «невязка» этих планов в пародийном высказывании – стали базовыми в теории пародии. На языке М. Бахтина, эта «невязка» звучит как разнонаправленные интенции (пародируемого и пародирующего) в «двуголосом» слове, когда «второй голос, поселившийся в чужом слове, враждебно сталкивается здесь с его исконным хозяином и заставляет его служить прямо противоположным целям» [4. Т. 2. С. 90, 96]. Так же как Тынянов, различающий *пародийность* и *пародичность* (использование пародии в непародийных целях) [3. С. 290], Бахтин говорит о разных функциях пародии: «...самое пародийное слово может быть различно ис-

пользовано автором: пародия может быть самоцелью (например, литературная пародия как жанр), но может служить и для достижения иных, положительных целей» [4. Т. 2. С. 90]. Пародия осознавалась Чуковским как многофункциональное начало, полезное и для овладения характерными особенностями стиля писателя, и для их утрированного показа («оживления», узнаваемости) в созданном портрете, и для высмеивания литературных штампов. Особенно близка его позиция к пониманию пародии как жанра литературной критики¹. Таким образом, есть все основания рассматривать своеобразие критического метода Чуковского в предлагаемом ракурсе – под знаком пародийной стихии. Особенно интересно проследить становление этого метода с самого начала, увидеть, как молодой провинциальный журналист обрел *лица необщее выражение* в изобилующем талантами Серебряном веке русской литературы.

2

Восхождение Чуковского на критический Олимп было стремительным, хотя далеко не триумфальным. Первые его статьи, напечатанные в «Одесских новостях» в 1901–1902 гг., объемны и тяжеловесны по стилю. Они представляют собой попытки разобраться в разнообразных теориях общественной жизни и искусства, с философскими и социологическими обобщениями в духе Михайловского, хотя и направлены против его утилитарности и «идейности» [6. С. 259–260], с обильными цитатами и ссылками. Во многом они продукт хаотичного чтения Чуковского, интенсивно восполняющего пробелы своего образования перелопачиванием толстых литературных журналов, трудов Канта, Шопенгауэра, Ницше, Маркса – всех значимых для эпохи мыслителей. Пытаясь «соединить все разнородные произведения одной идеей» [1. Т. 11. С. 48], стихийный теоретик разрабатывает свою философскую концепцию, синтезируя идею Канта о «целесообразности без цели» и эстетическую философию жизни Ницше. Отсюда вытекают константные начала мысли Чуковского (самоцельность искусства, «жизнечувствие» / «жизнеощущение», «личность» и «душа»), объясняющие импрессионистичность, интуитивность его метода, а также любовь к антиномиям, парадоксам и афоризмам.

Любопытно, что в это же время молодой Чуковский пишет пародийный роман и старательно вспоминает в дневнике свои пародии, сочиненные еще в гимназии [Там же. С. 18]. Все эти «школьные» пародии, несомненно, свидетельствуют о том, что пародийная стихия «канализируется» пока еще только через эго-документ, не проникая в печатные тексты. Но то, что она существует, бурлит и ищет выхода, фактически подтверждается многими страницами дневника. Пародичную продукцию раннего Чуковского можно оценить, по Тынянову, как «очень удобный знак литературности, знак при-

¹ См., например, вступительную статью Л. Гроссмана «Пародия как жанр литературной критики» к сборнику «Русская литературная пародия» [5. С. 39–48].

крепления к литературе вообще» [3. С. 290]. Для Чуковского, «выходца из низов, самоучки» [2. С. 9], мастерство *пародичной* имитации позволяло самым прямым и коротким путем приобщиться к большой культуре. Эти опыты не пропадут даром и найдут себе применение в «безотходном производстве» Чуковского.

Так, он внесет свою лепту в традицию «нейтрального» пародирования «Евгения Онегина» Пушкина [7. С. 69], опубликовав свое сочинение «Нынешний Евгений Онегин. Роман в четырех песнях» сначала в Одессе, затем в частично переделанном виде в Петербурге. Стиховой «фельетон с пародическими элементами», который пользуется старыми произведениями, включая в их «ритмико-интонационный макет инородные темы» [3. С. 289], активно будет продуцироваться Чуковским, когда он, переехав в северную столицу, станет редактором сатирического журнала «Сигнал», «журнала пародий» [8. С. 30]. В нем будут печататься *стиховые политические фельетоны*, в которых пародирование художественных текстов направлено на внелитературные цели. Встречается в раннем творчестве Чуковского и *пародийная мистификация*, созданная «не ради славы, не ради денег, а в целях рекламы»¹.

Настоящий шумный успех критику принесла его первая книга «От Чехова до наших дней. Литературные портреты и характеристики» (1908), в которой были собраны критические фельетоны Чуковского, опубликованные в первые три года его столичной деятельности в самых разных газетах и журналах. В ней в полную меру выявились основные черты Чуковского-критика – прирожденный критический темперамент, художническая интуиция, импрессионизм, нешаблонность оценок, убийственная ирония, сильно развитая тенденция к карикатуре и гротеску, стилизации и пародии, наконец, фельетонный стиль, рассчитанный на массового читателя. Эти черты постепенно станут «фирменными» характеристиками литературной критики Чуковского.

Отзыв В. Брюсова об авторе «От Чехова до наших дней» стал классическим: литературные «портреты» Чуковского он назвал «блистательными карикатурами», которые берут «одну черту в данном явлении или в данном лице и безмерно увеличивают ее» (Весы. 1908. № 11). Однако далеко не все оценили книгу так же восторженно. Скандальная популярность сопровождала и все следующие работы Чуковского («Леонид Андреев большой и маленький» (1908), «Нат Пинкертон и современная литература» (1908. 2-е изд. 1910), «О Леониде Андрееве» (1911), «Критические рассказы» (1911), «Лица и маски» (1914), «Книга о современных писателях» (1914)). Широкий спектр противоречивых оценок заставил Л. Сильного (С.Ф. Либ-

¹ Об этом узнаем из любопытного письма в июне 1906 г. к помощнику редактора вечернего выпуска газеты «Биржевые ведомости» А.В. Руманову, в котором он сообщает, что «написал пародию на обычные “биржевые” фельетоны», и просит: «Друг мой, будьте настолько циничны, будьте настолько нахальны и бессовестны, – напечатайте ее в Вечерних, в виде всамделишного радикального фельетона, сохранив, конечно, полное инкогнито – Уважающего Вас Корнея» [1. Т. 14. С. 94].

рович), доброжелательно настроенного рецензента, признать необычайную трудность «ответа на вопрос, что такое “чуковщина” и что такое тот новый жанр своеобразной, легкой критики, который создал К. Чуковский» (Вестник литературы. 1909. № 5). Показательно также быстрое появление множества более или менее остроумных прозвищ: «неистовый Корней», «Нат Пинкертон русской критики», «фейерверкер», «коммивояжер», «enfant terrible русской литературы», «Корней Белинский» и т.д. В каком-то смысле Чуковский, критик и лектор, стал *пародической личностью* [3. С. 303].

Сборник «От Чехова до наших дней» интересен как своеобразный аккумулятор пародийных интенций автора, стихийно проявляющихся раньше и развивающихся в дальнейшем. Подчеркнем, что Чуковский не был пародистом в чистом виде, как, например, знаменитые в этом жанре В. Буренин и А. Измайлов. Чаше говорят об устойчивых элементах стилизации в его творчестве. Так, К. Депретто считает, что Чуковский, отмечая своеобразие какого-либо художника, «описывает его несколько карикатурно и нередко в своем изложении подражает манере того писателя, о котором идет речь» [9. С. 254–255]. На наш взгляд, для характеристики критического метода Чуковского большое значение имеет определение пародии как «творческой оценки словесного искусства», как *жанра литературной критики*. «Выделяя и гипертрофируя те или иные комические, странные или своеобразные черты оригинала», пародия «служит критику для иллюстрации и заострения его суждений» [5. С. 39–40]. Далеко не случайно сближение Чуковского с Бурениным, талант которого он ценил¹, в пародии В. Ирецкого «Из современных русских песен» (на мотив «Погиб я, мальчишечка»): *Погиб я, Чуковский, погиб, людоед, / И быть мне Бурениным через десять лет...*» (Сатирикон. 1910. 24 апр. № 17).

Замеченные всеми читателями остроумие, парадоксальность, оригинальность, склонность к стилизации и карикатурности автора первого сборника связаны, как видится, с пародийной стихией, которая в нем бушует, принимая всевозможные формы. Уже само заглавие носит игровой характер, аллюзивно отсылая к цитате из Пушкина, характеризующей познания Онегина: *Он рыться не имел охоты / В хронологической пыли / Бытописания земли; / Но дней минувших анекдоты / От Ромула до наших дней / Хранил он в памяти своей* («Евгений Онегин», гл. 1, строфа 6) (выделено мною. – С.Ф.). Ироническое обыгрывание *анекдотов от Ромула до наших дней* – пародийная программа критика: представить не историю литературы в определенный хронологический отрезок, а карикатурные портреты, как это сразу определили рецензенты.

В пародической же замене собственного имени в цитате – указание на исключительно важную роль Чехова как в русской культуре, так и в творче-

¹ В «Чукоккале» Чуковский, рассказывая о В.П. Буренине как литературном критике, чьей специальностью стали «нападки на Михайловского, Чехова, Горького, Блока, Леонида Андреева и других писателей враждебного ему направления», заявляет: «...говоря беспристрастно, это был один из самых даровитых писателей правого лагеря. Иные его пародии бывали порой остроумны и метки» [10. С. 197].

стве самого автора. О неизменности любви к Чехову свидетельствуют дневники и письма Чуковского, его работы разных лет. В литературном портрете Чехова, открывающем книгу, содержатся высказывания о писателе, которые носят, как видится, во многом субъективный характер и говорят больше о критике, о его собственных идеалах. «Чехов скрытнейший из художников»; «художественная откровенность для него просто невыносима»; в его произведениях стыдливо прячутся «интимная правда, красота этой правды, поэзия этой правды»; «он любил и славил, и воспевал единое мировое начало, великую бездельность, безвыгодность, самоцель» [1. Т. 6. С. 33–38]. Нельзя не заметить, что вера в единственную правду «самоцельности» жизни и искусства – тщательно спрятанная святыня молодого критика, о которой он долго мечтал написать философский трактат. Она, скорее всего, и есть та «почва», которая определяет ценностную точку зрения Чуковского, его шкалу и которую не заметили современники за фейерверком блистательных «карикатур». Чем ближе к этому идеалу художники, тем дружелюбнее портрет, построенный на «удивительно метко и талантливо схваченных» чертах, чем дальше – тем ядовитее и беспощаднее пародии.

Выбрав цитаты из литературного портрета Чехова, мы совершили ту же процедуру, которую обычно применял критик. «Выделив в творческом облике писателя некую доминанту, Чуковский подбирал примеры и цитаты таким образом, чтобы выделенная им черта постепенно заслонила все остальные», – замечает Евг. Иванова [Там же. С. 16]. Следуя за критиком, мы нашли *доминанту* его личности в его же комментирующе-оценивающей речи. Чеховский идеал – это идеал самого Чуковского, который он вычитывает в его произведениях и с восхищением, без всякой иронии демонстрирует как сокровенную сущность художника. Но характеризуя писателей, отклоняющихся от этого идеала, Чуковский проявляет необыкновенную изобретательность в иронической оценке, разнообразно деформируя «чужое слово» в пародийном ключе. Многие «портреты» начинаются с незакавыченного цитирования (часто диалога героев), за которым следует комментирующая речь критика, как будто «сливающаяся» с авторской. Постепенно нарастают *остраняющие* оценки, создающие ироническую имитацию – одну из разновидностей пародии. Приемы стилизации необходимы критику для «показа» художественной манеры «изнутри», из точки вчувствования в мироощущение художника. Здесь Чуковский сближается с импрессионистической критикой начала века. Как Ю. Айхенвальд, А. Белый, И. Анненский, он работает в жанре «этюда-силуэта», но наполняет его, как правило, сатирическим содержанием, трансформируя в жанр критического фельетона [11. С. 636–639, 663]. Нередко при этом он деформирует «чужое слово», вводя его в собственную ироническую речь, т.е. использует прием буквальной цитации, вставленной в контекст, придающий комическое значение [5. С. 44]. Все пародийные приемы, применяемые им (повторение одной и той же цитаты с разной интонацией; иронический рефрен, скрепляющий отдельные пародии, которые высмеивают шаблонные, механизированные приемы писателей-

эпигонов; переписывание стихотворения «от конца к началу», отрыв эпитетов, интонационная пародия и т.д.), несомненно, выступают средством резкой сатиры. Она убивает наповал, демонстрируя критическую оценку писателей и, что немаловажно, пародийное мастерство самого критика. Не случайно З. Гиппиус тонко замечает в письме к Чуковскому от 21 января 1908 г.: «...ведь этот ваш тон и “легкость пера” вам самому нравятся! Вот тут-то главная, да, может быть, и единая опасность! Нравятся, нравятся, чую и вижу это сквозь ваши улыбчивые жалобы и скромные отмахиванья. <...> Ваша скромность – чуть-чуть “скромность великого человека”»¹.

Завершается книга «От Чехова до наших дней» очерком «Леонид Андреев». Чуковский утверждает, что Андреев является «фокусом всех типических черт, разрозненно пребывающих в других современных писателях. Все свойства своих современников Андреев увеличил до грандиозных размеров и все совместил в себе. Он синтез нашей эпохи под сильнейшим увеличительным стеклом» [1. Т. 6. С. 163]. Подчеркивая отдельные черты стиля других писателей, Чуковский использует прием гиперболической переакцентуации, без которой немыслима пародия: «...язык пародийного искусства гиперболичен сплошь, насквозь» [12. С. 71]. Но в случае с Андреевым объектом гиперболического изображения становится сама гипербола. Появляется *вторичная гипербола*, или *гипербола приема* [5. С. 61]. Гиперболизируя в духе Гоголя (нагнетая прилагательные в превосходной степени), Чуковский создает гротескную характеристику:

«Если другие поют теперь отвлеченного общечеловека, то Андреев поет отвлеченнейшего.

Если другие враждебны мещанству, то Андреев враждебнейший из всех.

Если другие теперь поголовно “стихийны”, то Андреев стихийнейший.

Если другие во власти города, то Андреев в этой власти с ног до головы» [1. Т. 6. С. 164].

Необходимо подчеркнуть, что в литературной критике Чуковского Леонид Андреев – постоянный «герой». К его творчеству он обращался так часто, что это обыграл Саша Черный в фельетоне «Советы начинающим критикам» (1908), направленном в адрес Чуковского [13. С. 182]. В ряду ироничных советов есть и такой: «Первые полгода оставь Андреева в покое. Если сможешь удержаться, не трогай его и вторые полгода» [14. Т. 3. С. 49]. Однако Чуковский «трогал» и даже «кусал», хотя и считал Андреева талантливым художником. В приведенном выше письме З. Гиппиус «наставляет» молодого критика: «Удивляюсь вашему преклонению (журналиста, который всегда, однако, может и за пятку укусить) перед Андреевым. Пора, кусайте!»

Неровное отношение писателя к себе Чуковский сам описал в воспоминаниях об Андрееве (где выборочно и фрагментарно опубликовал и прокомментировал его письма), а также в своем дневнике. На основании этих материалов обычно реконструируют сложный случай «переменчивого по-

¹ НИОР РГБ. Ф. 620. К. 62. Ед. хр. 99. Л. 2–2 об.

стоянства» их дружбы [15]. Мы же предлагаем рассмотреть casus Андреева в совершенно ином ракурсе – через выявление динамики усиления пародийной стихии в критических работах Чуковского о нем. На наш взгляд, именно такой подход поможет понять, каким образом Чуковский в восприятии Андреева превратился из самого пронизательного критика в *Иуду из Териок*.

3

В первой статье Чуковского «Дарвинизм и Леонид Андреев. Второе “письмо о современности”» (1902) писателю посвящена последняя, шестая, главка. С первых же слов Чуковский различает «настоящего» и «ненастоящего» Леонида Андреева. Подлинный Андреев – создатель «Стены», «Лжи» и «Молчания», а не бытописатель (автор «Петьки на даче», «Кусяки» и «Вали»). Он «художник-философ, художник, стремящийся воплотить в образах не бытовые стороны какого-нибудь движения какого-нибудь отдельного человека – а отвлеченные идеи, категории абстрагирующего мышления» [1. Т. 6. С. 246]. Критик называет Андреева «великим талантом», вскрывающим философские причины отчужденности людей, их общий ужас перед миром, а не конкретные эмпирические или психологические обстоятельства героев. Пронизательно замечание Чуковского о том, что в чисто андреевских вещах «люди и вещи являются как общие алгебраические знаки, представляющиеся единственно истинными для всех конкретных положений». Не менее важна намеченная им эволюция русской литературы от Гоголя до Андреева: «*Типичность лиц* заменена *типичностью положения*», в котором действует «алгебраический общечеловек». Во всем этом разборе нет даже намека на стилизацию или пародийность: тон почти-тельный, даже восхищенный; интерпретация глубокая, суждения остроумные; приводимые цитаты (с указанием страниц) строго отделены от комментирующей речи критика. Именно на этот первый опыт Андреев откликнулся известным письмом, в котором признал точку зрения Чуковского «самой верной» из всего, что о нем писалось, особенно мнение о нем как о философе, жертвующем художественной конкретикой [Там же. Т. 5. С. 120].

В статье «Красный смех» (1905) оценка критика начинает меняться. Он положительно оценивает экспрессионистичность стиля Андреева, который «старается расширить компетенцию литературы». Затем развивает прежнюю мысль о том, что писателя «интересует только философская сторона жизни», что дает преобладание абстрактных образов. И впервые говорит о «слабости Андреева», которая проявляется в «отсутствии цельного, захватывающего впечатления. Для художника – он слишком отвлеченно мыслит, а для философа – он слишком конкретно ощущает». Заявленные в первой статье две ипостаси писателя (истинная и неистинная) трансформируются здесь в вывод о «роковом разладе в нем». В стилистическом отношении намечается разрушение точной цитации, но «чужое слово» по-прежнему дается уважительно и доброжелательно, критик не деформирует

его своим вмешательством. Заканчивается рецензия пожеланием Андрееву в духе добросовестного критика *Аристарха*: «...хотелось бы, чтобы поскорее победила какая-нибудь одна сторона его жизнеощущения» [1. Т. 6. С. 319–322].

Однако отклик «Новый рассказ Леонида Андреева» («Вор»), написанный в том же 1905 г., выдержан в совсем иной тональности. «Притворимся, что нам ужас как интересен хотя бы новый рассказ Леонида Андреева», который «и в сравнение не пойдет с аляповатым, напряженным и фальшивым “Красным смехом”» – так начинается статья, уже с первой фразы демонстрируя разнонаправленность интенций критика и художника. Далее следует подробный пересказ, с отдельным включением «закавыченных» андреевских слов, но в целом выдержанный в стилизаторском плане. Нельзя не заметить, что в этой рецензии интуитивно нащупывается «фирменный» прием критика в дальнейшем – определение семантической доминанты (на основе констатации частотности употребления отдельных лексем), который полностью отсутствовал в первых статьях (хотя, казалось бы, в «Красном смехе» невозможно не заметить настойчивого повторения слов «внезапно», «внезапный»). О героях «Вора» говорится, что они «воспринимают жизнь как-то вне рассудка, и даже вне чувства, – они ничего не знают, ничего не ощущают; им все “кажется”». И хотя отмечается, что писатель «нашел свои собственные слова», «свою собственную манеру», вывод Чуковского звучит иронично за счет подчеркивания «обычности» приемов и *остраняющего* многоточия: «Рассказ, как видите, чрезвычайно андреевский... Одиночество, ужас – обычные его мотивы... Воры, проститутки – обычные его образы. Импрессионизм – обычная его, созданная им манера...». Двойственна итоговая положительная оценка рассказа в целом, сопровождаемая сожалением критика по поводу «надуманности» многих страниц Андреева, *обусловленных стилем*: «Жаль только, что он попал во власть своего же создания. Все чаще и чаще обнаруживается, что не стиль во власти автора, а автор во власти своего стиля» [Там же. С. 348–350].

Несомненное нарастание пародийной стихии демонстрирует фельетон «Новая повесть Л. Андреева» (1907), посвященный «Елеазару», опубликованному в модернистском «Золотом руне». Переход Андреева в лагерь символистов дает повод к пародированию читательских оценок и литературной ситуации в целом: «Декадентство! Символизм! – говорите вы, не замечая, что в российской словесности давно уже нет ни декадентства, ни недекадентства, а есть литература и есть макулатура». В контексте констатации «растиражированности» декадентских приемов неоднозначно подается решение Андреева сотрудничать с модернистскими изданиями. При утверждении в его талантливости появляется ироничный намек на прагматизм писателя: в ситуации, когда «все хорошее и ценное оказалось декадентством, а все плохое – недекадентством», он встал вдруг «в одну шеренгу» с Мережковским, Минским, Бальмонтом, Буниным, Брюсовым, Сологубом. Ироничность раскрывается в определении темы «Жизни Человека» – «пустота» и «ужас Бесконечного», которую, читаем в подтексте, Андреев за-

имствовал у модернистов. «Этот ужас Бесконечного – стал теперь, если хотите, литературной модой. <...> Для того, чтобы стать теперь истинным поэтом, нужно уметь ужаснуться». Насмешливое отношение к модернистам проявляется в объединении Блока, Брюсова, Белого, Леонида Андреева «этим животным ужасом, который заставлял толстовского Ивана Ильича кричать протяжно и однотонно: – У-у-у-у!». Утрированное отождествление символистского мироощущения с этим криком, его трехкратное повторение в тексте с усилением интонационной экспрессии, носит, несомненно, пародийно-сатирический характер. Но Андреев, по Чуковскому, «ужасает» своим неизменным влечением «только к алгебре человеческой души»: все люди равны у него «не по социальным каким-нибудь императивам, не по требованиям этическим, а в силу одинаковых, до смешного одинаковых “бесформенных мыслей” своих, порожденных ужасом бытия, присущим всему живому». Все вышесказанное – развитие прежних критических наблюдений Чуковского, но теперь они подаются в другой тональности, гротескно усиливаются. На основе приема выделения семантической доминанты (любимые слова Андреева: «Кажется. – Будто. – Словно. – Точно. – Похоже. – Вроде. – Как») имитируется схематизм андреевского стиля, проявляющего отсутствие подлинного понимания жизни – «кажимость» мысли [1. Т. 6. С. 438–442].

Найденный пародийно-сатирический тон и выработанные техники критического анализа становятся ведущими в дальнейших оценках творчества Андреева, даже если признаются его удачи. Так, в фельетоне «Об Иуде Искарите и г. Скитальце» (1907), появившемся спустя полгода, повторяется прием сопоставления произведений Андреева и модных символистских идей, который строится на ироническом обыгрывании концепции Вяч. Иванова (развиваемой Г. Чулковым) о «правом» богоборчестве и неприятии мира. Модному «богоборчеству» Чуковский парадоксально противопоставляет «мироборчество» Андреева, что скептически прокомментировал А. Блок¹. Но критику важно выделить писателя из стана символистов: «Иуда Искарит» для него «не мистическая поэма, не отвлеченное философское волхвование, припиленное к библейскому событию», а «гневная, яростная *сатира*, обличение вечного мирового уклада, допустившего и беспрестанно допускающего куплю-продажу Бога» (выделено мною. – С.Ф.). Однако, восхищаясь новым произведением «самого отвлеченного из русских поэтов», Чуковский не может удержаться от иронической оценки «предательских, капризных срывов в сторону неожиданной конкретности» у Андреева: «Зачем, например, Петра создал он похожим на Ахилла из “Прекрасной Елены”, Иоанну придал черты студента-первокурсника, а Фому превратил в Кифу Мокиевича?» [1. Т. 6. С. 498].

¹ Блок пишет, что ему непонятно, «почему г. Чуковский так усердно разносил “Жизнь Человека” и вслед за тем так превознес “Иуду Искарита” и других, в котором увидал почему-то “мироборчество” и, кстати, по этому поводу разругал “богоборчество”» («О современной критике» (Час. 1907. № 61).

Статья «Об Иуде Искарите и г. Скитальце» легла в основу литературного портрета Андреева, которым завершается книга «От Чехова до наших дней». Помимо тех пародийных приемов, которые были рассмотрены в предыдущих работах, здесь, как уже говорилось, добавляется намеренное заострение гиперболизма Андреева в решении всех сквозных тем сборника: импрессионизма, антимещанства и индивидуализма. Исключительно интересна и важна новая характеристика, внесенная при переработке прежней статьи. «Все современные идеологии он доводит до крайних пределов, почти до карикатуры» [Там же. С. 168]. Определяя Андреева как карикатуриста, Чуковский как будто прогнозирует восприятие себя самого в глазах рецензентов как критика-карикатуриста, преувеличивающего отдельные черты в ущерб целостной картине. Симптоматично само стремление «вчитать» в Андреева собственный метод, найти общее между своим «героем» и самим собой.

В 1908 г. Чуковский выпускает еще одну книгу «Леонид Андреев большой и маленький», название которой отсылает к заголовку рассказа А.П. Чехова «Володя большой и Володя маленький» (1893). Книга выросла из лекций Чуковского об Андрееве, т.е. изначально была ориентирована на публичные выступления, мастером которых был критик. При подготовке лекционного материала Чуковский «достал все, что написано об Андрееве, и все, что написал Андреев (даже ранние фельетоны)», как он сообщал в письме к М. Гершензону в марте 1908 г. [Там же. Т. 14. С. 159]. Замысел книги отличается оригинальностью. Первый раздел – «Жизнь Леонида Андреева» – представляет личность писателя в отражении газетных фельетонов, слухов и домыслов; второй – критический очерк самого Чуковского, в третьем разделе – «Леонид Андреев и его читатель» – собраны высказывания читателей и критиков о творчестве Андреева. Чуковский так объяснял цель первого раздела: «...с фактами в руках установить огромную степень общественного попустительства и обнаружить ту фантастическую невероятную бытовую обстановку, в которой приходится расти и развиваться русскому дарованию». Однако выбранные им газетные сплетни в своей совокупности создают не объективную картину, а, скорее, пародийный портрет российской прессы. Аналогично третий раздел должен был, по словам составителя, дать «кое-какой материал для суждения о той среде, в которой произрастают наши культурные работники» [Там же. Т. 6. С. 183]. Но в результате получилась сатира на критику, не воспринимающую оригинальный талант. Пародия на стиль современных Зоилов изобретательно представлена в виде «Словаря критических отзывов о Леониде Андрееве и его произведениях», который собрал в алфавитном порядке самые бранные эпитеты, допущенные в отзывах об Андрееве. «В итоге здесь оказалась представлена квинтэссенция ярлыков и расхожих суждений, отражающих панибратский тон, усвоенный критикой по отношению к писателю» – нельзя не согласиться с этой оценкой Евг. Ивановой, но очень трудно – с ее убеждением в том, что «хотя портрет Андреева-писателя, превращенного в критическом очерке Чуковского во “вдохновенного Тьюху”, далек от

прославления, в целом книга была написана несомненно в защиту Андреева от неуважительного отношения к его таланту» [1. Т. 6. С. 578–579]. Препятствует же такому апологетическому восприятию сам критический очерк Чуковского, центральная позиция которого, по сути, должна была бы – в обрамлении двух пародийно-сатирических разделов – выгодно представить неискаженное понимание личности художника через анализ его стиля. На самом же деле в нем в полную мощь бушует стихия пародии, принимая угрожающие размеры. В результате книга была воспринята неоднозначно, многими – как резкая сатира на Андреева. В рецензии «Обвинительный акт против Леонида Андреева» (Вестник литературы. 1908. № 5) Л. Сильный даже выступил в защиту писателя от нападков талантливого, но не всегда справедливого критика.

В соответствии с «двойным» названием книги Чуковского его критический очерк построен на противопоставлении «большого» и «маленького» Андреева. Хотя это никак не оговаривается автором, но сама логика изложения позволяет понять следующее. «Большой» Андреев – это модный писатель, «халтурщик», который «делает» злободневные трагедии, «заготавливает их <...> целыми партиями» на потребу публике, «маленький» – это подлинный художник, который велик «теми своими вещами, которые прошли совершенно незамеченно, и теми своими идеями, которых, может быть, он и сам не замечает в себе» [Там же. С. 197–200]. Как видим, дихотомия «мнимого» и «подлинного» таланта, провозглашенная еще в ранней статье об Андрееве, становится определяющей в критической оценке Чуковского, правда, в совершенно другом ракурсе. В большей степени нас интересует первая ипостась: именно она выступает объектом достаточно злой сатиры, переполненной пародийными пассажами.

Говоря о «лихой ремесленности» в своевременном изготовлении заказанных публикой трагедий», Чуковский пародирует диалог «ремесленника» с толпой: «Трагичность голода? Могу. Трагичность города? Могу! Трагичность веры, власти, познания, бытия – чего угодно, все могу. У меня по таксе. Не угодно ли преysкурант?» [Там же. С. 199]. Вся первая часть (5 главок из 7) построена в таком же, пародийно-глумливом, духе. Ко всем уже известным нам пародийным приемам из арсенала Чуковского (гиперболизации приема, ироничному остранению, стилизации на основе контаминации «незакавыченных» цитат из разных произведений, всевозможным «деформациям» «чужого слова», композиционным перестановкам, соединению «высоких» и «низких» слов в одном выражении, интонационной переакцентировке и т.д.) добавляется самый, наверное, убийственный и «приклеившийся» к Андрееву надолго. Критик отождествляет Андреева с его же героем из «Саввы», глупым пьяницей, трактирщиком Тюхой, у которого была своя философия: «Никакого Бога нет. И дьявола нет. И людей тоже нет. И зверей тоже нет. Ничего нет. – Что же есть? – Рожи одни есть. Множество рож. Все рожи, рожи, рожи. Очень смешные рожи, я всегда смеюсь». Эти «рожи» идут рефреном через всю статью, вклиниваются в цитаты из других произведений Андреева, пародийно сливая точку виде-

ния героя с мировосприятием художника: «И так уж устроены глаза этого вдохновенного Тюхи, что все зримое воспринимает он, как карикатуру, как уродливое отображение действительности» [1. Т. 6. С. 186–187].

Нельзя не заметить, что к уже знакомой нам по прошлой статье «карикатурности» Андреева здесь добавляется еще одна характеристика писателя как восприимчивого «репортера, а не трагика и не символиста»: «Я преклоняюсь пред творчеством Леонида Андреева, но в каком-то порядке его творчество, как трагического писателя, кажется мне злободневным и фельетонным» [Там же. С. 198]. Биографический факт (сотрудничество в «Курьере»), с которого началась карьера писателя, подается как его художническая стратегия заигрывания с читателями, подчинения своего дара их прихотям и забавам. В утрированном характере этого жесткого утверждения отчетливо звучит личное признание. Ведь Чуковский тоже фельетонист, тоже газетный поденщик, вынужденный прислушиваться к издателям и развлекать массового читателя. Все те «обвинения», которые он вменяет Андрееву, предъявлялись ему самому. Особенно явно это прослеживается в статье Чуковского «Оптимизм Леонида Андреева: К 10-летию литературной деятельности», впервые опубликованной в газете «Свободные мысли» 15 апреля 1908 г., но вошедшей в следующий сборник «О Леониде Андрееве» (1911). Для нас важно, что она является прямым продолжением, точнее, варьированием, критического очерка из «Леонида Андреева большого и маленького», сохраняя ту же двойную структуру, что и раньше.

Первая часть открывается звучащим достаточно иронично признанием критика в любви к афишам: «Их идеал: яркость; их художественный принцип: бей по голове! Никаких полутонов, никаких оттенков!» [Там же. Т. 7. С. 65]. Однако дальше, прикрываясь полушутливым, полуёрническим тоном, Чуковский проговаривает принципиально важные вещи, демонстрирующие его необыкновенную чуткость ко всему новому. Именно в площадном искусстве афиши, плаката – ростки демократического искусства. «Здесь новые задачи искусства, здесь новая эстетика, – и, право, эта эстетика не хуже всякой другой. И не нам, газетчикам, отворачиваться от нее. Нравится нам это или нет, мы такие же данники уличной, площадной эстетики, как и те, кто создают афиши». Задолго до формалистов, обратившихся к жанру фельетона в 1920-е гг., «стихийный теоретик» заявляет: «Пора уже вписать в теорию словесности новый литературный род – фельетон, и когда я стою пред афишей, я чувствую: она мне сродни. Фельетон, как и афиша, не смеет быть вялым, не смеет шептать и интимничать, в нем напряжен каждый нерв, он весь – электричество, потому что и он пред толпой – мимолетный трибун миллионов, рожденный на уличном сквозняке. Мы – баяны трамваев, миннезингеры ресторанов и кафе» [1. Т. 7. С. 66].

Подчеркиваемое типологическое сходство между фельетоном (мастером которого был Чуковский) и афишей, гением которой провозглашается здесь Л. Андреев, чрезвычайно важно. Пародийно-сатирический «показ стиля» писателя продолжается в найденном тоне и даже усиливается за

счет новых «ошеломительных» отождествлений и сравнений. Но все же в этом потоке глумливого высмеивания однообразных художественных приемов, приравненных к «швабре», «барабану», *кошке с привязанной к хвосту жестянкой* и т.д., можно вычленить ряд ключевых позиций, близких критическому методу самого Чуковского. Так, он пишет: «Любую отвлеченную, философскую мысль умеет превратить Андреев в такой эксцентрически парадоксальный, эффектно-афишный образ, и я всей душою чувствую: это прекрасно» [1. Т. 7. С. 69]. Но парадоксальность была отличительной чертой стиля критика с самого начала его карьеры. Он утверждает, что Андреев «похож на того, кто с сильнейшей лупою подошел бы к дереву и увидел бы то грандиознейший лист, то длиннейшие волокна коры, <...> а самого дерева так бы и не увидел. <...> Как знаменательна эта лупа в руке у площадного поэта!» [Там же. С. 70]. Но глаз самого Чуковского, по выражению В. Розанова, «вооружен какой-то сильной лупой, и через нее он замечает смешные качества в писателях, раньше безупречных. Литераторы стали бояться Чуковского» (Новое время. 1909. 3 окт. № 12055). «А эти афишные контрасты! <...> И афишная гиперболичность при этом», – восклицает Чуковский по поводу манеры Андреева [Там же. Т. 6. С. 74]. Но ведь названы особенности статей самого критика, привлекательные для пародистов [14. С. 178–181]. На принципе высвечивания одной черты за счет ее преувеличения (или, наоборот, преуменьшения), особенно на фоне контраста, будет построена статья «Ахматова и Маяковский (Две России)» (1921). Да, собственно, и «Леонид Андреев большой и маленький» организован точно так же. Ко всем этим параллелям и пересечениям, которые далеко не исчерпаны приведенными примерами, необходимо добавить еще одно – признание Чуковского в дневнике (25 апреля 1921 г.) о важности для него закона театральных лекций: «Мои многие статьи потому и фальшивы и неприятны для чтения, что я писал их как лекции, которые имеют свои законы – почти те же, что и драма. Здесь должно быть действие, движение, борьба, азарт – никаких тонкостей, все площадное» [1. Т. 11. С. 329].

Исследователями верно отмечается «субъективность» критического метода Чуковского, с характерным принципом «переноса» собственных представлений на объект изучения [16. С. 417–424]. Моделируя образ изучаемого «героя», Чуковский, действительно, придает ему собственные черты, неосознанно выражает себя [17. С. 92]. Однако важно учитывать, что при этом «переносе» он погружает созданную «модель» в стихию пародии, тем самым как бы отчасти пародируя самого себя, точнее, свою литературно-критическую маску, свой имидж «веселого критика». Показательно признание в точке сюжетного поворота от «большого» Андреева к «маленькому»: «...до сих пор и пред нами был не живой, не настоящей Андреев, а только как бы “рожа” Андреева, так как я пишу не портрет, не “эскиз”, меньше всего “характеристику”, а тоже плакат об Андрееве». Это чисто пародийный прием: «плакатность» писателя дается в кривом зеркале «плаката» критика. Антитезой же выступает скрытый за маской «“мой” Андреев, не уличный <...> а элегический и нежный художник». Подлин-

ного Андреева Чуковский находит в своих любимых произведениях («Вор», «Губернатор», «Призраки», «Семь повешенных»), в них раскрывается сокровенная правда «голого» человека, с которого совлечены социальные «рожи». Преступники, проститутки, губернаторы, маньяки – «все они поэты, лирики, Александры Блоки, – все до единого». Вера в «голое, смелое, свободное, прекрасное “я”, которое томится в плену у жизни» – вот единственная правда Андреева согласно выводам Чуковского [1. Т. 7. С. 81–85]. Не так же сам критик настойчиво искал «душу» художника, его подлинное «я»?

Очерк «О Леониде Андрееве» заканчивается стихотворением американского поэта У. Уитмена, к переводу и пропаганде которого в России Чуковский приложил много сил. Объяснение Андреева через Уитмена демонстрирует глубинное родство между писателем, поэтом и самим критиком-переводчиком. Открывая сокровенную правду в каждом из нас, говорит Чуковский, «Андреев как бы слово в слово поет этот изумительный псалом моего любимого поэта». Из этого стихотворения приведем несколько значимых для нашей темы строк:

Все, что ты делал, к тебе обернулось, как будто бы чья-то насмешка,
Но посмешище это – не ты.

Там, под спудом внизу, затаился ты настоящий.

И я вижу тебя, где никто не увидел тебя [Там же. С. 91–92].

Интенция на выявление глубоко спрятанной сущности души художника, родственной Чуковскому, демонстрирует неизменность его идеала, который мы вычленили в статье о Чехове (см. выше). Но отклонения от художественной правды, схематизм и шаблонность приемов, которые постепенно становятся преобладающими у Андреева, неизменно вызывают его протест. Так, «по долгу профессионального критика», в нашумевшем фельетоне «Устрицы и океан» (1911) он «наносит удар» автору «Океана», в котором «все худшие стороны стиля Леонида Андреева были доведены до крайних пределов» [Там же. Т. 5. С. 124]. Позицию Чуковского можно понять как принципиальность, тем более что в высмеивании стилевых трафаретов он был вполне последователен. Но писатель понял ее иначе. Он обвинил критика в предательстве, хлестко назвал *Иудой из Териок*, написал гневное письмо, в котором есть удивительно пронизательные строки: «Вы шутите, Корней Иванович? Притворяетесь? Мистифицируете публику, Гессена? Кто вы, Корней Иванович? И каковы у Вас отношения с Корнеем Чуковским? Он ли вас предает, или же Вы поставили себе задачей создать своеобразнейший тип вроде Козьмы Пруtkова, назвали его Корнеем Чуковским и как некую неглубокую литературную загадку пустили в мир для посрамления?» [Там же. С. 125]. Сравнивая критика с известной *пародической личностью* Козьмы Пруtkова [3. С. 309], Андреев был не так уж далек от истины. Позднее отношения между Чуковским и Андреевым более или менее наладились, но все же последняя статья, прочитанная на вечере

«Памяти Андреева» 8 ноября 1919 г., была, согласно дневниковой записи критика, «жесткая, в иных местах язвительная». Это, впрочем, нисколько не противоречит его любви к Андрееву «сквозь иронию» [1. Т. 11. С. 264].

Двойственность Чуковского-критика отмечалась многими современниками. Его «полуцинизм, полулиризм» (Вяч. Иванов) обусловлен, как мы пытались доказать, двусмысленной стихией пародии, близкой артистической натуре Чуковского. На примере казуса Андреева хорошо видно, что становление своеобразного критического метода *Корнея Белинского* напрямую связано с усилением в нем пародийного начала. Он стал критиком, разрушающим ложные авторитеты и литературную «халтуру» с помощью смеха. Именно в таком амплуа он пародийно имитировал схематичность и ходульность андреевских произведений, очевидные для его зоркого глаза. Не случайно после смерти писателя Чуковский записал в дневнике: «Он был, в сущности, хороший человек, и если бы я не был критиком, мы были бы в отличных отношениях» [Там же. Т. 12. С. 17].

По мнению Е. Эткинда, Корней Чуковский – «лучший критик Серебряного века», «человек русского Возрождения» [6. С. 264]. Поднявшись из социальных низов и провинциальной журналистики, *одержимый литературой*, он обрел собственный голос в богатой литературно-критическими талантами эпохе благодаря мастерскому владению пародийным словом во всех его проявлениях, под маской «веселого критика». В этом отношении Чуковский, несомненно, близок модернистам с их приверженностью к стилизации, трансформациям «чужого слова», литературным маскам, иронической амбивалентности – интеллектуально-эстетической игре в целом. Профессиональный критик, интуитивно применявший «такие аналитические подходы и приемы, которые позднее назовут структурными» [2. С. 6], он тяготел к пародии как разновидности стилизации авторской манеры. На основе найденных стилевых доминант он старался раскрыть «душу» художника, импрессионистическое «вживание» в которую позволяло изобретательно применять элементы стилизации, иронической имитации, или *разнонаправленного двуголосого слова*.

Пародийный показ стилевых доминант писателей многофункционален. Он нацелен на выявление «механизированных» приемов писателей, негативное оценивание их отклонения от идеала «самоцельного искусства», который являлся ценностной основой критического метода Чуковского (восходя к Чехову). Одновременно он демонстрировал мастерство самого критика-художника, его владение *всеми слогами*. Моделируя писательский стиль на основе своего субъективно-импрессионистического понимания, Чуковский включал весь арсенал пародийных приемов в жанр литературно-критического фельетона, чтобы карикатурно «показать» характерные черты автора, создать его живой «портрет», выразительно представить его литературную манеру, чаще всего под знаком иронии. Узнаваемые особенности субъективно-карикатурного подхода Чуковского предопределили и его крен в самопародию, возможно, бессознательную, и привлекательность его личности для пародистов. Став к концу 1900-х гг. признанным «масте-

ром разгромного фельетона», Корней Чуковский, талантливая, сложная и противоречивая натура, совместил в себе добросовестного *Аристарха* с ядовитым *Зоилом*, но второй оказался намного ярче первого.

Литература

1. Чуковский К.И. Собрание сочинений : в 15 т. М., 2012–2013.
2. Петровский М.С. Поэт Корней Чуковский // Чуковский К. Стихотворения. СПб., 2002.
3. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
4. Бахтин М.М. Собрание сочинений : в 7 т. М., 2000.
5. Русская литературная пародия. М. ; Л., 1930.
6. Эткинд Е. Корней Чуковский // История русской литературы: XX век: Серебряный век. М., 1995. С. 258–265.
7. Морозов А. Пародия как литературный жанр // Русская литература. 1960. № 1.
8. Карлова Т.С. К. Чуковский – журналист и литературный критик. Казань, 1988.
9. Депретто К. Литературная критика и история литературы в России конца XIX – начала XX века // История русской литературы: XX век: Серебряный век. М., 1995. С. 242–257.
10. Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 2008.
11. Михайлова М.В. Литературная критика: эволюция жанровых форм // Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века: Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. М., 2009. С. 620–704.
12. Новиков Вл.И. Книга о пародии. М., 1989.
13. Крылов В.Н. Критика и критики в зеркале Серебряного века. М., 2014.
14. Черный Саиш. Собрание сочинений : в 5 т. М., 1996.
15. Руднев А. Корней Чуковский-критик и Леонид Андреев: К проблеме взаимоотношений писателя и критика // Южное сияние. 2016. № 3. URL: <https://goo.gl/T5rAz7> (дата обращения: 19.02.2018).
16. Лукьянова И.В. Корней Чуковский. М., 2007.
17. Ермошин Ф.А. К. Чуковский как литературовед: Наука? Критика? Автобиография? // Русское литературоведение XX века: имена, школы, концепции. М. ; СПб., 2012. С. 89–96.

Parody in the Literary Criticism of Chukovsky (The Case of Leonid Andreyev)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2019. 58. 244–262. DOI: 10.17223/19986645/58/14

Svetlana V. Fedotova, A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: luica-th@yandex.ru

Keywords: Chukovsky, literary criticism, parody, Tynyanov, Bakhtin, Chekhov, Bryusov, Blok, Andreyev.

The aim of the article is to reveal the role of parody in the literary criticism of Korney Chukovsky. The material of the study is his critical works of the 1900s in the context of the biographical and cultural-historical events of the era, with an emphasis on the writer's ego-documents (diaries, letters). The scientific study of Chukovsky's critical legacy is at an early stage, his literary works are mostly mastered, but most of them are books for children. The urgency of considering the stated subject is due to the contradiction between the well-known fact of Chukovsky's repeated address to parody in poems and fairy tales, his generally recognized feuilletonist skill, and his general intention of parody in everyday and literary life ("Chukokkala"), on the one hand, and the virtually unrecognized role of parodies in his critical articles, on the other. The theoretical premise of this work is the ideas of parody of

Tynianov, who Chukovsky actively dealt with in the 1920s–30s. Bakhtin's ideas about the “two-voiced word” are also significant. At the same time, Chukovsky was not a parodist in a pure form, so it is justified to speak metaphorically about the “element of parody” as a principle generating various parody details in Chukovsky's multi-genre works. In the course of the study, not only his critical articles of the 1900s were analyzed, but also his early parodies and political satire in verse published in the *Signal* magazine (1905–1906), in which the parodying of literary texts was directed to non-literary objects. The analysis of the material brings to light not only the explicit parody techniques in Chukovsky's criticism, but also his intention of parody in the whole. Particular attention is paid to the manifestation of parody elements in his first book *From Chekhov to Our Days* and separately – dynamically – on the example of the set of works about Leonid Andreyev, the constant “hero” of Chukovsky's criticism. It was revealed that the element of parody in critical articles about the writer grew in proportion to the emergence of Chukovsky's peculiar critical method, the development of his own style and authorial masks corresponding to the ambivalent culture of the Silver Age. Systematization of various parody forms in the work of Chukovsky allows to suppose that it is one of the brightest features of his literary criticism aimed at penetrating into the “soul” of contemporary artists through studying and mastering their style. The multifunctional nature of parody in Chukovsky's works is conditioned by his struggle for genuine literature and his place in it. Parody is aimed at an ironic display of the “mechanized” technique of writers, assessment of their deviation from the ideal of “art as a goal in itself”, which was the axiological basis for Chukovsky's critical method (ascending to Chekhov) and for demonstrating the mastery of the writer and critic himself.

References

1. Chukovskiy, K.I. (2012–2013) *Sobranie sochineniy: v 15 t.* [Collected Works: in 15 vols]. Moscow: Terra – Knizhny klub.
2. Petrovskiy, M.S. (2002) Poet Korney Chukovsky. In: Chukovskiy, K. *Stikhotvoreniya* [Poems]. St. Petersburg: Akademicheskii proekt.
3. Tynyanov, Yu.N. (1977) *Poetika. Istoriya literatury. Kino* [Poetics. History of Literature. Cinema]. Moscow: Nauka.
4. Bakhtin, M.M. (2000) *Sobranie sochineniy: v 7 t.* [Collected Works: in 7 vols]. Moscow: Russkie slovari.
5. Begak, B., Kravtsov, N. & Morozov, A. (1930) *Russkaya literaturnaya parodiya* [Russian literary parody]. Moscow; Leningrad: Gos. izd-vo.
6. Etkind, E. (1995) Korney Chukovskiy. In: Etkind, E. et al. (eds) *Istoriya russkoy literatury: XX vek: Serebryanny vek* [History of Russian Literature: The 20th Century: The Silver Age]. Moscow: YaSK.
7. Morozov, A. (1960) Parodiya kak literaturnyy zhanr [Parody as a literary genre]. *Russkaya literatura*. 1.
8. Karlova, T.S. (1988) *K. Chukovskiy – zhurnalist i literaturnyy kritik* [Chukovsky as a journalist and literary critic]. Kazan: Kazan State University.
9. Depretto, K. (1995) Literaturnaya kritika i istoriya literatury v Rossii kontsa XIX – nachala XX veka [Literary criticism and history of literature in Russia of the late 19th – early 20th centuries]. In: Etkind, E. et al. (eds) *Istoriya russkoy literatury: XX vek: Serebryanny vek* [History of Russian Literature: The 20th Century: The Silver Age]. Moscow: YaSK.
10. Chukovskaya, E. (2008) *Chukokkala: Rukopisnyy al'manakh Korneya Chukovskogo* [Chukokkala: Handwritten almanac of Korney Chukovsky]. 3rd ed. Moscow: Russkiy put'.
11. Mikhaylova, M.V. (2009) Literaturnaya kritika: evolyutsiya zhanrovyykh form [Literary criticism: the evolution of genre forms]. In: Polonskiy, V.V. (ed.) *Poetika russkoy literatury kontsa XIX – nachala XX veka: Dinamika zhanra. Obshchie problemy. Proza* [Poetics of Russian literature of the late 19th – early 20th centuries: The dynamics of the genre. Common problems. Prose]. Moscow: IWL RAS.

12. Novikov, V.I. (1989) *Kniga o parodii* [A book about parody]. Moscow: Sov. pisatel'.
13. Krylov, V.N. (2014) *Kritika i kritiki v zerkale Serebryanogo veka* [Criticism and critics in the Silver Age mirror]. Moscow: Flinta.
14. Chernyy, S. (1996) *Sobranie sochineniy: v 5 t.* [Collected Works: in 5 vols]. Moscow: Ellis Lak.
15. Rudnev, A. (2016) Korney Chukovskiy-kritik i Leonid Andreev: K probleme vzaimootnosheniy pisatelya i kritika [Korney Chukovsky the critic and Leonid Andreev: On the problem of the relationship between the writer and the critic]. *Yuzhnoe siyanie*. 3. [Online] Available from: <https://goo.gl/T5rAz7>. (Accessed: 19.02.2018).
16. Luk'yanova, I.V. (2007) *Korney Chukovsky*. Moscow: Molodaya gvardiya. (In Russian).
17. Ermoshin, F.A. (2012) [K. Chukovsky as a literary critic: Science? Criticism? Autobiography?]. *Russkoe literaturovedenie XX veka: imena, shkoly, kontseptsii* [Russian literature of the 20th century: names, schools, concepts]. Proceedings of the International Conference. Moscow; St. Petersburg: Nestor-Istoriya. pp. 89–96. (In Russian).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АНТЮХОВ Андрей Викторович – д-р филол. наук, профессор кафедры русской, зарубежной литературы и массовых коммуникаций Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского.

E-mail: bgu-bryansk@bk.ru

ДЕГАЛЬЦЕВА Анна Владимировна – канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

E-mail: deganna@mail.ru

ЕСИПОВА Валерия Анатольевна – д-р ист. наук, зав. сектором изучения и раскрытия фонда Научной библиотеки Томского государственного университета.

E-mail: esipova_val@mail.ru

ИВАНОВ Дмитрий Игоревич – канд. филол. наук, профессор центра инновационного сотрудничества и языковых исследований Гуандунского университета международных исследований (Гуанчжоу, Китай); гл. специалист научно-исследовательского управления Ивановского государственного университета.

E-mail: Ivan610@yandex.ru

КОНЁР Дарья Владимировна – внештатный сотрудник отдела сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и ареальных исследований Института лингвистических исследований Российской академии наук (г. Санкт-Петербург).

E-mail: dsuetina@yandex.ru

КОРОСТЕЛЕВ Олег Анатольевич – канд. филол. наук, зам. директора по научной работе Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (г. Москва).

E-mail: okorostelev@mail.ru

КРАЮШКИНА Татьяна Владимировна – д-р филол. наук, зав. центром истории культуры и межкультурных коммуникаций Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук (г. Владивосток).

E-mail: kvtbp@yandex.ru

КУЗНЕЦОВА Екатерина Валентиновна – науч. сотр. отдела «Русская литература конца XIX – начала XX века» Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (г. Москва).

E-mail: katkuz1@mail.ru

ЛАКЕРБАЙ Дмитрий Леонидович – канд. филол. наук, доцент кафедры теории литературы и русской литературы XX века Ивановского государственного университета.

E-mail: lakomotion@yandex.ru

МАКАРОВА Анастасия Леонидовна – канд. филол. наук, науч. сотр. славянского семинара Университета Цюриха (Швейцария).

E-mail: abeatina@rambler.ru / anastasia.makarova@uzh.ch

МАЛЮГА Елена Николаевна – д-р филол. наук, зав. кафедрой иностранных языков экономического факультета Российского университета дружбы народов (г. Москва).
E-mail: malyuga_en@rudn.ru

МАМЦЕВА Вера Владимировна – ассистент кафедры иностранных языков Военного университета Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва).
E-mail: rusosipova@gmail.com

ОГНЕВ Даниил Алексеевич – аспирант кафедры отечественной истории Томского государственного университета.
E-mail: danielognev@yandex.ru

СОБОЛЕВ Андрей Николаевич – д-р филол. наук, вед. науч. сотр. отдела сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и ареальных исследований Института лингвистических исследований Российской академии наук (г. Санкт-Петербург); профессор кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского государственного университета; внеплановый профессор Университета Марбурга (Германия).
E-mail: sobolev@staff.uni-marburg.de

СУХАНОВ Вячеслав Алексеевич – д-р филол. наук, зав. кафедрой истории русской литературы XX века Томского государственного университета.
E-mail: slsuh@mail.ru

ТРОФИМОВА Нэлла Аркадьевна – д-р филол. наук, профессор департамента иностранных языков Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Санкт-Петербург); профессор кафедры немецкой и французской филологии Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург).
E-mail: nelart@mail.ru

УТКИНА Татьяна Игоревна – канд. филол. наук, доцент департамента иностранных языков Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Пермь).
E-mail: tutkina@hse.ru / utkinatat30@gmail.com

ФЕДОТОВА Светлана Владимировна – д-р филол. наук, вед. науч. сотр. отдела истории русской литературы конца XIX – начала XX века Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (г. Москва).
E-mail: luica-th@yandex.ru

ЧЕРНЯВСКАЯ Валерия Евгеньевна – д-р филол. наук, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
E-mail: tcherniavskaia@rambler.ru

ШАРАВИН Андрей Владимирович – д-р филол. наук, профессор кафедры русской, зарубежной литературы и массовых коммуникаций Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского.
E-mail: ekl1ier@mail.ru

ЯКОБА Ирина Александровна – канд. социол. наук, доцент кафедры иностранных языков для технических специальностей №1 Иркутского технического университета.
E-mail: irina_yakoba@mail.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединённом каталоге «Пресса России».

Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе.

Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Редакция не вступает с авторами в переписку по методике написания и оформлению научных статей и не занимается доведением статей до необходимого для публикации уровня.

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание публикуемых материалов несёт автор. При любом использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2018. № 58

Редактор Т.В. Зелева
Редактор-переводчик В.В. Кашпур
Оригинал-макет А.И. Лелоюр
Дизайн обложки Л.Д. Кривцова

Подписано в печать 25.03.2019 г. Формат 70×100 ¹/₁₆.
Печ. л. 16; усл. печ. л. 20,8. Цена свободная.
Тираж 50 экз. Заказ № .

Дата выхода в свет 17.05.2019 г.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru